

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

«ТОТ»

О красоте

Сказано так: Иосиф, семнадцать лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. Это верно, и если в Прекраснословной Беседе прибавлено далее, что он доводил худые о них слухи до отца их, то нам известны тому примеры. Нетрудно найти такой угол зрения, при котором он предстал бы несносным малым. Такова и была точка зрения братьев. Мы не разделяем ее, вернее, приняв ее на мгновение, тотчас же от нее отказываемся; ибо Иосиф был чем-то большим. А данные эти, при всей их точности, нужно последовательно пояснить, чтобы получилась отчетливая картина и раскрылось по-настоящему то, что за давностью скомкано.

Иосифу было семнадцать лет, и в глазах всех, кто видел его, он был красивейшим из детей человеческих. Признаться по чести, о красоте мы говорим без всякой охоты. Разве от этого слова и этого понятия не веет скукой? Разве красота — это не идея величественной бесцветности, не блажь педантов? Говорят, она основана на законах; закон обращается к разуму, а не к чувству, которое у разума не ходит на поводу. Отсюда и унылость совершенной красоты, при которой нечего прощать. А чувство непременно хочет что-то прощать, иначе оно, зевая, отворачивается. Чтобы восторгаться только совершенным, нужно любить все головное и образцовое, а это — унылый педантизм. Головному этому восторгу трудно приписать глубину. Закон назидателен, ему повинуются внешне, повиновения внутреннего добивается лишь волшебство. Красота — это магическое воздействие на чувства, всегда наполовину иллюзорное, очень ненадежное и зыбкое именно в своей действенности. Стоит приставить к красивому телу гадкую голову, и тело уже перестает быть красивым в смысле какого-либо воздействия на чувства — оно остается им разве что в темноте, но тогда дело идет об обмане. Сколько обмана, мошенничества, надувательства связано с областью красоты! А почему? Потому, что это одновременно и в равной мере область любви и желанья; потому что здесь замешан пол, который определяет понятие красоты. Мир вымысла полон историй о том, как юноши, переодетые женщинами, кружили головы мужчинам, а девицы в штанах вызывали страсть у себе подобных. Как только обман обнаруживался, всякое чувство гасло, потому что красота становилась практически ненужной. Человеческая красота как воздействие на чувство есть, наверно, не что иное, как волшебство пола, наглядность идеи пола, так что правильнее говорить о совершенном мужчине, об очень женственной женщине, чем о красивом мужчине или о красивой женщине, и женщина может назвать красивой другую женщину, а мужчина — красивым другого мужчину только при известном усилии разума. Случаи, когда красота торжествует над своей явной практической ненужностью и сохраняет безусловную действенность, крайне редки, но все же, несомненно, встречаются. Тут ввязывается в игру фактор молодости, волшебство, которое чувство очень склонно путать с красотой, отчего молодость, если только ее не лишают привлекательности слишком уж заметные недостатки, обычно и воспринимается просто как красота — причем и она сама так воспринимает себя, о чем ясно свидетельствует ее улыбка. У молодости есть обаяние — разновидность красоты, занимающая по природе своей промежуточное положение между мужским и женским

началами. Семнадцатилетний юноша красив не своей совершенной мужественностью. Красив он, однако, вовсе и не своей практически ненужной женственностью, — это мало кого привлекло бы. Но нужно признать, что красота как обаяние молодости всегда чуть-чуть тяготеет к женственности — и внешне, и внутренне; это объясняется ее сущностью, нежным ее отношением к миру и мира к ней и отражается в ее улыбке. В семнадцать лет, это правда, можно быть красивее, чем женщина и мужчина, красивым, как женщина и мужчина, красивым и так и этак, на все лады, красивым и прекрасным на удивление и загляденье мужчинам и женщинам.

Так оно и было с сыном Рахили, и потому говорится, что он был красивейшим из детей человеческих. Это, однако, преувеличенное восхваление, ибо таких, как он, было и есть сколько угодно, и с тех пор как человек не выступает в роли земноводного или пресмыкающегося, а уже весьма продвинулся на пути к телесной божественности, нет ничего необычного в том, что семнадцатилетний юноша являет восхищенным взорам такие стройные ноги и узкие бедра, такую ладную грудь, такую золотисто-смуглую кожу; что он оказывается не долговязым и не приземистым, а как раз приятного роста, что у него полубожественная осанка и поступь и его сложенье обаятельно сочетает в себе силу и нежность. Нет ничего диковинного и в том, что на таком теле покоится не песья голова, а нечто в высшей степени привлекательное, улыбающееся почти божественным человеческим ртом — это встречается сплошь да рядом. Но в мире и окружении Иосифа именно его вид оказывал на чувства воздействие красоты, и все находили, что на его губы, которые, не шевелились они во время разговора и при улыбке, были бы несомненно слишком полными, пролил милость Предвечный. Эта милость не раз вызывала нападки и неприязнь, но неприязнь ничего не отрицала, и нельзя сказать, что она, по существу, отмежевывалась от господствующего чувства. Многие, во всяком случае, говорят за то, что ненависть братьев была, в сущности, не чем иным, как всеобщей влюбленностью с отрицательным знаком.

Пастух

Вот что можно сказать по поводу красоты Иосифа и его семнадцати лет. Сведения о том, что он пас скот вместе со своими братьями, а именно сыновьями Валлы и Зелфы, тоже нужно пояснить: с одной стороны, дополнить, с другой — ограничить.

Иаков, благословенный, был чужим в этой земле, гером, как говорили, почтительно терпимым гостем, — не потому, что он так долго жил в другой земле, а от рождения, по своему происхождению, как сын своих отцов, которые были тоже герами. Не являясь оседлым домохозяином из городской знати, Иаков был обязан почетным положением своей мудрости, своему богатству и тому отпечатку, который они накладывали на его облик и поведение, а не своему образу жизни, который был полукочевым и хоть и законным, но, так сказать, упорядоченным двусмысленным. Он жил в шатрах перед стенами Хеврона, как жил прежде у ворот Сихема, и мог в один прекрасный день сняться с места, чтобы искать других колодцев и пастбищ. Так, значит, он был бедуином и отпрыском Каиновым с печатью непостоянства и разбоя на лбу, страшилищем для горожан и крестьян? Никоим образом. Смертельной своей враждой к Амалеху его бог не отличался от местных баалов — он. Иаков. многократно это доказывал, вооружая своих домочадцев, чтобы те, вкуче с горожанами и разводившими крупный рогатый скот крестьянами, отбивали верблюдоводческие, размалеванные племенными гербами орды южной пустыни, устраивавшие грабительские набеги. Однако крестьянином он не был — не был сознательно и подчеркнуто; это противоречило бы его религиозному самолюбию, которое было не в ладу с верой обогранных солнцем оратаев. А кроме того, как гер и гостеприимно терпимый чужестранец, он не имел права владеть землей сверх той, на

которой жил. Он брал в аренду небольшие участки земли, то ровные, то скалисто-обрывистые, с плодородной меж камней почвой, родившей пшеницу и ячмень. Возделывать их он предоставлял сыновьям и работникам — так что Иосифу случалось быть и сеятелем, и жнецом, а не только, как это всем известно, пастухом. Но непрочное это хозяйство не определяло жизненного уклада Иакова, оно было побочным делом, которым он занимался без душевного участия, чтобы хоть как-то прижиться к месту. Что действительно придавало ему вес, так это его кишачье, подвижное богатство, его стада, на доход с которых он приобретал вдоволь зерна и виноградного сусла, масла, смокв, гранатовых яблок, меду, а также серебра и золота, — и эта собственность определяла его отношения с горожанами и сельскими жителями, обусловленные множеством договоров и узаконивавшие его полукочевой образ жизни.

Для того чтобы содержать стада, нужны были дружественно-деловые связи с коренными жителями, с торговцами-горожанами и крестьянами, которые платили им оброк или отбывали барщину. Чтобы не жить на птичьих правах и в постоянной опасности, скитальцем-разбойником, врывающимся в чужие угодья и опустошающим их, Иаков должен был вступать в полюбовные сделки с людьми Баала и покупать у них права на выпас за определенную плату, выправляя письменное разрешение выгонять стада на жнивье или на пустоши. Последних, однако, в этих горах становилось тогда все меньше и меньше; мир и процветанье царили уже давно, дороги были оживленны, горожане-землевладельцы наживались на караванной торговле, на складских, перегрузочных и охранных пошлинах с товаров, которые шли из страны Мардука через Дамаск и по дороге восточное Иардена следовали через эти места к Большому Морю, а оттуда в Страну Ила или в противоположном направлении; они приобретали все новые земли и сажали на них купленных или долговых рабов, и доходы с земли обогащали горожан помимо торговой наживы, так что они могли, ссужая деньги, подчинять себе, как сыновья Ишуллану — Лавана, и свободных крестьян; заселялась, распахивалась новина; выгонов оставалось не так уж много, и постепенно земля стала непоместительна для Иакова, как некогда стали непоместительны для Авраама и Лота луга содомские. Ему пришлось разделить; большая часть его стад паслась, согласно договору, не здесь, а севернее, на расстоянии пяти дней пути, там, где прежде жил Иаков, в богатой ключами шекемской долине, и обычно там пасли скот сыновья Лии, от Рувима до Завуллона, а с отцом оставались только четыре сына Баллы и Зелфы и два отпрыска Рахили, и это напоминало знаки зодиака, из которых тоже только шесть видны одновременно, а другие шесть скрыты от глаз, каковое сходство и не преминул отметить Иосиф. Это не значит, что сыновья Лии не являлись к отцу, когда близ Хеврона шли какие-либо особые работы, например, что даже важно, во время сбора урожая. Но большей частью они находились на расстоянии от четырех до пяти дней пути. Это столь же важно, и поэтому-то и сказано, что мальчик Иосиф жил с сыновьями служанок.

Что же касается работы, которую Иосиф выполнял с братьями в поле и на пастбище, то ею он занимался не каждый день — не следует преувеличивать ее значение. Не всегда он пас скот или пахал под озимь мягкую от дождя землю, а только от случая к случаю, между прочим, когда у него появлялось такое желание. Его отец Иаков оставлял ему много свободного времени для более возвышенных занятий, которые сейчас предстоит описать. Но как он трудился с братьями, если уж с ними трудился, — как их помощник или же как надсмотрщик над ними? Это было до неприличия неясно братьям, ибо, понукаемый ими, и притом довольно грубо, как младший, он хоть и оказывал им мелкие услуги, но держался с ними не как равный с равными, не как единомышленник и участии содружества противопоставляющих себя старику сыновей, а, скорее, как отцовский посланец и представитель, так что они не любили его общества, но, с другой стороны, и сердились, когда он, стоило ему захотеть, оставался дома.

Ученье

Что он там делал? Сидел со стариком Елиезером под божьим деревом, высоким теребинтом по соседству с колодцем, и занимался науками.

О Елиезере люди говорили, что он походит лицом на Авраама. По сути, они не могли этого знать, ибо никто из них не видел предка-халдеянина, а века не сохранили никакого образа и подобия его внешности, и утверждение насчет сходства с ним Елиезера следовало понимать только в обратном смысле: тому, кто хотел представить себе первооткрывателя и друга бога, могли, пожалуй, помочь черты Елиезера — не потому, что они были величавы и полны достоинства, как вообще вся стать его и повадка, а по той, главным образом, причине, что была в них какая-то спокойная безличность, какая-то божественная нехарактерность, позволявшая придать его образу достоинство неизвестности первобытных времен. Он был почти одних лет с Иаковом, немного старше его и, сходно с ним одеваясь наполовину как бедуин, наполовину по образцу людей Синеара, носил платье с бахромчатыми оборками и кушаком, за который засовывал письменные свои принадлежности. Лоб у него, насколько позволял видеть наголовник, был чистый и без морщин. Узкими и плавными дугами тянулись от широкой и едва вдавленной переносицы к вискам его темные еще брови, а глаза под ними были такие, что верхние и нижние, почти без ресниц, веки, тяжелые и словно набухшие, производили впечатление губ, между которыми выпукло чернели глазные яблоки. Широкий, с тонкими ноздрями нос опускался к узким усам, которые, убегая вниз, ложились на желто-седую бороду и нависали над красноватой, не утоньшавшейся к углам рта нижней губой. Кромка бороды под желтоватыми, со множеством морщинок скулами, была до того ровной, что казалось, будто борода прикреплена к ушам и ее можно снять. Более того, все его лицо казалось личиной, которую нужно снять, чтобы увидеть настоящее лицо Елиезера; в детстве у Иосифа часто бывало такое впечатление.

Насчет Елиезера и его происхождения было в ходу много всяких ошибочных сведений, и против них нам предстоит выступить ниже. А пока достаточно сказать, что он был управляющим Иакова и старшим его рабом, умел читать и писать и был учителем Иосифа.

— Скажи-ка мне, сын праведной, — спрашивал он его, когда они, бывало, сидели вдвоем в тени дерева наставленья, — по каким трем причинам бог создал человека последним, после всех растений и животных?

И тогда Иосиф отвечал:

— Бог создал человека самым последним, во-первых, затем, чтобы никто не мог сказать, будто он участвовал в сотворении мира; во-вторых, ради унижения человека, чтобы он твердил себе: «Навозная муха, и та создана раньше меня», а в-третьих, чтобы он мог сразу же приступить к трапезе, как гость, для которого все приготовлено.

На это Елиезер удовлетворенно отвечал:

— Ты это говоришь.

А Иосиф смеялся.

Но это пустяк. Это только один вместо многих примеров тех упражнений остроумия и памяти, какие должен был выполнять мальчик, а также пример тех историй и побасенок, которые он узнал от Елиезера уже в нежном возрасте и прекрасноустым пересказом

которых Иосиф обвораживал потом людей, и без того терявших голову от его красоты. Так пытался он у колодца развлечь и отвлечь отца сказкой-басней об имени, о том, как дева Ишхара выведала его у похотливого вестника. А она не сразу узнала тогда то истинное и неизменное имя, выкрикнув которое вознеслась на небо, сохранила девственность и одурачила сладострастника Семазаи. Господь принял ее там наверху весьма благосклонно и сказал ей: «Поскольку ты избежала греха, мы поместим тебя среди звезд». И отсюда произошло созвездие Девы. Вестник же Семазаи не мог больше подняться, а пребывал во прахе до того дня, когда Иаков, сын Ицхака, увидел в Вефиле сон о небесной лестнице. Только по этой лестнице он и сумел вернуться домой, глубоко посрамленный тем, что удалось ему это лишь в человеческом сне.

Можно ли было назвать это наукой? Нет, это не очень походило на правду и служило лишь украшением ума, но способно было подготовить душу к восприятию более строгих, священно точных знаний. Так узнал Иосиф от Елиезера о вселенной, вселенной небесной, трехчастной, состоявшей из верхнего неба, небесной земли зодиака и южного небесного моря, по образцу которой, в точном соответствии с ней, делилась на три части — воздушное море, суша и земной океан — и земная вселенная. Океан, учил Иосиф, охватывал диск земли обручем, но был и под ней, так что во время великого потопа он мог прорваться сквозь все щели и слить свои воды с водами низвергнувшегося небесного моря. Суша же была на вид совсем как твердь и небесная земля там наверху и походила на горную страну с двумя вершинами, вершиной Солнца и вершиной Луны, Хоривом и Синаем.

Солнце и Луна составляли вместе с пятью другими блуждающими светилами число семь; семь планет и приказаноносцев двигались по семи разновеликим кругам вокруг зодиакального вала, похожего, следовательно, на круглую семиступенную башню, кольцевые уступы которой вели к высшему северному небу и престолу царя. Там находился бог, и его священная гора сверкала словно бы огненными камнями, как сверкал на севере покрытый снегом Гермон. Излагая это, Елиезер указывал на белевшую вдали царственную гору, которая была видна отовсюду, в том числе и от их дерева, и тогда Иосиф уже не отличал небесного от земного.

Он узнавал чудо и тайну числа, число шестьдесят, число двенадцать, число семь, число четыре, число три, божественность меры, и до чего все на свете было согласно и сообразно, так что приходилось только удивляться и благоговеть перед этой великой гармонией.

Двенадцать было число знаков зодиака, а они представляли собой стоянки большого круговорота. Это были двенадцать месяцев по тридцати дней. Но большому кругу соответствовал малый, и стоило разделить его тоже на двенадцать частей, как получался отрезок времени, в шестьдесят раз больший, чем солнечный диск, и это был двойной час. Он был месяцем дня и поддавался такому же остроумному делению. Ибо видимая во время равноденствий орбита Солнца содержала ровно столько поперечников его диска, сколько дней было в году, а именно триста шестьдесят, и как раз в дни равноденствий восход Солнца, от мгновенья, когда над горизонтом появляется верхний его край, до мгновенья, когда показывается весь диск, продолжался одну шестидесятую часть двойного часа. А это была двойная минута; и если из зимы и лета складывался большой круговорот, а из дня и ночи — малый, то из двенадцати двойных часов двенадцать простых приходилось на день и двенадцать на ночь, а на каждый час дня и ночи — по шестидесяти простых минут.

Это ли не были гармония, порядок и лад?

Слушай же дальше, Думузи, истинный сын! Пусть ум твой будет ясным, острым и

светлым!

Подвижных светил и передатчиков приказов насчитывалось семь, и у каждого из них имелся свой день. Но семь было в особенности числом Луны, прокладывающей дорогу своим братьям богам: числом семидневных ее четвертей. Солнце и Луна давали число два, как все в мире и в жизни, как «да» и «нет». Поэтому планеты можно было распределить на две и пять — на что и у пяти было большое право! Ведь пять прекрасно соотносилось с двенадцатью, поскольку пятью двенадцать — это шестьдесят, число, священное значение которого было уже доказано, а всего лучше — со священной семеркой, ибо в сложении пять и семь давали двенадцать. И это все? О нет, при таком распределении и обособлении получалась пятидневная планетная неделя, и таких недель в году оказывалось семьдесят две, и именно на пять нужно было умножить семьдесят два, чтобы получить великолепные триста шестьдесят — число не только дней в году, но и поперечников Солнца, помещающихся на его орбите.

Это было блестяще.

Однако планеты можно было распределить и на три и четыре, на что у обоих чисел имелись самые почтенные полномочия. Ибо три было числом правителей зодиака — Солнца, Луны и Иштар. Кроме того, это было число вселенной, оно определяло членение мира вверху и внизу. С другой стороны, четыре было числом стран света, которым соответствовали части суток; оно являлось также числом делений орбиты Солнца, каждым из которых управляла своя планета, а кроме того — числом Луны и звезды Иштар, показывавшихся в четырех положениях. А что получалось, если перемножить три и четыре? Получалось двенадцать!

Иосиф смеялся. А Елиезер воздевал руки и говорил:

— Адонаи!

Как это так выходило, что число дней Луны, разделенное на число ее положений, то есть на четыре, давало снова семидневную неделю? Это был Его перст.

Как мячиками, играл всеми этими числами под надзором старика юный Иосиф и забавлялся с пользой. Он понимал, что человек, которому бог дал разум, чтобы улучшить священное, но не вполне точное, должен уравнивать триста шестьдесят дней с солнечным годом, добавив в конце пять дней. Это были злые, несчастные дни, дни проклятья и змея, похожие на зимние ночи; только когда они проходили, наступала весна и начиналась благословенная пора. Пятерка представляла тут в неприглядном свете. Но очень скверным числом было и тринадцать. А почему? Потому что в двенадцати лунных месяцах было только триста пятьдесят четыре дня и время от времени приходилось вставлять добавочные месяцы, соответствовавшие тринадцатому знаку зодиака, Ворону. Излишность их делала тринадцать несчастливым числом, да и ворон был птицей недоброй. Бенони-Вениамин чуть не умер, проходя через ворота рожденья, как через теснину между вершинами вселенской горы, и чуть не пал в борьбе против сил преисподней, потому что был тринадцатым ребенком Иакова. Однако, как искупительная жертва, была принята Дина, и она погибла.

Хорошо было понимать необходимое, постигая при этом нрав бога. Ибо его чудо чисел было не вполне безупречно, и человек должен был с умом устранять всякие несообразности; над таким исправлением, однако, тяготели беда и проклятье, и даже двенадцать, число вообще-то прекрасное, становилось в этом случае зловещим, ибо именно оно дополняло триста пятьдесят четыре дня года лунного до трехсот шестидесяти шести дней солнечно-лунного года. Если же принять за число дней триста

шестьдесят пять, то каждый раз, как пришлось подсчитать Иосифу, не хватало бы четверти дня, а с течением лет это несоответствие так увеличилось бы, что составило бы целый год через тысячу четыреста шестьдесят кругооборотов. А это был период звезды Пса; и пространственно-временные наблюдения Иосифа вырывались в область сверхчеловеческого, переходя от малых кругов ко все более огромным, далеко обегавшим их, к замкнутым годам ужасающей протяженности. Даже день был маленьким годом со своими временами, с летним светом и зимней тенью, а дни входили в большой кругооборот. Но большой кругооборот был велик лишь сравнительно, и тысяча четыреста шестьдесят этих кругооборотов охватывал год звезды Пса. А вселенная состояла из сверхогромных кругов величайших — или, наверно, опять-таки не предельно величайших — годов, у каждого из которых были свое лето и своя зима. Зима наступала тогда, когда все светила сходились под знаком Водолея или Рыб, а лето — когда они встречались под знаком Льва или Рака. Каждая зима начиналась потопом, каждое лето — пожаром, так что все обороты вселенной и большой кругооборот совершались между исходной и конечной точкой. Каждый большой кругооборот охватывал четыреста тридцать две тысячи лет и являлся точнейшим повторением всего прошедшего, так как, возвратясь в прежнее положение, звезды должны были оказать одинаковое действие в большом и в малом. Поэтому кругообороты вселенной назывались «обновлениями жизни», а также «повторениями прошлого», а также «вечным повторением». Кроме того, имя им было «олам», «вечность», а бог был господом вечности, Эль Оламом, живущим в вечности, Хай Оламом, и это Он вселил в душу человеческую «олам», то есть способность понимать вечность и тем самым в известном смысле тоже возвышаться до господства над нею...

Это была гордая наука. Иосиф забавлялся с большим размахом. Ведь чего еще только не знал Елиезер! Он знал тайны, которые потому и превращали ученье в большое и лестное удовольствие, что это были тайны, известные на земле лишь небольшому числу молчаливых мудрецов, которые жили при храмах и святилищах, но никак не толпе. Так, например, Елиезер знал и учил, что вавилонский двойной локоть — это длина маятника, делающего шестьдесят двойных колебаний в двойную минуту. При всей своей болтливости Иосиф никому не говорил этого; ибо это вновь доказывало священность шестидесяти, числа, которое, будучи умножено на прекрасное число шесть, давало священнейшее число триста шестьдесят.

Он изучал меры длины и пути, производя их одновременно и от своего собственного движения и от движения Солнца, что, как заверил его Елиезер, не было дерзостью, ибо человек являлся малым миром, в точности соответствовавшим большому, и поэтому священные числа кругооборота были неотделимы от всего, что касалось меры, а также от времени, которое становилось пространством.

Оно становилось пустым пространством и, благодаря этому, весом; Иосиф запоминал меры веса и сравнительную стоимость золота, серебра и меди по обычному и по царскому, по вавилонскому и по финикийскому расчету. Он упражнялся в торговом счете, выражал одну и ту же цену в меди и в серебре, менял вола на такие количества масла, вина и пшеницы, которые соответствовали его стоимости в переводе на металл, и обнаруживал при этом такую сообразительность, что Иаков, когда ему случалось слушать сына, прищелкивал языком и говорил:

— Как ангел! Совсем как ангел Аработа!

Кроме всего этого, Иосиф изучал самое необходимое о болезнях и лекарствах, о человеческом теле, которое, по примеру космической тройственности, состояло из твердых, жидких и воздухообразных веществ. Он учился соотносить части тела со знаками зодиака и планетами, придавать особое значение околопочечному жиру, ибо

охватываемый им орган был связан с деторождением и являлся средоточием жизненной силы, считать печень возбудителем душевных движений и с помощью глиняной модели, разделенной на участки и разрисованной, усваивал ученье, по которому внутренности были зеркалом будущего и источником надежных знамений... Еще он изучал народы земли.

Их было семьдесят или, может быть, семьдесят два, ибо таково было число пятидневных недель года, и образ жизни и вера некоторых из них были чудовищны. В первую очередь это относилось к варварам Крайнего Севера, населявшим страну Магог, что находилась далеко за вершинами Гермона и даже за страной Ханигалбат, севернее Тавра. Но ужасен был и Дальний Запад, называвшийся Таршиш, куда без страха добрались люди Сидона, переплыв за бесконечное множество дней Большую Зеленую Воду в длину. Также и в Киттим, то есть в Сицилию, проникли этим путем одержимые страстью к неведомым далям и к меновой торговле люди Сидона и Гевала и основали там поселения. Они немало способствовали познанию земного круга — не для того, конечно, чтобы доставить мудрому Елиезеру учебный материал, а из стремленья побывать на краю земли и всучить тамошним жителям свои червленые ткани и замысловатые вышивки. Были ветры, которые как бы сами несли их на Кипр, или Алашию, и на Доданим, то есть Родос. Оттуда, без особых опасностей, они продвигались до страны Муцри, Египта, а из Египта их корабли доставляло на родину какое-то благосклонное к духу торговли морское течение. Но и сами египтяне подчинили себе и открыли наука Куш, негритянские земли в полуденном верховье Нила. Они тоже собрались с духом, вышли в плаванье и обнаружили в самом низу Красного моря богатые благовониями земли, Пунт, царство Феникса. На крайнем Юге находился Офир, страна золота, если верить молве. Что касалось востока, то в Эламе был царь, которого покамест не удалось расспросить, есть ли за ним в этой стране света еще что-нибудь. Наверно, нет.

Это лишь часть того, что втолковывал Иосифу Елиезер под божьим деревом. И все это, по указанию старика, юноша записывал, а затем, склонив голову к плечу, читал про себя до тех пор, пока не запоминал наизусть. Чтение и письмо были, разумеется, основой всего и сопровождали все; ведь без них у людей ничего не оставалось бы в памяти. Поэтому Иосифу приходилось очень прямо сидеть под деревом, растопырив колени, и держать у живота письменные принадлежности, глиняную дощечку, в которой он делал палочкой клинообразные углубленья, либо склеенные листы тростниковой ткани, либо лощеный кусок овечьей или козьей кожи, на которые он наносил свои каракули расщепленной или же заостренной тростинкой, макая ее в красную и черную чашечки тушевальницы. Он пользовался то местным и человеческим письмом, годившимся для закрепленья обыденной его речи и наиболее удобным для начертанья по финикийскому образцу торговых писем и договоров, то божественным, официально-священным письмом Вавилона, письмом закона, науки и сказаний, требовавшим глины и палочки. У Елиезера было много прекрасных образцов такого письма — писаний о звездах, гимнов Луне и Солнцу, хронологических таблиц, летописей погоды, налоговых списков, а также отрывков из больших стихотворных сказаний первобытной древности, сказаний хотя и лживых, но изложенных с такой дерзновенной торжественностью, что для духа они становились правдой. Сказанья эти повествовали о сотворении мира и человека, о борьбе Мардука со змеем, о том, как Иштар сделалась из служанки царицей и о ее сошествии в ад, о родильной траве и живой воде, об удивительных приключениях Адапы, Этаны и того Гильгамеша, чье тело было божественной плотью, но которому все же не удалось снискать бессмертие. Все это Иосиф читал, водя по строкам указательным пальцем, я переписывал в пристойной позе — не горбясь и только опустив веки. Он читал и писал о дружбе Этаны с орлом, который понес его к небу Ану; и они действительно поднялись так высоко, что суша казалась им оттуда лепешкой, а море — хлебницей. Но когда и суша и море скрылись из виду, Этаной, к сожаленью, овладел страх, и он вместе с орлом упал в бездну — позорный исход! Иосиф надеялся, что он при таких

обстоятельствах вел бы себя иначе, чем герой Этана; но больше, чем история Этаны, нравилась ему история укрощенья лесного дикаря Энкиду блудницей из города Урука, которая учила этого полуживотного прилично есть и пить, умащать тело и носить одежду — словом, походить на человека я горожанина. Эта история занимала Иосифа, он восхищался тем, как блудница усмирила дикаря, подготовив его шестью днями и семью ночами любовных утех к восприятию просвещенного образа жизни. Во всей своей сумрачной красе лилась с его губ вавилонская речь, когда он читал наизусть эти строки, и Елиезер, целуя край платья ученика, восклицал:

— Благо тебе, сын миловидной! Успехи твои блестящи, еще немного — и ты будешь мацкиром какого-нибудь князя и советчиком какого-нибудь великого царя! Вспомни обо мне, когда ты получишь свое царство!

После этого Иосиф опять отправлялся к братьям в поле или на пастбище, чтобы быть у них на посылках. А они, скаля зубы, говорили:

— Смотрите, вот он явился, шалопаи с чернилами на пальцах, читатель допотопных камней! Не соизволит ли он подоить коз, или он пришел только поглядеть, не вырезаем ли мы у животных мясо кусками себе на похлебку? Ах, будь все дело за нашим желаньем отдубасить его, он бы свое получил, но это, к сожалению, невозможно из-за страха Иакова!

О теле и духе

Если, говоря о тех тягостных отношениях между Иосифом и его братьями, что сложились с годами, перейти от частного к общему, от отдельных размолвок и ссор к их основополагающим причинам, то причины эти сведутся к зависти и самомнению; и тому, кто любит справедливость, трудно будет решить, который из двух этих пороков, то есть, конкретнее говоря, кто же — один человек или ватага, все грознее на него ополчавшаяся, — несет главную долю вины во всех бедах. Ведь справедливость и честное желание не быть, несмотря ни на какой соблазн, пристрастным, побудит, наверно, такого наблюдателя назвать главным злом и источником всех бед самомнение; но опять-таки именно справедливость заставит его признать, что не часто бывает на свете столько поводов для самомнения, а тем самым, конечно, и для зависти, сколько было их в данном случае.

Красота и знание редко соединяются на земле. Волей-неволей мы привыкли представлять себе ученость безобразной, а привлекательность серой, и серой непременно, — иначе вся привлекательность исчезнет, — со спокойной совестью, потому что привлекательность не только не нуждается в книгах, уме и мудрости, но даже рискует быть разрушенной и загубленной ими. Поэтому наглядное преодоление пропасти, существующей между духом и красотой, сочетание обоих отличий в одном лице словно бы разрешает противоречие, заложенное, как мы привыкли считать, в человеческой природе, и невольно наводит на мысль о божественности. Беспристрастный глаз всегда созерцает такое явление божественной гармонии с чистейшим восторгом, но оно может вызвать самые горькие чувства у тех, кто вправе считать, что они обидно меркнут в его свете.

Так тут и было. Счастливого согласия, вызываемое в душе человеческой определенными явлениями — его принято называть попросту их красотой, — ощущалось в данном случае настолько неукоснительно; первенца Рахили находили — разделяем ли мы этот восторг или нет — настолько красивым, что его привлекательность рано и уже очень давно вошла

в поговорку. И привлекательности этой дано было включить в себя духовность и ее искусства, овладеть ею с веселым азартом, вобрать в себя и, наложив на нее свою печать, печать привлекательности, снова пустить в мир, так что противоположность между красотой и духом уничтожалась и разница между ними почти исчезала. Мы сказали, что разрешение природного их противоречия должно было казаться божественным. Пусть нас поймут правильно. Разрешалось оно не божеством, — ведь Иосиф был человеком, и притом с недостатками, и притом слишком здравомыслящим, чтобы постоянно не сознавать этого в глубине души; но разрешалось оно в божестве, а именно — в Луне.

Мы были свидетелями сцены, весьма показательной для тех телесно-духовных отношений, что поддерживал Иосиф с этим волшебным светилом — разумеется, втайне от отца, который, придя, первым делом побранил свое сокровище за то, что он любезничал с голой красавицей небес, обнажившись. Но с луной у мальчика связывалась не только мысль о волшебстве красоты; столь же тесно у него связывалась с ней идея мудрости и письма, ибо луна была небесной ипостасью Тота, белого павиана и изобретателя знаков, посредника и писца богов, записывающего их речи и покровительствующего тем, кто пишет. Волшебство красоты одновременно и в единстве с волшебством знаков — вот что, следовательно, опьяняло его тогда и накладывало отпечаток на его одинокий культ — культ несколько извращенный, сумбурный и отдававший вырождением, вполне способный обеспокоить отца, но потому-то и пьянящий, что чувство телесности и чувство духовности смешивались в нем восхитительным образом.

Несомненно, что каждый человек, более или менее сознательно, вынашивает в себе какое-то представление, какую-то излюбленную мысль, составляющую источник тайного его восторга, питающую и поддерживающую его жизнеощущение. Для Иосифа этой пленительной идеей было сожитие тела и духа, красоты и мудрости и взаимоусиливающее сознание того и другого. Халдеи, путешественники и рабы, рассказывали ему, как Бел, чтобы создать людей, велел отрубить себе голову, как его кровь смешалась с землей и из кровавых комков земли были сотворены живые существа. Иосиф не верил этому; но когда он хотел ощутить свое бытие и тайно ему порадоваться, он вспоминал о кровавом смешении земного с божественным, чувствовал, к странному своему счастью, что и сам он состоит из этого вещества, и, улыбаясь, думал, что сознание тела и красоты должно быть улучшено и усилено сознанием духа, и наоборот.

А верил он, что дух бога, которого жители Синеара называли «мумму», носился над водами хаоса и создал мир словом. Он думал: подумать только, словом, свободным и сторонним словом сотворен мир, и даже сегодня еще, — если какая-то вещь и существует, то воистину она начинает существовать, собственно, только тогда, когда человек назовет ее и дарует ей словом бытие. Как тут даже красивой и прекрасной головке не убедиться в том, сколь важна словесная мудрость?

Но как же должны были подобные склонности и их развитие, поощряемое Иаковом по многим причинам, о которых сейчас пойдет речь, как должны были они обособлять Иосифа от сыновей Лии и служанок, и сколько ростков высокомерья, с одной стороны, и недоброжелательства — с другой, несло в себе это обособление! У нас не поднимается перо охарактеризовать братьев и родоначальников колен, чьи имена в порядке старшинства и сегодня еще по праву заучивают наизусть дети, всех чохом, как весьма заурядных парней. Кстати, о некоторых из них, например об Иуде, натуре сложной и несчастной, да и о глубоко порядочном Рувиме, такой отзыв был бы и не совсем точным. Но, во-первых, их никак нельзя было назвать красивыми — ни тех, кто был по возрасту ближе к Иосифу, ни тех, кому было уже далеко за двадцать, когда ему минуло

семнадцать, — хотя они отличались крепким сложением, а отпрыски Лии, прежде всего Ре'увим, но также Симеон, Левий и Иуда, к тому же и богатырским ростом; а уж что касалось слова и мудрости, то братья все как один прямо-таки гордились тем, что ни в грош этого не ставили и ничего в этом не смыслили. Правда, о сыне Валлы Неффалиме давно было сказано, что он «говорит прекрасные изречения», но это мнение основывалось на обывательски-скромных требованиях, и в общем-то все красноречие Неффалима заключалось в довольно посредственном острословии, не сдобренном ученостью и чуждом высоких предметов. Все они были тем, кем должен был бы стать и Иосиф, чтобы раствориться в их обществе, — пастухами, а при случае, во вторую очередь, земледельцами; весьма искусные в обоих занятиях, они терпеть не могли того, кто с отцовского разрешения воображал, что может работать спустя рукава, одновременно корча из себя писца и читателя таблиц. До того как у них появилась для Иосифа кличка «Сновидец», которая была в ходу в пору их сильнейшей к нему ненависти, братья глумливо называли его премудрым Ноем-Утнапиштимом и читателем допотопных камней. А он в ответ называл их «Собачьи головы» и «Невежды, не знающие, что такое добро и зло», — называл в глаза, защищенный единственно их страхом перед Иаковом: если бы не этот страх, они избили бы его до синяков. Нас это огорчило бы; но ради прекрасных глаз Иосифа мы не должны считать его ответ менее достойным порицания, чем их насмешки. Напротив; ибо что толку в мудрости, если она даже от гордыни не защищает?

А как относился ко всему этому Иаков, отец? Он не был ученым. Кроме своего южноханаанского наречия, он говорил, конечно, и даже еще лучше, по-вавилонски, но египетским не владел, не владел уже потому, что, как мы успели отметить, все египетское ненавидел и осуждал. То, что он знал об этой стране, заставляло его считать ее родиной и кабального гнета, и вместе безнравственности. Подчиненность государству, явно определявшая там всю жизнь, оскорбляла его наследственную любовь к независимости и самостоятельности, а процветавший там внизу культ животных и мертвецов казался ему мерзким и глупым, — особенно культ мертвецов, ибо всякое служение подземному миру, начинавшемуся, впрочем, уже очень рано, уже в мире земном, уже в зерне, плодотворно истлевающим в почве, было для Иакова равнозначно распутству. Эту илистую страну там внизу он называл не «Кеме» и не «Мицраим», он называл ее «Шесл», то есть ад, царство мертвых; такое же религиозно-нравственное отвращение внушал ему и преувеличенный почет, которым, как говорили, пользовалось в той стране все связанное с письмом. Собственный его опыт в этой области почти исчерпывался умением начертать свое имя при подписании правовых договоров, да и то в таких случаях он чаще просто ставил печать. Все же прочие дела подобного рода он возлагал на Елиезера, старшего своего раба, и вполне мог так поступать; ведь способности наших слуг — это наши способности, а достоинство Иакова зиждилось не на них. Оно носило независимый, врожденный и личный характер, основываясь на могуществе его чувств и переживаний, которые были умным и значительным исполнением историй: оно вытекало из той природной духовности, которую он осязательно излучал, и было преимуществом человека вдохновенного, смелого в мечтах, близкого к богу, а такой человек мог легко обойтись и без умения писать как такового. Не очень-то красиво предлагать сравнения, которые самому Елиезеру никогда в жизни и в голову не пришли бы. Но разве тому пристало бы увидеть сон о небесной лестнице или же с помощью бога сделать такое открытие в царстве природы, как волшебство сопереживания, дающее крапчатый скот? Никоим образом!

Но почему же Иаков поощрял литературные занятия Иосифа с рабом-писцом и одобрительно наблюдал за ученьем, опасности которого для мальчика и его отношений с братьями не мог не видеть? На то имелись две причины, и обе были причинами любви, но одна носила честолубивый характер, а другая — заботливо-воспитательный. Лия, постылая, как в воду глядела, когда перед рождением Иосифа напороочила себе и

сыновьям своего чрева, что теперь для Иакова они все превратятся в ничто и станут легки, как воздух. С того дня, как ему было подарено дитя праведной, Думузи, росток, сын Девы, Иаков помышлял только об одном — поставить этого запоздалого сына выше его предшественников, во главе их, впереди них, и отдать ему, который был первенцем только Рахили, первородство вообще. Когда Ре'увим так скверно провинился с Валлой, гнев Иакова был достаточно искренним, но при всей своей несомненной искренности и неподдельности немного и напускным, нарочито подчеркнутым. Иосиф не знал этого или знал смутно, но когда он, с детским злорадством, рассказал отцу о случившемся, первой мыслью Иакова было: теперь я могу проклясть большого, и место для маленького будет свободно! Именно потому, что Иаков отдал себе отчет в том, что так подумал, да еще, наверно, из боязни ожесточить тех, кто следовал по старшинству за Рувимом, он не решился воспользоваться случаем сразу же в полной мере и не обвиняясь поставить Иосифа на место проштрафившегося. Он не принимал окончательного решения, но, выжидая, как бы оставлял открытым для своего любимца почетное место наследника и избранника. Ибо дело шло об избрании наследника, о благословении Авраама, которое носил Иаков, получив его вместо Исава у слепого; и, передавая благословение, он тоже не хотел действовать по правилам, но на поверку неправильно. При малейшей возможности это высокое наследие следовало отдать Иосифу, явно лучшему, и телом и духом, преемнику, чем тяжеловесный и вместе легкомысленный Рувим; и чтобы сделать его превосходство очевидным и внешне, и для других, и для самих братьев, годилось любое средство, к примеру, наука. Времена менялись: до сих пор духовным наследникам Авраама не требовалось учености. Иаков сам вполне обходился без нее. Но в будущем, кто знает, могло оказаться если не необходимым, то все же полезным и желательным, чтобы благословенный был и ученым. Большое ли, малое ли, но какое-то преимущество это давало, а преимуществ перед братьями Иосифу следовало иметь как можно больше.

Такова была первая причина одобрительного отношения Иакова к ученым занятиям Иосифа. Вторая шла от более глубокой отцовской озабоченности, она была связана с душеспасением мальчика, с религиозным его здоровьем. Мы слышали, как вечером, у колодца, Иаков с нежной осторожностью заставил своего любимца высказаться о близком, по всей вероятности, будущем, об орошении земли дождями, словно бы защищающе осеняя при этом сына рукой. Иакову не хотелось спрашивать. Только великая жажда узнать что-либо о жизненно важных видах на погоду побудила его воспользоваться тем настроением, в каком он, если и не вовсе без восхищения, то все же с большей долей тревожного неудовольствия, его застал.

Он знал о предрасположенности Иосифа к слегка экстатическим состояниям, к не очень глубокому и наполовину наигранному, но наполовину и настоящему пророческому трансу и еще не совсем ясно определил свое отцовское к этому отношенье, чувствуя недобросвященную двусмысленность подобных склонностей. Братья — о нет, ни один из них не обнаруживал ни малейшего признака такой избранности, они, видит бог, не походили на одержимых и ясновидящих. За них можно было не беспокоиться, восторженность, недобрая ли, священная ли, была им чужда, и то, что Иосиф и в этом существенным, хотя и небезопасным образом разнился от них, отчасти устраивало Иакова, ибо могло быть истолковано как отличие, которое в сочетании со столькими другими преимуществами делало понятным выбор наследника.

Однако просто приятными эти наблюдения для Иакова не были. Жили в стране такие люди, что отцовское сердце не пожелало бы Иосифу принадлежать к их числу. Это были юродивые, бесноватые, блаженные, делавшие свою способность пророчествовать в исступленном состоянии источником заработка, — вещуны, которые, странствуя с места на место или же сидя в пещерах, добывали деньги и съестные припасы указанием благоприятных для тех или иных дел дней или предсказаньем неведомого. Иаков не любил их по долгу перед богом, да и никто, собственно, их не любил, хотя все

остерегались их обижать. Это были грязные, шальные и дикие люди; дети бегали за ними и кричали им вдогонку: «Авласавлалакавля», ибо примерно так звучали вещания этих безумцев. Они наносили себе раны и увечья, ели тухлятину, ходили с ярмом на шее или с железными рогами на лбу, а иные и голыми. Это им подобало — и рога и нагота. Их повадка была известна, и конечной основой ее было не что иное, как бааловское распутство, обрядовый блуд, колдовство, которым местные хлебопашцы домогались плодородия земли, исступленное оскотление как жертва Мелеху, царственному быку. Это ни для кого не было тайной; все сознавали, какая тут подоплека; только окружающие сознавали это с каким-то добродушным благоговеньем, не обладая той повышенной чувствительностью, которой отличалась религиозная традиция Иакова. Он ничего не имел против разумного гаданья с помощью стрелы или жребия для определения благоприятствующего тому или иному делу часа и, принося жертву, приглядывался к полету птиц и к направлению дыма. Но где разумение бога заменялось похотливым бредом, там для него начиналось то, что он называл «дуростью», очень резким словом в его устах, достаточно резким, чтобы выразить крайнюю степень неодобрения. Это было «Ханааном», с которым связывалась темная история, случившаяся с его дедом в шатре, «Ханааном», который, по преданию, ходил голый, с обнаженным срамом, и не отставал в блуде от местных баалов. Обнажение, хороводы, праздничное обжорство, обрядовое распутство с храмовыми прислужницами, культ Шеола и «авласавлалакавля», и бьющиеся в судорогах прорицатели — все это было «Ханааном», относилось к одной области, представляло собой одно и то же и было для Иакова дуростью.

Страшно подумать, что из-за своей ребяческой склонности к закатыванию глаз и полусомнамбулическим речам Иосиф соприкасался с этой нечистой сферой души. Иаков тоже, спору нет, был сновидцем, — но к своей чести! Да, во сне увидел он вседержителя бога и его ангелов и услышал от него отраднейшее обетование под звуки арф. Но ведь ясно же было, сколь сильно отличалось разумной своей мерой и религиозной пристойностью подобное вознесенье главы после печали и крайнего униженья от недоброго морока. Разве это было не горе, не наказание, что почетные дары, которых сподобились отцы, мельчали в нестойких сыновьях и оборачивались утонченной испорченностью? Ах, они были приятны, отцовские черты в облике сына, но они поражали, они пугали своим измельчаньем, своей нестойкостью! Одно утешенье, что Иосиф был еще так молод; его нестойкость должна была смениться закаленностью, твердостью и незыблемостью, созреть до почтенности в разумении бога. Но что склонность юноши к сомнительному восторгу связана с наготой, а значит, с отступничеством, а значит, с Баалом и Шеолом, с загробным колдовством и преисподним неразумием — это не ускользало от нравственной пронизательности Иакова, отца, и как раз поэтому он был доволен влиянием книжочия на своего любимца. Очень хорошо было, что Иосиф чему-то учился и под руководством сведущего наставника регулярно упражнялся в письме и слове. Он, Иаков, в этом не нуждался; даже величайшие его сны были добропочтенны и воздержны. Сны же Иосифа — это чувствовал старик — требовали обуздания разумной точностью: она благодатно способствовала бы его стойкости, лишив его, человека образованного, всякого сходства с рогатыми, голотелыми и блажными.

Вот как рассуждал Иаков. Темные начала природы его любимца требовали, казалось ему, очистительного растворенья в интеллекте, и получается, таким образом, что на свой озабоченный лад он разделял мальчишескую спекуляцию Иосифа насчет того, что сознание тела должно быть исправлено и улучшено сознанием духа.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

«АВРААМ»

О старшем рабе

Возможно, что у Аврама и впрямь была такая же внешность, как у Елиезера, — но может быть, и совсем другая, может быть, он был маленький, несчастный, мрачный и весь дергался от снедавшего его беспокойства; и когда говорили, что Елиезер, учитель Иосифа, походит на лунного странника, то это не имело, собственно, никакого отношения к нынешнему облику ученого раба. Люди употребляли настоящее время, имея в виду прошедшее и перенося прошлое в настоящее. Считалось, что Елиезер «походил» на Аврама лицом, и этот слух вполне мог соответствовать действительности ввиду происхождения Исаакова свата. Ибо он был, вероятно, Авраамовым сыном. Утверждали, правда, будто Елиезер был рабом, которого Нимрод Вавилонский подарил Авраму, отправляя того в изгнание; но это маловероятно, и можно даже быть уверенным, что это не соответствует истине. С властелином, при владычестве которого Авраам покинул Синеар, у него никогда не было личного соприкосновения; тому вообще не было до него дела; конфликты, заставившие духовного предка Иакова покинуть страну, разыгрывались тихо, они были внутреннего свойства, и все сведенья о личных столкновениях между ним и законодателем, о его мученичестве, о его пребывании в узилище, о том, что его пытали огнем в печи для обжига извести, — все эти истории, на которые мы здесь лишь намекаем и которыми Елиезер тоже занимал Иосифа, основывались если не на свободном вымысле, то, во всяком случае, на гораздо более древних событиях, перенесенных из седой старины в позднейшее, всего лишь шестисотлетней давности прошлое. Ведь царя Авраамовых времен, того, что обновил и надстроил башню, звали не Нимрод, что было лишь родовым понятием и обозначало сан, а Амрафел или Хаммурапи, а собственно Нимрод был отцом того Бела из Вавилона, о котором было известно, что он построил город и башню, и который, подобно египетскому Усиру, стал царем у богов, после того как побывал царем у людей. Фигура пранимрода принадлежит, следовательно, к доусировским временам, на основании чего и можно измерить ее историческое расстояние от Нимрода Аврамова, вернее, увидеть неизмеримость этого расстояния; а уж какие истории при нем случились, — действительно ли его звездочеты предсказали ему рождение очень опасного для его владычества мальчика и он решил убивать всех без разбора младенцев мужского пола, а какой-то мальчик Аврам спасся от этого страшного душегубства и был вскормлен в пещере ангелом, чьи пальцы сочлись молоком и медом, и так далее — научно это вообще невозможно установить. Как бы то ни было, с фигурой царя Нимрода дело обстоит точно так же, как с фигурой Едома, Красного: это настоящее, сквозь которое просвечивают все более далекие фигуры прошлого, теряющиеся среди богов, опять-таки восходящих в дальнейших глубинах времени к людям. Придет время заметить, что так же обстояло дело и с Авраамом. А пока что лучше не отвлекаться от Елиезера.

Итак, Елиезер не был подарен Авраму «Нимродом» — это утверждение нужно считать вымыслом. По всей вероятности, он был родным сыном Аврама, прижитым с рабыней и родившимся, надо полагать, в Дамашки во время пребывания людей Авраама в этом цветущем городе. Позднее Аврам даровал ему свободу, и его положение в семье было лишь не намного ниже, чем положение Измаила, сына Агари. Старшего из двух его сыновей, Дамасека и Елиноса, халдеянин, который, как известно, долго оставался бездетным, должен был первоначально считать своим наследником — покуда не родились сперва Измаил, а затем и Ицхак, истинный сын. Но и потом Елиезер оставался важным лицом среди людей Авраама, и именно ему выпала честь отправиться в Нахарину за невестой для Исаака, отвергнутой жертвы.

Он часто и охотно, как мы уже знаем, рассказывал Иосифу об этой поездке — да, мы

поддаемся, и поддаемся, может быть, слишком легко соблазну написать здесь просто «он», хотя Елиезер, который говорил с Иосифом, по нашему же собственному представлению не был Аврамовым Елиезером. Нас соблазняет естественность, с какой он, упоминая об этом сватовстве, употреблял местоимение «я», и беспрекословность, с какой его ученик принимал эту связанную со светом луны грамматическую форму. Он улыбался, правда, но кивал головой, и неясно было, означала ли его улыбка какую-то критику, а кивки — только любезную снисходительность. Если разобраться подробнее, то его улыбке мы верим, пожалуй, больше, чем его кивкам, и склонны предполагать, что его отношение к форме Елиезерова рассказа было несколько яснее и четче отношения к ней самого старика, достойного сводного брата Иакова.

Мы называем так Елиезера сознательно и не всуе, ибо он был им. До того как Ицхак, истинный сын, ослеп и одряхлел, он обладал здоровой чувственностью и отнюдь не ограничивался дочерью Вафуила. Уже одно то, что она, подобно Саре, долго оставалась бесплодной, заставило его своевременно позаботиться о наследнике, и уже за много лет до появления Иакова и Исава у него от одной красивой служанки родился сын, которому он позднее даровал свободу и который был назван Елиезером. Выло принято, чтобы такого рода сын в один прекрасный день получал свободу и чтобы он носил имя Елиезер. Да, тем простительней было Ицхаку, отвергнутой жертве, иметь этого сына, что Елиезера полагалось иметь — он всегда имелся при дворах Аврамова религиозного потомства и всегда играл там роль домоправителя и Первого Раба, при случае его посылали также сватать невесту сына праведной, и обычно сам глава семьи давал Елиезеру жену, от которой у него бывало два сына — Дамасек и Единое. Одним словом, это было такое же установление, как Нимрод Вавилонский, и когда юный Иосиф смотрел на Елиезера в часы занятий, когда они сидели вдвоем близ колодца, в тени дерева наставленья, и мальчик, охватив колени руками и слушая, глядел в лицо вещавшего старика, который «походил на Авраама» и с такой великолепной непринужденностью употреблял слово «я», у него часто возникало странное чувство. Взгляд его красивых и прекрасных глаз тогда преломлялся, он глядел сквозь повествовавшего в бесконечную перспективу Елиезеров, которые все устами сидевшего перед ним говорили «я», и так как дело происходило в сумраке тенистого дерева, а за спиной Елиезера стояло марево знойного дня, эта перспектива тождеств терялась не в темноте, а в сиянии света...

Шар катится, и никогда нельзя будет установить, где берет свое начало какал-то история — на небе или на земле. Истине служит тот, кто утверждает, что все они соответственно и одновременно разыгрываются здесь и там и только нашему глазу кажется, будто они опускаются и вновь поднимаются. Истории опускаются, подобно тому как бог становится человеком, они становятся земными и, так сказать, омещаниваются, — в качестве примера можно снова припомнить историю, которой любили хвастаться люди Иакова, так называемую борьбу с царями, историю о том, как Аврам побил полчища царей Востока, чтобы освободить своего «брата» Лота. Ранние редакторы и ученые толкователи историй патриархов считают непреложной истиной, что этих царей Аврам преследовал, побил и отогнал за Дамаск не с тремястами восемнадцатью воинами, как то знал Иосиф, а с одним лишь своим рабом Елиезером; что за них, за Аврама и Елиезера, сражались звезды, благодаря чему они победили и обратили в бегство врагов. Случалось, что и сам Елиезер рассказывал Иосифу эту историю так — мальчик привык к этому варианту. Но нельзя не заметить, что в таком виде этот рассказ теряет тот земной, хотя и героический характер, который придали ему балагуриящие пастухи, и приобретает взамен другой. Когда слушаешь его, кажется, — и такое впечатление довольно определенно складывалось также у Иосифа, — будто это два бога, господин и слуга, побили в бою полчища великанов или меньших элохимов; а это, несомненно, означает правомерное и полезное для истины возведение данного события к его небесной форме и его восстановление в ней. Но следует ли поэтому отрицать его земную действительность? Напротив, его надземная истинность и действительность подтверждает земную. Ибо то, что вверху, опускается

вниз; но то, что происходит внизу, и не смогло бы случиться, оно, так сказать, не додумалось бы до себя без своего небесного образца и подобья. В Авраме стало плотью то, что прежде было звездной субстанцией, и когда он победоносно прогонял заевфратских разбойников, он опирался и полагался на божественный образец.

Не было ли, например, и у истории о сватовстве Елиезера своей собственной истории, на которую она опиралась и на которую мог положиться ее герой и рассказчик, переживая ее и рассказывая? Ее старик тоже порою странно видоизменял, и через хранителей предания она дошла до нас также и в измененном виде. Так вот, хранители эти утверждают, что, будучи послан Аврамом за невестой для Исаака в Месопотамию, Елиезер затратил на дорогу из Беэршивы в Харран — а на дорогу эту требуется двадцать, самое меньшее семнадцать дней, — что Елиезер затратил на нее три дня, потому что «земля скакала ему навстречу». Это можно понимать только в переносном смысле, ибо точно известно, что земля никому не бежит и не скачет навстречу; но тому, кто движется по ней с большой легкостью, как бы на крылатых ногах, кажется, будто она это делает. Кстати, учителя и не говорят, что это путешествие проходило обычно, караваном, с навьюченной на животных поклажей; о десяти верблюдах они не упоминают. Свет, какой они бросают на эту историю, создает несомненное впечатление, что родной сын и гонец Аврама проделал свой путь один и притом каким-то окрыленнейшим способом — со скоростью, для объяснения которой недостаточно крылышек на ногах, так что невольно представляешь себе крылышки и на его шапочке... Короче, в этом освещении плотски-земное путешествие Елиезера предстает опустившейся историей, в которой он опирался на историю надземную, отчего позднее, в присутствии Иосифа, путал не только грамматические формы, но немного и формы самой истории и говорил, что земля «скакала ему навстречу».

Да, в сиянии света, не в темноте, терялось то, что проглядывало сквозь достопочтенного Елиезера, когда упирившийся в небо взгляд ученика задумчиво преломлялся, и одновременно то же самое происходило с тождествами других людей — можно уже догадаться, каких других. Заметим только сейчас, заглядывая вперед в историю жизни Иосифа, что впечатления этого рода были самыми прочными и действенными из всех, какие он вынес из ученья у старика Елиезера. Ведь дети вовсе не невнимательны, когда их учителя бранят их за невнимательность; просто внимание их приковано к иным и, может быть, более важным вещам, чем те, к которым его хочет привлечь деловитость наставников, а Иосиф, при всей кажущейся невнимательности расплывавшегося его взгляда, проявлял это детское внимание даже в повышенной мере — всегда ли себе на благо, это уже другой вопрос.

Как Авраам открыл Бога

Говоря о «других людях», мы тем самым заранее осторожно намекнули на Авраама, господина посланца. Что знал о нем Елиезер? Много — и самого разного рода. Он говорил о нем словно двойным языком — то так, то этак. Иной раз халдеянин был просто-напросто человеком, который открыл бога, после чего тот на радостях поцеловал себе пальцы и воскликнул: «До сих пор никто из людей не называл меня Господом и Всевышним, а теперь меня так зовут!» Путь к этому открытию был очень труден, даже мучителен; праотец хлебнул немало горя. Его труды и поиски определялись и вызывались одним личным, свойственным именно ему представлением — представлением, что знать, кому или чему человек служит, необычайно важно. Это произвело на Иосифа впечатление, он понял все тотчас же, и в особенности насчет сознания важности. Чтобы приобрести какое-то уважение, какой-то вес у бога и у людей, нужно проникнуться сознанием важности вещей — или хотя бы одной вещи на свете.

Праотец проникся сознанием безусловной важности вопроса, кому должен служить человек, и замечательно ответил на этот вопрос: одному Всевышнему. В самом деле, замечательно! Этот ответ был исполнен достоинства, граничившего с дерзостью и запальчивостью. Ведь праотцу вольно было сказать себе: «Чего еще требовать от меня, а во мне — от человека! Довольно того, что я буду служить какому-нибудь эленку, идолу или божку, это не имеет значения». Так ему было бы удобнее. А он сказал: «Я, Аврам, а во мне человек, вправе служить исключительно Всевышнему». С этого началось все. Иосифу это нравилось.

Началось с того, что Аврам подумал, что служить и поклоняться нужно одной земле, ибо она приносит плоды и поддерживает жизнь. Но тут он заметил, что она нуждается в дожде с неба. Тогда он взглянул на небо, увидел солнце во всем его великолепии, во всей мощи его благодати и проклятия, и решил было уже служить ему. Тут, однако, оно закатилось, и он убедился, что, значит, оно не может быть высшим в мире. Тогда он обратил взор свой к лупе и заездам — к ним даже с особой готовностью и надеждой. Наверно, первым поводом к его недовольству и толчком к перемене мест и было оскорбление, наносимое его любви к Луне, божеству Уру и Харрана, теми преувеличенными государственными почестями, которые, в ущерб Сину, пастуху звезд, оказывал солнечному началу, Шамашу-Белу-Мардуку. Нимрод Вавилонский. Возможно даже, что это была хитрость бога, который, рассчитывая возвеличиться в Авраме и приобрести благодаря ему имя, вызвал в нем через его любовь к Луне первое несогласье и беспокойство, использовал их для собственных целей и сделал их тайным началом своей карьеры. Ибо когда взошла утренняя звезда, пастух и стадо исчезли, и Аврам заключил: «Нет, и эти боги тоже недостойны меня». Душа его была отягощена заботой, и он заключил: «Хоть они и высоки, но не будь над ними владыки, который ими управляет, как могли бы одни из них восходить, а другие заходить? Мне, человеку, не пристало служить им, а не тому, кто ими повелевает». И ум Авраама доискивался истины с такой озабоченной настойчивостью, что господь бог, глубоко растрогавшись, сказал про себя: «Я помажу тебя миром радости обильнее, чем твоих сотоварищей!»

Так, из стремленья к высшему, Авраам открыл бога и, уча других, сформировал его и придумал, и облагодетельствовал этим все заинтересованные стороны — бога, себя самого и людей, чьи души, уча, завоевывал. Бога — тем, что дал ему осуществиться в человеческом познании, себя же и своих прозелитов тем, что свел множественное и устрашающее неведомое к единичному и успокаивающе известному, к определенному владыке, от которого шло все, — и добро и зло, и внезапное, ужасное и благодатно привычное, — к владыке, которого следовало держаться в любых обстоятельствах. Авраам собрал разные силы в одну силу и назвал ее господом — ее одну и раз навсегда, а не только для праздника, когда в льстивых гимнах приписывают всю силу и отдают все почести какому-то одному богу, Мардуку, Ану или Шамашу, чтобы на следующий же день и в соседнем храме пропеть другому богу это же самое. «Ты единственный и высочайший, без тебя не вершится никакой суд и ничего не решается, ни один бог ни на земле, ни на небе не в силах тебе противиться, ты выше всего их сонма!» Это из угодливости и от поглощенности мгновеньем часто твердили и пели в царстве Нимрода; Авраам же открыл и объяснил, что на самом деле это может быть сказано лишь одному, всегда одному и тому же, притом вполне известному, поскольку все шло от него, и делавшему, следовательно, известным начало всего на свете. Люди, среди которых вырос Авраам, были очень озабочены тем, чтобы их благодарность или мольба дошла до этого начала. Покаянную молитву в беде они начинали целым перечнем богов, старательно призывая на помощь всех, чьи имена им только были известны, чтобы ни в коем случае не пропустить того, кто послал им эту напасть и как раз ею ведал; ибо они не знали, кто же он. Авраам знал и учил этому. То был всегда только Он, самый высокий, единственный, кто мог быть для человека настоящим богом и к кому по прямому назначению попадали и крик человека о помощи, и его хвалебная песнь.

Иосиф, как ни был он юн, отлично понимал смелость и силу души, которые выразились в богооткрытии праотца и от которых с ужасом отшатнулись многие, от кого тот требовал этих же качеств. В самом деле, был ли Аврам высокого роста и по-стариковски красив, как Елиезер, или же он был маленький, худой и согбенный, — он все равно обладал мужеством, всем мужеством, необходимым для того, чтобы возвести все многообразие божественного, и всякий гнев, и всякую милость к нему, непосредственно к нему, своему богу, следовать только за ним и безраздельно подчинить себя самому высшему. Даже Лот сказал ему, побледнев:

— Но ведь если твой бог покинет тебя, ты будешь совсем одинок!

На это Аврам ответил:

— Верно, и ты это говоришь. Тогда никакое одиночество ни на небе, ни на земле не сможет сравниться с моим одиночеством — оно будет совершенным. Но ведь зато если я умилю Его и Он станет моим щитом, у меня не будет ни в чем недостатка, и я завладею воротами моих врагов!

Тогда Лот приободрился и сказал ему:

— Если так, я хочу быть твоим братом.

Да, Аврам умел заражать близких своей отвагой. Его звали Авирам, что могло равно означать и «Мой отец величествен», и «Отец величественного». Ибо в известной мере Авраам был отцом бога. Он увидел его и выносил мыслью; могущественные свойства, которые он ему приписал, были, конечно, изначально присущи богу, Аврам не был их творцом. Но разве он не был им все же в известном смысле, если он их познавал, преподавал и, мысля, осуществлял? Великие свойства бога, спору нет, объективно существовали вне Авраама, но в то же время они существовали в нем и благодаря ему; мощь его собственной души была в иные мгновенья почти неотличима от них, она, познавая, соединялась и сплавлялась с ними в одно целое, и отсюда произошел завет, заключенный потом господом с Авраамом и явившийся лишь категорическим подтверждением факта внутреннего; но отсюда пошло и своеобразие Авраамова страха перед богом. Поскольку величие бога было чем-то до ужаса объективным и существовало вне Авраама, но в то же время в известной мере совпадало с его собственным, Авраамовым, душевным величием и было его порождением, то этот страх божий не был страхом в обычном смысле слова, он был не только дрожью и трепетом, но одновременно и чувством союза, доверия и дружбы; и действительно, иногда праотец обходился с богом так, что это, если не учитывать особой сложности их отношений, должно было бы вызвать удивление земли и неба. Например, панибратство, с каким он напустился на господу перед гибелью Содома и Аморры, было, принимая во внимание ужасное могущество и величие бога, почти шокирующим. Но кого, собственно, оно могло шокировать, если не бога? А бог воспринял это добродушно. «Послушай, господи, — заявил тогда Аврам, — либо так, либо этак, одно из двух! Если ты хочешь, чтобы у тебя был мир, не требуй праведности: если же тебе нужна праведность, то миру конец. Ты гонишься за двумя зайцами, ты хочешь и мира, и праведности в мире. И если ты не смягчишься, мир не сможет существовать». Даже в коварстве уличил и обвинил он тогда господу: пообещав некогда не насылать на землю потопа, тот насылал на нее теперь огонь. Бог, однако, который после случившегося или чуть было не случившегося с его гонцами в Содоме, наверно, уже не мог поступить с этими городами иначе, выслушал Авраама если не одобрительно, то, во всяком случае, без гнева; он окутал себя доброжелательным молчаньем.

Это молчанье было выражением одной поразительной особенности, свойственной одновременно и объективному бытию бога, и Авраамову душевному величию, порождением которого она, может быть, и являлась, той особенностью, что противоречие между миром жизни и праведностью заложено было в самом величии бога, что он, бог живой, не был добрым или был добрым лишь наряду с прочими качествами, а кроме того, и злым, что его живая природа включала в себя и зло, будучи при этом не просто святой, а самой святостью и требуя святости от других!

Поразительно! Это Он разбил Тиамата, рассек на части дракона хаоса; это Ему, его богу, причитался крик ликования, которым при сотворении мира приветствовали боги Мардука, крик, который повторяли в день нового года Авраамовы земляки. Порядок и все благодетельно надежное шло от него. Ранние и поздние дожди выпадали в надлежащее время благодаря Ему. Он указал страшному морю, остатку потопа, жилищу Левиафана, пределы, которых оно и при самом яростном натиске не могло перейти. Он заставил животворное солнце вставать, подниматься к вершине и совершать свое вечернее сошествие в ад, а луну — отмерять время неизменным чередованием состояний. Он усеял небо звездами, соединил их в прочные созвездья и измерил жизнь животных и людей, питая их сообразно временам года. Из краев, где никто не был, падал снег и увлажнял землю, диск которой Он поместил на воде, благодаря чему суша не колебалась и не шаталась, разве что изредка. Сколько блага, пользы, добра!

Но как человек, убивающий врага, прибавляет, благодаря победе, его качества к своим, так бог, рассекая на части чудовище хаоса, усвоил, по-видимому, его естество и, возможно, только благодаря этому достиг законченности и совершенства, дорос до полного величия своей живой природы. Борьба между светом и тьмой, добром и злом, ужасом и благом на земле не была, как думали люди Нимрода, продолжением давнишней борьбы Мардука против чудовища Тиамата; и тьма, и зло, и все непредвидимо-страшное, землетрясение, грохочущая молния, затмевающие солнце рои саранчи, семь злых ветров, пыльная буря абубу, шершни и змеи тоже были от бога, и если его называли владыкой повальных болезней, то потому, что он и насылал их и врачевал. Он был не добром, а всем вместе. И он был свят! Свят не своей добротой, а своей живой и сверхживой природой, свят своим величием и своей страшностью, он был жуток, грозен, смертельно опасен, так что всякая оплошность, всякая ошибка, малейшая неосторожность в обращении с ним могли иметь самые ужасные последствия. Он был свят; но он и требовал святости, и то, что он требовал ее самим фактом своего существования, придавало святому более значительный смысл, чем если бы оно сводилось к простой мнительности; осторожность, к которой он призывал, становилась в силу того, что он к ней призывал, благочестием, а живая величавость бога — мериллом жизни, источником чувства вины, богобоязненностью, которая была хождением в чистоте перед величием бога.

Бог существовал, и Авраам ходил перед ним, освященный в душе объективной Его близостью. Они были двуедины, это были «я» и «ты», которое тоже говорило «я» и называло другого «ты». Верно, что свойства бога Аврам открыл благодаря собственному душевному величию — без него он не сумел бы открыть и назвать их, и они остались бы скрыты. Но поэтому бог все-таки оставался вне Авраама и вне мира могущественным «ты», которое говорит «я». Он был в огне, но не был огнем, — отчего было бы большой ошибкой поклоняться огню. Бог сотворил мир, в котором встречались такие огромности, как буря или Левиафан. Это следовало принимать во внимание, чтобы иметь представление или если не представление, то хоть какое-то суждение о его, бога, собственной объективной величине. Он непременно должен был быть гораздо больше всех своих творений и так же непременно вне таковых. Он назывался Макомом, пространством, потому что он был пространством мира, но мир не был его пространством. Он был и в Аврааме, который познал Его благодаря Ему. Но это-то и

придавало силу и вес собственному «я» праотца, и это веское, сильное богом «я» отнюдь не собиралось исчезнуть в боге, слиться с Ним и перестать быть Авраамом, нет, оно очень смело и твердо противостояло Ему — разумеется, на огромном расстоянии от Него, ибо Авраам был только человеком, перстью земной, хотя и связанной с Ним познанием и освященной величественным существованием бога в качестве «ты». На такой основе бог заключил с Авраамом вечный завет, этот многообещающий для обеих сторон договор, к которому Господь относился настолько ревниво, что требовал от Своего народа безраздельного, без какого бы то ни было заигрыванья с другими богами, которых был полон мир, поклоненья. Это было примечательно: с Авраамом и с его заветом в мире появилось нечто такое, чего прежде в нем не было и чего народы не знали, — проклятая возможность нарушить завет, отпасть от бога.

Многому еще относительно бога мог научить праотец, но он не мог ничего рассказать о боге — как могли рассказать о своих богах другие. О боге не было никаких историй. Это было, может быть, самое примечательное — мужество, с каким Аврам сразу, без церемоний и без историй, установил и выразил существование бога, сказав «бог». Бог не возник, он не был рожден, не вышел из женского чрева. Да и не было рядом с ним на престоле никакой женщины, — никакой Иштар, Баалат и богоматери. Как это могло быть? Достаточно было призвать на помощь свой разум, чтобы понять, что в свете всех качеств бога иначе и быть не могло. Он посадил в Эдеме древо познания и смерти, и человек отведал его плодов. Родить и умирать было уделом человека, но не бога, и рядом с ним не было никакой божественной женщины, потому что он не нуждался в познании, будучи сразу в одном лице и Баалом и Баалат. Не было у него и детей. Ибо не были ими ни ангелы и Саваоф, которые служили ему, ни подавно те исполины, которых родили несколько ангелов с дочерьми человеческими, соблазнившись распутством оных. Он был один, и это был признак его величия. Но если одиночество безбрачно-бездетного бога объясняло его повышенно ревнивое отношение к союзу с человеком, то, конечно, с одиночеством же были связаны отсутствие у него историй, невозможность что-либо о нем рассказать.

Однако невозможность эта была, с другой стороны, лишь относительна, она относилась лишь к прошлому, но не к будущему, — если предположить, что слово «рассказывать» применимо к будущему и будущее можно рассказывать, пусть даже в форме прошлого. Одна история у бога, во всяком случае, была, но она касалась будущего, будущего, настолько для бога прекрасного, что его настоящее, как ни было оно великолепно, не могло с ним сравниться; и то, что оно не могло с ним сравниться, придавало величие и священному могуществу бога, вопреки им самим, оттенок ожидания и неисполненного обета, попросту говоря — страдания, и, пренебрегая этим оттенком, нельзя было вполне понять союз бога с человеком и его, бога, ревнивое к нему отношение.

Настал день, самый поздний и самый последний, и лишь он принесет осуществление бога. Этот день был концом и началом, уничтоженьем и возрожденьем. Мир, этот первый или, может быть, не первый мир, рассыпался прахом во всеобъемлющей катастрофе, хаос, первобытное безмолвие вернулись опять. Но затем бог начнет все заново, и еще чудеснее — владыка уничтоженья и воскресения. Из тоху и боху, из ила и мрака слово его вызвало новый космос, и громче, чем в прошлый раз, ликовали зрители-ангелы, ибо обновленный мир превосходил старый во всех отношениях, и бог восторжествует в нем над всеми своими врагами.

Вот оно что: по скончании дней бог будет царем, царем царей, царем над людьми и богами. Но разве он не был им уже сегодня? Был, но незаметно, в сознании Аврама. А не явно, не общепризнанно, не вполне, следовательно, осуществившись. В последний и первый день, день уничтоженья и воскресения, назначено было осуществиться неограниченному владычеству бога; из оков, в которых оно еще находилось покамест,

его безусловное величие восстанет во всеувиденье. Никакой нимрод не поднимет на Него своих бесстыдных уступчатых башен, только перед Ним будут люди преклонять колени, и никого другого не станут славить человеческие уста. А это значило, что наконец и в действительности бог станет владыкой и царем над всеми богами, каким он вправду был искони. Под звуки десяти тысяч косо воздетых труб, под пенье и грохот пламени, под град молний, величественный и ужасный, он грядет через мир, оцепеневший в земном поклоне, к престолу, чтобы у всех на виду и навеки взять власть над действительностью, которая была Его правдой.

О, день апофеоза господня, день обетованья, ожиданья и исполненья! Он включит в себя, это следовало заметить, и апофеоз Авраама, чье имя станет впредь благословением, которым будут приветствовать друг друга поколения людей. Таков был обет. Но то, что громовой этот день был не в настоящем, а в конечнейшем будущем и его нужно было дожидаться, — это-то и вносило в сегодняшний лик бога оттенок страданья, оттенок никак не сбывающейся надежды. Бог был в оковах, бог страдал. Бог был в неволе. Это смягчало его величие, делало его предметом утешительного поклонения для всех страждущих и ожидающих, не великих, а малых в мире, вселяло в сердца их презрение ко всему похожему на Нимрода, ко всему бесстыдно громадному. Нет, у бога не было таких историй, как у Усира, страдальца земли Египетской, растерзанного на куски, похороненного и воскресшего, или как у Адона-Таммуза, оплакиваемого флейтой в ущельях, владыки овчарни, которому Ниниб, вепрь, разорвал бок и который спустился в темницу, чтобы воскреснуть. Запретно было и думать, что бог имел какое-либо отношение к историям природы, которая чахла в печали и цепенела в страдании, чтобы, согласно закону и обету, обновиться среди смеха и буйства цветов; к зерну, что гнило во мрака земли, чтобы пустить росток и восстать; к смерти и к полу; к порочной священности Мелех-Баала и его культа в Тире, где мужчины в исступлении помешательства с мертвецким бесстыдством приносили в жертву этому чудовищу свое семя. Не дай бог, чтобы Он имел что-либо общее с такими историями! Но то, что он томился в оковах и был ожидающим богом будущего, создавало известное сходство между Ним и теми страждущими божествами, и именно поэтому Аврам вел в Сихеме с Мелхиседеком, священником Баала завета и Эльэльона, долгие беседы о том, тождественны ли этот Адон и Авраамов господь, и если да, то до какой степени.

А бог поцеловал кончики своих пальцев и, к тайной досаде ангелов, воскликнул: «Просто невероятно, до чего основательно эта персть земная меня познает! Кажется, я начинаю делать себе имя с ее помощью? Право, помажу ее!»

Господин посланца

Вот каким в общем-то человеком изображал Авраама Елиезер ученику своим языком. Но, говоря, этот язык внезапно раздваивался и говорил о нем также и по-другому, совсем иначе. Тот, о ком говорил этот достопочтенно змеиный язык, был все еще Авраамом, человеком из Уру или, собственно, Харрана, — и язык этот называл его прадедом Иосифа. Что при трезвом взгляде на дело Аврам им не был — тот Авраам, о котором еще только что говорил язык Елиезера, беспокойный подданный Амрафела, царя Синеарского, — что ни один прадед не жил за двадцать поколений до своего правнука, это знали оба — и старик и мальчик. Но смотреть сквозь пальцы им надо было не только на эту неточность; ибо Авраам, о котором, сбиваясь, путаясь и раздваиваясь, говорил теперь этот язык, не был и тем, кто жил в те давние времена и стряхнул со своих ног прах Синеара, а был, пожалуй, еще более далекой фигурой, просвечивавшей сквозь образ беспокойного синеарца, и взгляд мальчика так же терялся в этой прозрачности, как и в той, что звалась «Елиезер», — прозрачности, естественно, все более светлой; ибо то, что просвечивает,

есть свет.

Тогда всплывали все истории, принадлежавшие тому полушарию, где господин и слуга прогнали врагов за Дамашки не с тремястами восемнадцатью рабами, а вдвоем, но с помощью высших сил, и где посланцу Елиезеру «земля скакала навстречу»; история о предсказанном рождении Авраама, о том, как из-за него убивали всех мальчиков, о том, как он провел детство в пещере и его кормил ангел, а мать его бродила и искала его. Это походило на правду; в чем-то и как-то это соответствовало действительности. Матери всегда бродят и ищут; у них много имен, но они бродят по свету и ищут бедное свое дитя, уведенное в преисподнюю, убитое, растерзанное. На сей раз она звалась Амафлой или Эмтелай, — пользуясь этими именами, Елиезер допускал, вероятно, вольное переосмысленье, мечтательно путал одно с другим; ибо больше, чем матери, они подходили кормящему ангелу, который, для вящей наглядности этого эпизода, принимал также, согласно раздвоенности языка, облик козы. Когда мать халдеянина называли «Эмтелай», это Иосифу тоже казалось верхом мечтательности и сказывалось на выражении его глаз, ибо имя это недвусмысленно означало «Мать моего возвышенного», то есть попросту «богоматерь».

Заслуживал ли почтенный Елиезер какого-либо упрека за то, что он так говорил? Нет. Истории опускаются, подобно тому как бог становится человеком, они как бы омещаниваются и делаются земными, но из-за этого не перестают разыгрываться и наверху, и могут быть рассказаны также и в небесной их форме. Иногда, например, старик утверждал, что сыновья Хеттуры, которую Аврам на старости лет взял в наложницы, — Медан, Мадан, стало быть, Иокшан, Симран, Ишбак и как там их еще звали, — что эти сыновья «сверкали, как молнии» и что Аврам выстроил им и их матери железный город такой высоты, что в него никогда не заглядывало солнце и он освещался одними лишь самоцветами. Слушатель Елиезера должен был быть совершенным тупицей, чтобы не понять, что под этим тускло светящимся городом подразумевается преисподняя, царицей которой Хеттура, значит, и представляла в этой картине. В этой неоспоримой картине! Да, Хеттура была простой ханаанеялкой, которую Аврам на старости лет удостоил своей постели, но она была матерью ряда аравийских родоначальников и владык пустыни, как была матерью одного из таких владык египтянка Агарь; и если Елиезер говорил о сыновьях, что они сверкали, как молнии, то это значило только, что он видел их двумя глазами, а не одним, под знаком одновременности и единства двух качеств: и главарями бедуинов, бродягами, и сыновьями и князьями преисподней, как то было с Измаилом, неправедным сыном.

Бывали мгновенья, когда и о Сарре, жене праотца, старик говорил в странных тонах. Он называл ее «дочерью оскопленного» и «высочайшей на небе». Он добавлял, что она носила копье, а с этим как нельзя лучше вязалось то, что первоначально она звалась Сарой, то есть «героиней», и лишь бог низвел и уменьшил ее до Сарры, то есть до простой «госпожи». То же самое случилось и с ее братом-супругом; ибо «Аврам», что значит «высокий отец» и «отец высоты», был уменьшен и низведен до «Авраама», то есть отца множества, огромного религиозно-физического потомства. Но разве поэтому он перестал быть Аврамом? Отнюдь нет. Шар катился, только и всего; и язык, раздвоившийся в Авраме и Аврааме, говорил о праотце то так, то этак.

Отец страны Нимрод хотел его сожрать, но он ушел от его алчности, был вскормлен в пещере козою-ангелом, а подросши, сыграл с этим прожорливым царем и его истуканьим величьем такую шутку, что тот, можно было сказать, познакомился с серпом. Прежде чем праотец сел в каком-то смысле на Нимродово место, ему пришлось многое претерпеть. Он содержался в узилище, и весело было слышать, что даже это местопребыванье он использовал для того, чтобы на вербовать прозелитов и обратиться к высшему богу стража ямы-темницы. Его будто бы отдали в жертву тифоническому жару, то ли сунув в печь для

обжига извести, то ли — Елиезер рассказывал об этом по-разному — отправив на костер, и это тоже было отмечено печатью правды, ибо Иосиф отлично знал, что и поныне еще во многих городах справлялся «праздник костра». Но разве существуют праздники, не основанные на том или ином воспоминании, беспочвенные, нереальные праздники? Разве на благочестивом маскараде в день Нового года и сотворения мира люди воспроизводят события, высосанные из пальца у себя или у кого-либо из ангелов и никогда не происходившие? Человек ничего не выдумывает. Спору нет, он премудр с тех пор, как поел от дерева, и в этом отношении ему не так уж и далеко до бога. Но как ему, при всей его премудрости, додуматься до чего-то, чего на свете нет? И значит, с костром все так и было.

По Елиезеру, Авраам являлся основателем и первоправителем города Дамашки. Это свидетельство просто излучало свет; ведь обычно города закладываются не людьми, и у тех, кого называют их первоправителями, обычно не бывает облика человека. Даже Хеврон, именуемый Кириаф-Арбой, возле которого они с Елиезером сейчас находились, был заложен не человеком, а как, по крайней мере, утверждала молва, великаном Арбой или Арбаалом. Елиезер, впрочем, твердо стоял на том, что Авраам основал и Хеврон. Но этим старик, возможно, вовсе не противоречил и не собирался противоречить распространенному мнению; что праотец обладал исполинским ростом, вытекало уже из того, что он, по словам Елиезера, делал шаги шириной в версту.

Удивительно ли, что в иные туманно-мечтательные мгновенья образ его предка, основателя городов, сливался у Иосифа в прозрачной дали с образом того вавилонского Бела, который построил башню и город и стал богом, после того как побывал человеком и был похоронен в могиле Бела? У Авраама все было, казалось, наоборот. Но что значит в данном случае «наоборот» и кто скажет, кем он был сперва и где родина историй — вверху или внизу? Они — это настоящее время того, что возвращается, единство двоичности, памятник под названием «Одновременность».

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

«ИОСИФ И ВЕНИАМИН»

Роща Адониса

В получасе ходьбы от широко раскинувшегося поселенья Иакова, от его шатров, хлебов, загонов и амбаров, ближе к городу, был овраг, весь заросший крепкоствольными, похожими на невысокий лес кустами мирта и считавшийся у жителей Хеврона священной рощей Астарот-Иштар или скорей даже ее сына, брата и мужа — Таммуза-Адони. Там воздух был полон приятной, хотя летом и душной пряности, и пахучая эта чаща не составляла сплошного массива зарослей, а была переплетением случайных извилистых прогалин, которыми можно было пользоваться как тропинками, и в самой глубокой точке лощины находилась возникшая несомненно благодаря корчеванью поляна святилища: посреди нее была сооружена четырехгранная, выше человеческого роста, каменная пирамида с высеченными символами плодовитости, маццеба, являвшаяся, видимо, и сама символом плодовитости, а на цоколе пирамиды стояли дары — глиняные сосуды с землей, пускавшей зеленовато-белые ростки, и приношения более затейливые, например, склеенные четырехугольником деревянные планки с натянутым на них холстом, на котором странно выдавалась нескладная, зеленая, словно бы закутанная человеческая фигура: покрыв контур мертвеца на холсте перегибом, женщины-дароносительницы

засеяли его пшеницей, которую поливали, а когда она взошла, подстригали, и поэтому фигура лежала на земле зеленым рельефом.

Сюда Иосиф часто приходил с Вениамином, родным своим братом, который, достигнув уже восьмилетнего возраста, начал выходить из-под опеки женщин и охотно присоединялся к первенцу своей матери, — толстощекий малыш, не разгуливавший уже голышом, а носивший длинное, до колен, одеянье из синей или бурой шерсти с вышивкой по краю и короткими рукавами. У него были красивые серые глаза, которые он поднимал к старшему брату с выраженьем яснейшего доверья, и густые, металлического отлива волосы, покрывавшие его череп от середины лба до затылка, как толстый зеркальный шлем с вырезами для ушей, таких же маленьких и крепких, как его нос и короткопалые руки, одну из которых он всегда давал брату, когда они вместе шагали. Нрава он был ласкового, приветливость Рахили была в нем. Но на маленьком этом человечке лежала и тень робкой грусти, ибо учиненное им в досознательном состоянье не осталось ему неизвестным: он знал час и причину смерти матери, и его постоянное чувство трагически невинной вины подкреплялось отношением к нему Иакова, которое отнюдь не было лишено нежности, но определялось мучительной робостью. Так что отец скорее избегал, чем искал его общества, но время от времени горячо и подолгу прижимал к сердцу своего младшего, называл его Бенони и говорил ему на ухо о Рахили.

Поэтому малышу, когда он перестал держаться за юбки женщин, было не очень легко с отцом. Тем сильнее привязывался он к своему единоутробному брату, которым всячески восхищался и который, хотя всякий при виде его улыбался и поднимал брови, был довольно одинок, а значит, мог нуждаться в такой привязанности, да и сам остро чувствовал естественное свое единство с малышом, отчего и взял его в друзья и поверенные — настолько даже пренебрегая разницей в возрасте, что Вениамина это больше, пожалуй, смущало и затрудняло, чем наполняло счастьем и гордостью. Да, умный и распрекрасный «Иосеф» — так произносил Бенони имя брата — рассказывал и доверял ему больше, чем вмещало его младенчество, и как ни старался он вобрать в себя эти речи, они сгущали тень меланхолии, лежавшую на маленьком матереубийце.

Рука в руке, уходили они подальше от масличного сада Иакова на холме, где сыновья служанок собирали и давили маслины. Они прогнали оттуда Иосифа после того, как он донес отцу, который сидел на скотном дворе и принимал отчет у стоявшего перед ним Елиезера, что по их вине почти на всех деревьях перезрели плоды и масло поэтому получалось грубое, и к тому же братья, по его мнению, слишком рьяно давили и мяли плоды в маслобойнях, вместо того чтобы осторожно выжимать из них сок. После того как отец отчитал братьев, Дан, Неффалим, Гад и Асир, с простертыми руками и перекошенными ртами, велели доносчику, или даже клеветнику, убраться прочь. Иосиф позвал Вениамина и сказал ему:

— Пойдем на наше место.

По дороге он говорил:

— Я выразился: «почти на всех деревьях» — согласен, это было преувеличение, обычное дело, когда говоришь. Скажи я «на многих», получилось бы точнее, это я признаю, ведь я же сам взбирался на то старое, трехствольное дерево, что за оградой, я собирал маслины и бросал их на подстилку, а братья, увы, сбивали плоды камнями и палками, и я собственными глазами видел, что уж на старых-то деревьях — не буду говорить об остальных — плоды действительно перезрели. А они делают вид, будто я вообще лгу и будто можно получить хорошее масло, швыряя, как они, в священный дар камнем и все раздрызгивая. Мыслимо ли видеть такое и не пожаловаться?

— Нет, — отвечал Вениамин, — ты разумнее их, и ты должен был пойти к отцу, чтобы он обо всем узнал. Я очень рад, что ты поссорился с ними, маленький Иосеф, ведь поэтому ты позвал брата правой руки.

— Статный Бен, — сказал Иосиф, — давай теперь с разбегу перемахнем через эту ограду, раз, два, три...

— Хорошо, — отвечал Вениамин. — Только не отпускай меня! Прыгать вместе мне, малолетнему, и веселее, и безопаснее.

Они разбежались, перепрыгнули через ограду и пошли дальше. Когда рука Вениамина в его руке становилась слишком горячей и влажной, Иосиф обычно брал ее за запястье, которого Вениамин не напрягал, и размахивал ею, чтобы она высохла на ветру. Малыша всегда так смешило это проветривание, что он даже спотыкался от хохота.

Достигнув миртового оврага и рощи бога, они должны были разнять руки и пойти друг за другом: тропинки между кустами были слишком узки. Они составляли лабиринт, блуждание в котором всегда забавляло братьев; было любопытно, далеко ли удастся продвинуться по какой-нибудь петляющей дорожке, прежде чем она упрется в непроходимые заросли, и можно ли в обход, в гору или под гору, пробраться дальше, или же нужно повернуть назад, рискуя, впрочем, сбиться и с этой, так далеко уведшей дороги и снова зайти в тупик. Они болтали и смеялись, продираясь сквозь заросли и защищая лицо от ударов и царапин, и порою Иосиф отламывал от куста, по-весеннему белевшего цветами, ветку-другую, набирая их в руку: здесь запасался он миртом для венков, которые любил носить в волосах. Сначала Вениамин пытался подражать брату, он тоже набирал себе веток и просил Иосифа сплести венок и ему. Но он заметил, что Иосиф бывал недоволен, когда и он, Вениамин, украшал себя миртами, что тот, не высказываясь прямо, оберегал особое свое право на это убранство. Малышу казалось, что тут крылись какие-то тайные мысли, которые и вообще — это Вениамин тоже замечал — водились у Иосифа: ведь как раз при нем, братце, Иосиф не всегда держал язык за зубами. Бенони подозревал, что невысказанная, но заметная ревность брата к украшению миртами каким-то образом связана с избранием наследника, с номинальным первородством, с благословеньем, которое было, как известно, предназначено ему отцом и маячило перед ним, — однако этим дело явно не исчерпывалось.

— Не беспокойся, малыш! — говорил Иосиф, целуя своего спутника в прохладный шлем его волос. — Я сделаю тебе дома венок из дубовых листьев или из пестрых колючек или рябиновый с красными бисеринами, — ладно? Ведь он будет еще красивее, правда? Зачем тебе мирты! Они тебе не к лицу. Нужно уметь выбирать подходящие украшения.

И Вениамин отвечал:

— Верно, ты прав, и я согласен с тобой, Иосифа, Иашуп, мой Иегосиф. Ты безмерно умен, и я не смог бы сказать того, что говоришь ты. Но когда ты что-либо говоришь, я вижу это и соглашаюсь с твоими мыслями, и они делаются моими, и я становлюсь умным твоим умом. Мне совершенно ясно, что нужно умеючи выбирать украшения и что не каждое из них подходит каждому. Я вижу, ты хочешь на этом остановиться и оставить меня не более умным, чем я сейчас стал. Но даже если бы ты пошел дальше и пустился перед братом в более подробные объяснения, я бы постарался поспевать за тобой. Поверь маленькому Вениамину, на него можно положиться.

Иосиф промолчал.

— Я слышал от людей, — продолжал Вениамин, — что мирт — это знак юности и красоты.

Так говорят взрослые, а когда так говорю я, это смешит и тебя, и меня, ведь ни по звучанию, ни по их смыслу такие слова мне не подходят. Юн-то я юн, то есть я мал, о да, меня нельзя назвать юным, я просто карапуз, юн ты, а красив ты так, что весь мир только об этом и говорит. Я же, скорее, забавен, чем красив, — если поглядеть на мои ноги, то они слишком коротки по сравнению со всем остальным, и живот у меня еще вздутый, как у сосунка, и щеки круглые, словно я надул их, не говоря уж о волосах на моей голове, которые похожи на выхухолевую шапку. Так что если мирт подобает юности и красоте и в этом все дело, то, конечно, он подобает тебе, и я совершил бы ошибку, украсившись им. Я прекрасно знаю, что в таких вещах можно ошибиться и причинить себе вред. Видишь, я и сам, без твоих слов, кое-что понимаю, но, конечно, не все, ты уж помоги мне.

— Милый ты мой человечек, — сказал Иосиф и обнял его одной рукой. — Мне очень нравится твоя выхухолевая шапка, да и животик и щечки, по мне, вполне хороши. Ты мой братец правой руки и одной со мной плоти, ибо мы вышли из одной и той же пучины, которую вообще-то называют «Абсу». А для нас имя ее — Мами, прекрасная, за которую служил Иаков. Давай-ка спустимся к камню и отдохнем!

— Давай, — отвечал Вениамин. — Мы поглядим на садики женщин на холстах и в горшках, и ты объяснишь мне насчет погребенья, я люблю это слушать. Разве только потому, что Мами умерла из-за меня, — добавил он, спускаясь, — и половиной своего имени я сынок смерти, разве только поэтому мне тоже были бы к лицу мирты, ибо я слышал, что они украшают и смерть.

— Да, мир скорбит о юности и красоте, — сказал Иосиф, — по той причине, что Ашера заставляет плакать своих избранников и губит тех, кого она любит. Наверно, поэтому мирт и слывет кустарником смерти. Понюхай, однако, эти ветки, — слышишь, какой острый запах? Горек и терпок миртовый убор, ибо это убор полной жертвы, он сбережен для сбереженных и назначен назначенным. Посвященная юность — вот имя полной жертвы. Но мирт в волосах — это растение не-тронь-меня.

— Теперь ты уже не обнимаешь меня, — заметил Вениамин. — Ты отнял свою руку, и малыш идет отдельно от тебя.

— Изволь, вот моя рука! — воскликнул Иосиф. — Ты мой праведный братец, и дома я совью тебе венок из самых разных полевых цветов, такой венок, что кто ни увидит тебя, засмеется от радости, — хочешь, сразу на том и порешим?

— Это очень мило с твоей стороны, — сказал Вениамин. — Дай-ка твой кафтан, чтобы я прикоснулся губами к его краю!

Он подумал: «По-видимому, он имеет в виду избранье наследника и первородство. Но это уже что-то новое и странное — насчет полной жертвы и растение не-тронь-меня. Возможно, что он думает об Исааке, когда говорит о полной жертве и о посвященной юности. Во всяком случае, он дает мне понять, что мирт — это украшение жертвы; это меня немало пугает».

Вслух он сказал:

— Ты еще красивее, когда говоришь так, как сейчас, и мне, по глупости моей, невдомек, откуда исходит этот запах мирта, который я слышу, — от деревьев или от твоих слов. Вот мы и пришли. Гляди, с прошлого раза даров прибавилось. Появилось два божка на холстах и два сосуда с ростками. Женщины здесь побывали. Перед гротом они тоже поставили садики, надо будет их осмотреть. А камень остался нетронутым, его не сдвигали с могилы. Там ли владыка, прекрасный образ, или он в другом месте?

Чуть поодаль, в склоне оврага, была скалистая, заросшая кустами пещера; невысокая, но длинной с человеческий рост, неплотно затворенная камнем, она служила женщинам из Хеврона для праздничных обрядов.

— Нет, — отвечал Иосиф на вопрос брата, — образ не здесь, и целый год его вообще никто не видит. Он хранится в храме Кириаф-Арбы, и только в праздник, в день солнцеворота, когда солнце начинает убывать и свет покоряется преисподней, его выносят, и женщины правят над ним обряд.

— Они хоронят его в пещере? — допытывался Вениамин.

Однажды он спросил это впервые, и тогда Иосиф объяснил ему все. Позднее малыш делал вид, будто забыл объяснения брата, — чтобы получить их снова и послушать рассказы Иосифа об Адонаи, убитом овчаре и владыке, которого оплакивал мир. Ибо при этом Вениамин вслушивался не столько в слова брата, сколько в самый тон и ход его речи, и у него возникало смутное ощущение, что он улавливает тайные мысли Иосифа, которые — так казалось — были растворены в его речи, как соль в море.

— Нет, хоронят его позже, — ответил Иосиф. — Сначала они ищут его.

Он сидел у подножья камня Астарот, черноватой, шершавой, словно бы в волдырях, пирамиды, и его руки, на тыльной стороне которых, двигаясь, проступали тонкие пясти, начали вить венок из собранных веток.

Вениамин разглядывал его сбоку. Тусклый блеск у него под виском и на подбородке показывал, что Иосиф уже брил бороду; он делал это с помощью смеси масла и щелока и каменного ножа. Ну, а если бы он отпускал бороду, что тогда? Можно было представить себе, что это очень бы его изменило. Длинную бороду он, пожалуй, не успел бы еще отрастить — но все-таки что стало бы тогда с его красотой, особенно красотой его семнадцати лет? Да носи он на шее собачью голову, это преобразило бы его, по сути, не больше! Хрупкая вещь красота, надо признать.

— Они ищут его, — сказал Иосиф, — ибо он их величественная пропажа. Даже те женщины, что спрятали образ в кустах, ищут вместе со всеми, они и знают, и не знают, где он, они нарочно сбиваются с пути. Они блуждают, ищут и плачут, плачут все вместе и в то же время каждая в одиночку: «Где ты, прекрасный мой бог, мой супруг, мой сын, мой пестрый овчар? Я тоскую о тебе! Что стряслось с тобой в роще, в мире, среди зеленых деревьев?»

— Но ведь они же знают, — вставил Вениамин, — что владыка растерзан и мертв?

— Нет еще, — возразил Иосиф. — На то и праздник. Они знают это, потому что это однажды было открыто, и еще не знают этого, потому что еще не настал час открыть это снова. У каждого часа праздника свое знание, и каждая женщина — ищущая богиня, куда она нешла.

— Но потом они находят владыку?

— Ты это говоришь. Он лежит в кустах, и один бок у него растерзан. Столпившись вокруг него, они все воздевают руки и пронзительно кричат.

— Ты слышал и видел это?

— Ты знаешь, что я уже дважды слышал это и видел, но я взял с тебя слово, что ты ничего не расскажешь отцу. Ты не проговорился?

— Ни единым словом! — заверил его Бенони. — Зачем мне огорчать отца? Я достаточно огорчил его своей жизнью.

— Я опять схожу, когда подойдет время, — сказал Иосиф. — Сейчас мы находимся на одинаковом расстоянии от прошлого раза и от следующего. Когда давят маслины, остается как раз половина круговорота. Это чудесный праздник. Владыка лежит в кустах, вытянувшись, со смертельной, зияющей раной.

— Каков же он на вид?

— Я тебе описывал его. Он хорош собой и сделан из масличного дерева, воска и стекла, ибо зрачки его сделаны из стекла, и у него есть ресницы.

— Он юн?

— Я же говорил тебе, что он юн и прекрасен. Прожилки желтого дерева похожи на тонкие сплетения жил его тела, кудри у него черные, на нем пестротканая набедренная повязка, украшенная финифтью и жемчугами, с червленой бахромой по краю.

— А что у него в волосах?

— Ничего, — коротко ответил Иосиф. — Его губы, ногти и родимые пятна сделаны из воска, и страшная рана от клыка Ниниба тоже выложена красным воском. Она кровоточит.

— Ты сказал, что женщины очень убиваются, когда его находят?

— Очень. До сих пор был только плач о пропаже, а теперь начинается великий плач о находке, куда более пронзительный. Владыку Таммуза оплакивают флейты, ибо здесь же сидят дудочки и что есть силы дуют в короткие флейты, рыданье которых пробирает тебя насквозь. Женщины распускают волосы и делают нескромные телодвиженья, причитая над мертвецом: «О супруг мой, дитя мое!» Ибо каждая из них подобна богине, и каждая плачет: «Никто не любил тебя больше, чем я!»

— Я не могу удержаться от слез, Иосиф. Для такого маленького, как я, смерть владыки — слишком уж страшное горе, и слезы так и подступают у меня к горлу. Зачем же понадобилось, чтобы этот юный красавец был растерзан в роще, в мире, среди зеленых деревьев, если теперь о нем так скорбят?

— Ты этого не понимаешь, — отвечал Иосиф. — Он страдалец и жертва. Он спускается в пропасть, чтобы выйти из нее и прославиться. Аврам знал это, когда заносил нож над истинным сыном. Но когда он нанес удар, на месте сына оказался овен. Поэтому, принося в полную жертву овна или агнца, мы вешаем на него ярлык с изображением человека — в знак замены. Но тайна замены глубже, она заключена в звездном соотношении человека, бога и животного и есть тайна взаимозаменяемости. Как человек приносит в жертву сына в животном, так сын приносит себя в жертву через посредство животного. Ниниб не проклят, ибо сказано: нужно заколоть бога, и намеренье животного есть намеренье сына, который, как на празднике, знает свой час, и знает тот час, когда он разрушит жилище смерти и выйдет из пещеры.

— Скорее бы дело дошло до этого, — сказал малыш, — и начался праздник радости! И что

же, они кладут владыку вон в ту могилу и в ту пещеру?

Продолжая вить венки, Иосиф слегка раскачивал туловище и напевал в нос:

Во дни Таммуза играйте на цевнице яшмовой,
Бренчите на сердоликовых кольцах!..

— Они с плачем несут его к этому камню, — сказал он потом, — и дудочки играют все громче и громче, так что звуки их флейт надрыдают сердце. Я видел, как женщины хлопотали над образом, лежавшим у них на коленях. Они омыли его водой и умастили нардовым маслом, отчего лицо владыки и его испещренное жилками тело сильно лоснились. Затем они обмотали его полотняными и шерстяными повязками, закутали в червленые ткани и положили на носилки у этого камня, не переставая плакать и причитать в лад дудочникам:

Скорблю о Таммузе!

Скорблю о тебе, возлюбленный сын мой, весна моя, свет мой!

Адон! Адонаи!

Мы садимся на землю в слезах,

Ибо ты мертв, о мой бог, супруг мой, мой сын!

Ты — тамариск, которого не вспоила на грядке вода,

Который не поднял своей вершины над полем,

Росток, которого не посадили в водоотводе,

Побег, которого корень вырван,

Трава, которой не вспоила вода в саду!

Скорблю о тебе, мой Даму, дитя мое, свет мой!

Никто не любил тебя больше, чем я!

— Ты, видно, знаешь весь плач дословно?

— Знаю, — сказал Иосиф.

— И тебя тоже он очень трогает, как мне кажется, — прибавил Вениамин. — Когда ты пел, у тебя один или два раза был такой вид, словно и ты вот-вот зарыдаешь, хотя женщины города справляют праздник по-своему, и сын — вовсе не Адонаи, бог Иакова и Авраама.

— Он сын и возлюбленный, — сказал Иосиф, — и он — жертва. Что за вздор, я вовсе не думал рыдать. Ведь я же не маленький и не такой плаксивый, как ты.

— О нет, ты юн и прекрасен, — покорно сказал Вениамин. — Сейчас будет готов венок, который ты плетешь для себя. Я вижу, ты сделал его спереди выше и шире, чем сзади, наподобие диадемы, — чтобы доказать свою ловкость. Я рад тому, что ты наденешь его, больше, чем рябиновому венку, который ты собираешься мне сплести. И стало быть, этот прекрасный бог лежит на носилках четыре дня?

— Ты это говоришь, и ты не забыл этого, — отвечал Иосиф. — Твой разум растет, и скоро он станет круглым и полным, так что с тобой можно будет говорить решительно обо всем. Да, он лежит там вплоть до четвертого дня, и каждый день в рощу приходят горожане с дудочниками, бьют себя в грудь при виде его и плачут:

О Дузи, властелин мой, как долго ты здесь лежишь!

О бездыханный владыка овчарни, как долго ты здесь лежишь!

Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду,

Ибо юность погибла, погиб Таммуз!

Так они плачут и в храме и в домах, но на четвертый день они приходят и кладут его в ковчег.

— В ящик?

— Нужно говорить «ковчег». Вообще-то «ящик» тоже достаточно точное слово, но в этом случае оно неуместно. Искони говорят «ковчег». Владыке он приходится как раз впору, его делают по мерке из свилеватого, красно-черного дерева, и он пригнан к образу как нельзя лучше. Положив Его в ковчег, они приколачивают крышку, просмаливают доски и со слезами хоронят владыку вон в той пещере, затем заваливают вход в нее камнем и возвращаются домой.

— И больше уже не плачут?

— Это ты плохо запомнил. Плач продолжается в храме и в домах еще два дня с половиной. А на третий день, когда стемнеет, начинается праздник горящих светильников.

— Этому я заранее радовался. Они зажигают несколько плашек?

— Бесчисленное множество плашек и повсюду, — сказал Иосиф, — все, сколько у них есть. Вокруг домов, под открытым небом, и на дороге, ведущей сюда, и здесь, и в этих кустах — везде горят плашки. Люди приходят к могиле и плачут снова, и это даже самый горький плач, до сих пор флейты ни разу так душераздирающе не вторили причитанью: «О Дузи, как долго ты здесь лежишь!» — и долго еще после этого плача у женщин не заживают царапины на груди. Но в полночь все стихает.

Вениамин схватил руку брата.

— Все стихает внезапно? — спросил он. — И все молчит?

— Они стоят, не шевелясь, и безмолвствуют. Стоит тишина. Но вот издали доносится голос, одинокий, звонкий и радостный голос: «Таммуз жив! Владыка воскрес! Он разрушил жилище смерти и тени! Слава владыке!»

— О, какая весть, Иосиф! Я знал, что они дождутся своего торжества, и все-таки я дрожу от волнения, как будто я услышал об этом впервые. А кто же кричит?

— Девочка с тонкими чертами лица, особо избираемая каждый год заново. Ее родители очень гордятся этим и пользуются большим почетом. Вестница приходит с лютней в руке, она играет и поет:

Таммуз жив, Адон воскрес!
Слава Ему, слава, слава владыке!
Вежды свои, что смерть сомкнула. Он их отверз,
Уста свои, что смерть сомкнула. Он их отверз,
Ноги Его, что скованы были, ходят опять,
Цветы и травы повсюду, куда Он ни ступит, растут.
Слава владыке, слава Адонаи!

И куда девочка идет и поет, они все бросаются к могиле. Они отваливают камень, и ковчег оказывается пуст.

— Где же Растерзанный?

— Его уже нет. Могила не удержала его, он пробыл в ней только три дня. Он воскрес.

— О!.. Но, Иосиф, как же... Прости меня, пухлощекого карапуза, но что ты говоришь? Прошу тебя, не обманывай сына своей матери! Ведь ты же сам не раз говорил мне, что прекрасный образ хранится в храме от года до года. Как же понимать слово «воскрес»?

— Дурачок, — отвечал Иосиф, — нескоро еще твой разум станет круглым и полным. Хоть он и растет, он похож на челнок, который качают и носят волны небесного моря. Разве я говорю тебе не о празднике, у которого есть определенные часы? И люди, что справляют его час за часом, зная следующий час, но освящая текущий, тоже, по-твоему, себя обманывают? Ведь все они знают, что образ хранится в храме, и все-таки Таммуз воскресает. Ты, пожалуй, думаешь, что поскольку образ не бог, то и бог не образ. Будь осторожнее, ты ошибаешься! Ибо образ — это орудие настоящего времени и праздника. А Таммуз, владыка, — это владыка праздника.

С этими словами он надел себе на голову венок, потому что закончил его.

Вениамин глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Бог наших отцов, — воскликнул он в восторге, — как идет тебе диадема из миртовых веток, которую ты сделал для себя при мне умелыми своими руками! Только тебе она и к лицу, и я, когда представляю себе ее на моей выхухолевой шапке, понимаю, какая бы это была ошибка, если бы ты не оставил ее для себя. Скажи мне правду, — продолжал он, — и расскажи мне еще: когда люди города находят ковчег и могилу пустыми, они, наверно, задумчиво, тихо и радостно расходятся по домам?

— Тогда-то и начинается ликование, — возразил Иосиф, — это самый разгар веселого праздника. «Пуста, пуста, пуста!» — кричат они наперебой. «Могила пуста, Адон воскрес!» Они целуют девочку и кричат: «Слава владыке!» Затем они целуются друг с другом и кричат: «Славен Таммуз!» А затем, при свете плошек, пляшут и водят хороводы вокруг этого камня Астарот. В ярко освещенном городе тоже царят веселье и радость, люди едят и пьют, и воздух непрестанно оглашается счастливой вестью. И даже на следующий день горожане, встречаясь, дважды целуют друг друга и восклицают: «Воистину воскрес!»

— Да, — сказал Вениамин, — так оно и есть, так ты мне и рассказывал. Только я забыл это и почему-то решил, что они тихо расходятся по домам. Какой чудесный праздник, чудесный в каждый свой час! И значит, на этот год владыке вознесена глава, но он знает час, когда Ниниб снова поразит его среди зеленых деревьев.

— Не «снова», — поправил его Иосиф. — Это всегда один и тот же и первый раз.

— Как ты говоришь, милый брат, так и есть. Я выразился неудачно, это была незрелая речь карапуза. Всегда один и тот же и первый раз, ибо Он владыка праздника. Но если задуматься, то для того, чтобы установился этот праздник, прекрасный Таммуз, наверно, должен был один раз и первый раз умереть — или нет?

— Когда Иштар исчезает с неба и спускается, чтобы разбудить сына, это событие как раз и происходит.

— Ну да, наверху. А как обстоит дело здесь, внизу? Ты называешь событие. А ты назови мне историю.

— Они говорят, что в Гебале, у подножья покрытой снегом горы, — отвечал Иосиф, — жил царь, у которого была миловидная дочь, и Нана, как там зовут Астарот, наслала на него дурость потехи ради, и он, охваченный вожделеньем к родной плоти и крови, познал собственную свою дочь.

С этими словами Иосиф указал назад от себя, на знаки, высеченные в памятнике, у которого они сидели.

— Она забеременела, и когда царь увидел, что он — отец своего же внука, его охватили смятенье, гнев и раскаянье, и он решился убить ее. Но боги, прекрасно зная, что это подстроила Ашрат, превратили беременную в дерево.

— В какое дерево?

— Это было не то дерево, не то куст, — сказал Иосиф недовольно, — не то куст, могучий, как дерево. Я там не был, и поэтому не могу тебе сказать, какой был нос у царя и какие серьги у няньки его дочери. Хочешь слушать — так слушай и не бросай мне незрелых вопросов, как камни в огород!

— Если ты будешь браниться, я заплачу, — жалобно сказал Вениамин, — тогда тебе придется меня утешать. Поэтому лучше не бранись и поверь, что я больше всего хочу слушать!

— Через десять месяцев, — продолжал Иосиф свой рассказ, — дерево вдруг растворилось. Да, после этого срока оно распахнулось, и из него вышел мальчик, Адонаи. Его увидела Ашера, которая все это подстроила, и решила никому его не уступать. Поэтому она спрятала его в Дольнем Царстве у владычицы Эрешкигаль. Но и та не захотела никому его уступать и сказала: «Я никогда не выпущу его отсюда, ибо это — страна, откуда нет возврата».

— Почему нее оба владычицы никому не уступали его?

— Никому и друг другу тоже. Ты можешь обойтись без расспросов. Но если из одного вытекает другое, достаточно сказать первое, а второе уже и так понятно. Адон был сыном миловидной, и Нана была сама причастна к его рождению, а значит, ясно без слов, что он должен был стать предметом зависти. Поэтому, когда владычица вожделенья пришла в Дольнее Царство, чтобы его потребовать, владычица Эрешкигаль донельзя испугалась и сказала привратнику: «Поступи с ней так, как положено по обычаю!», и владычице Аштарти пришлось проследовать через семь ворот, оставляя у каждого в руках привратника какую-либо часть своего наряда — то покрывало, то ожерелье, то кушак или пряжку, а у последних ворот — срамной плат, так что она явилась к владычице Эрешкигаль за Таммузом нагой. Тут обе владычицы согнули пальцы крючками и бросились друг на друга.

— Они царапались ногтями из-за него?

— Да, они трепали друг друга за волосы, намотав их себе на руку, вот до чего довела их зависть. А потом владычица Эрешкигаль заперла владычицу Аштарти в Дольнем Царстве на шестьдесят замков и наслала на нее шестьдесят болезней, и земля напрасно ждала ее возвращения, и все перестало расти и цвести. Ночью нивы становились белыми, поля урождали соль. Не всходили травы, не колосились хлеба. Быки не покрывали больше коров, ослы не склонялись над ослицами, мужчины над женщинами. Материнское чрево не отверзалось. Жизнь, из которой ушло вожделение, застыла в

тоске.

— Ах, Иосифиа, перейди поскорее к другим часам истории, не праздной больше этого ее часа! Я не в силах слышать, что ослы не склонялись над ослицами и что земля покрылась язвами соли. Я заплачу, и тогда у тебя будут хлопоты из-за меня.

— Гонец бога тоже заплакал, когда это увидел, — сказал Иосиф, — и со слезами доложил об этом владыке богов. Тот сказал: «Не годится, чтобы ничего не цвело. Придется вмешаться». И вмешался и, выступив посредником между владычицами Астарот и Эрешкигаль, установил, что одну треть года Адони будет отныне проводить в Дольнем Царстве, одну треть на земле и одну треть там, где ему самому захочется. Так Иштар вывела своего возлюбленного на землю.

— Где же отпрыск дерева проводил третью треть года?

— Это трудно сказать. В разных местах. Он был предметом зависти и происков зависти. Астарот любила его, но многие боги уводили его к себе и не хотели никому уступить.

— Боги мужского пола, сходные со мной? — спросил Вениамин.

— Какого ты пола, — отвечал Иосиф, — это ясно и общепонятно, но с богами и полубогами дело обстоит не так просто. Многие называют Таммуза не владыкой, а владычицей. Они имеют при этом в виду богиню Нану, но в то же время и бога, который с нею находится, или его вместо нее, ибо разве Иштар — женщина? Я видел ее кумир с бородой. Но почему же я не говорю: «его кумир»? Иаков, отец наш, кумиров себе не творит. Не творить кумиров — это, несомненно, самое умное. Но нам приходится говорить, и неловкая однозначность наших слов грешит против правды. Скажи, Иштар — это утренняя звезда?

— Да, и вечерняя.

— Значит, она и то и другое. А на одном камне я прочитал о ней: «Вечером женщина, утром мужчина». Как же тут сотворишь кумир? И какое тут слово употребишь, — «он» или «она», — чтобы не погрешить против правды? Я видел кумир бога воды, которая орошает поля Египта, и одна грудь у него была женская, а другая — мужская. Таммуз, возможно, был девой и стал юношей только в силу своей смерти.

— Разве смерть способна изменить пол?

— Мертвец — бог. Он — Таммуз, пастух, которого здесь зовут Адонисом, а там, внизу — Усири. Там он с бородкой, даже если при жизни и был женщиной.

— Ты говорил, что у Маами были очень нежные щеки и что они благоухали, как лепестки роз, когда ты их целовал. Я не хочу представлять себе ее бородатой! И если ты потребуешь этого от меня, я тебя не послушаюсь.

— Дурачок, я вовсе не требую этого от тебя, — со смехом сказал Иосиф. — Я просто рассказываю тебе о людях, что живут там, внизу, и о том, что они думают о необщепонятном.

— Пухлые мои щеки тоже нежны и мягки, — заметил Вениамин и погладил ладонями свои щеки. — Это потому, что я еще даже не юн, а мал. Ты же — юн. Поэтому ты бреешься и держишь лицо свое в чистоте, покуда не станешь мужчиной.

— Да, я держу себя в чистоте, — ответил Иосиф, — а ты и так чист. У тебя щеки так же

нежны, как у Мами, потому что ты еще подобен ангелу всевышнего, бога, владыки, господ, который обручен с нашим племенем и с которым оно обручено во плоти через завет Авраама. Ибо Он — наш кровный и ревнивый жених, а Израиль — невеста. Но это еще вопрос — невеста Израиль или жених. Это не общепонятно, и кумиром этого нельзя представлять, ибо Израиль — это, во всяком случае, обрезанный, посвященный и назначенный в невесты жених. Представляя себе элохима мысленно, я вижу его похожим на отца, который любит меня больше, чем моих товарищей. Но я знаю, что любит он во мне Мами, потому что я жив, а она мертва, — значит, она живет для него в другом поле. Я и мать — одно целое. Но глядя на меня, Иаков имеет в виду Рахиль, подобно тому как здешние жители имеют в виду Нану, когда называют Таммуза владычицей. — Я тоже, я тоже имею в виду Мами, когда я нежен с тобой, Иосифиа, милый мой Иегосиф! — воскликнул Вениамин, обнимая брата обеими руками. — Понимаешь, это замена и замещение. Ведь прекраснощекой суждено было уйти на запад ради моей жизни, поэтому малыш от рожденья — сирота и преступник. Но ты мне как она, ты ведешь меня за руку в рощу, в мир, под зеленые деревья, ты рассказываешь мне праздник по всем его часам и сплетаешь мне венки, как сплетала бы их она, хотя, само собой разумеется, жалуешь меня не всякими ветками, приберегая иные для себя самого. Ах, если бы с ней не случилась в дороге эта беда и она осталась жива! Ах, если бы она была подобна дереву, которое без труда распахнулось и растворилось и выпустило отпрыска! Какое, ты сказал, это было дерево? Память моя коротка, как мои ножки и пальчики.

— Пойдем, пора! — сказал Иосиф.

Небесный сон

Тогда братья еще не называли его «сновидцем», но вскоре дело дошло до этого. Если они пока называли его только «Утнапиштим» и «Читатель камней», то добродушие этих, бранных по замыслу, кличек объясняется только недостатком у молодых людей изобретательности и воображенья. Они бы с удовольствием дали ему более ехидные прозвища, но им ничего не приходило в голову, и поэтому они обрадовались, когда представился случай прозвать его «сновидцем», что звучало уже все-таки ехиднее. Но этот день еще не настал; болтливое изложение сна о погоде, которым он утешил отца, казалось недостаточно, чтобы обратить их внимание на это его дерзкое свойство, а об остальных снах, давно уже посещавших его, он им покамест еще не говорил. Самых разительных снов он им вообще так и не рассказал, ни им, ни отцу. Те, что он им, на беду свою, рассказал, были еще сравнительно скромными. Зато уж Вениамину все выкладывалось; в часы откровенности тому случалось выслушивать и вовсе нескромные сны, умалчивать о которых вообще-то у Иосифа хватало сдержанности. Нечего и говорить, что малыш, будучи любопытен, выслушивал их с живейшим удовольствием и даже порой выпытывал. Но и без того, уже несколько омраченный смутными тайнами мирта, на него взваленными, он не мог, слушая брата, избавиться от чувства боязливой подавленности, которое приписывал своей незрелости, и поэтому старался преодолеть. Оно имело, однако, слишком объективные основания, и любой, пожалуй, встревожится перед лицом вопиющей нескромности такого сна, как нижеследующий, который Вениамину — и только ему — привелось слушать неоднократно. Но как раз это его особое, ни с кем не разделяемое сообщничество, естественно, очень угнетало малыша, хотя он признавал его необходимость и был им польщен.

Этот сон Иосиф рассказывал чаще всего с закрытыми глазами, тихим, но временами порывисто повышающимся голосом, прижав кулаки к груди и явно волнуясь, хоть и просил Вениамина слушать как можно спокойнее.

— Смотри, не пугайся, не прерывай меня никакими возгласами, не плачь и не смейся, — говорил он брату, — иначе я не стану рассказывать.

— Как можно! — отвечал Вениамин каждый раз. — Я, правда, карапуз, но я не дурак. Я знаю, как мне быть. Покуда я буду спокоен, я постараюсь забыть, что это сон, чтобы как следует позабавиться. Но как только мне станет страшно или не по себе, я вспомню, что это ведь всего-навсего сон. Это сразу меня охладит, и я ничем не помешаю рассказу.

— Мне снилось, — начал Иосиф, — будто я был в поле со стадом, один среди овец, что паслись вокруг холма, на котором я лежал, и по его склонам. А лежал я на животе, с соломинкой во рту, болтая ногами, и мысли мои были так же ленивы, как мое тело. Вдруг на меня и на холм упала тень, как будто солнце закрыла туча, и одновременно воздух наполнился могучим трепетом, и когда я взглянул вверх, оказалось, что надо мною кружит огромный орел, величиной с быка и с бычьими рогами на лбу, — от него-то, оказывается, и падала тень. Меня сразу обдало ветром, ибо орел был уже надо мной, он схватил меня лапами за бедра и, гребя крылами, понес вверх, прочь от земли и от стада отца.

— О чудо! — восклицал Вениамин. — Не подумай, что я боюсь, но неужели ты не закричал: «На помощь, люди!»

— Нет, и по трем причинам, — отвечал Иосиф. — Во-первых, во всем поле не было никого, кто мог бы меня услышать; во-вторых, у меня захватило дух, и поэтому я никак не сумел бы закричать, если бы захотел, а в-третьих, мне вовсе не хотелось кричать. Наоборот, на душе у меня было так радостно, словно я давно этого ждал. Схватив меня сзади за бедра, орел держал меня когтями перед собой так, что его голова была над моей, а мои ноги свисали вниз, овеваемые ветром быстрого взлета. Время от времени он склонял свою голову к моей и глядел на меня своим мощным глазом. Потом он раскрыл свой железный клюв и сказал: «Хорошо ли я держу тебя, мальчик, и не слишком ли крепко сжал я тебя неодолимыми своими когтями? Знай, я за ними слежу, чтобы не причинить вреда твоему телу, ибо горе мне, если я причиню тебе вред!» Я спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Я ангел Амфиил, которому дан этот образ для сегодняшней надобности. Ибо ты, дитя мое, не останешься на земле, ты будешь переселен, так решено». — «Но почему же?» — спросил я. «Молчи, — сказал шумнокрылый орел. — Держи язык за зубами и не задавай вопросов, как никто не задает их на небесах. Такова воля могущественного пристрастия, и тут не помогут никакие мудрствования, слова и расспросы тут бесполезны; лучше не обжигать язык о непостижимость!» После такого предупреждения я замолчал. Но сердце мое было полно ужасающей радости.

— Хорошо, что ты сидишь рядом со мной и что, значит, это был сон, — говорил Вениамин. — Но не было ли тебе немного грустно улетать от земли на орлиных крыльях и не было ли тебе немного жаль покидать всех нас, например, меня, малыша?

— Я вас не покидал, — возражал Иосиф. — Я был отнят от вас и не мог ничего изменить, но мне казалось, что я этого ожидал. К тому же во сне ощущаешь не все, а только что-то одно, и я ощущал ужасающую радость. Она была велика, и великим было то, что происходило со мной, и поэтому то, о чем ты спрашиваешь, могло показаться мне малым.

— Я не сержусь на тебя за это, — говорил Вениамин, — я только удивляюсь тебе.

— Спасибо, маленький Бен! Прими еще во внимание, что от подъема у меня могла отняться память, ибо орел неустанно уносил меня все выше и выше. После двух двойных часов полета он сказал мне: «Погляди вниз, мой друг, на сушу и на море, какими они

стали!» И суша была величиной с гору, а море шириной с реку. Еще через два двойных часа орел опять сказал: «Погляди, мой друг, какими стали суша и море!» И суша стала как сад, а море — как канава садовника. Когда же орел Амфиил показал их мне еще через два двойных часа, то суша, представь себе, была размером с лепешку, а море — с корзину для хлеба. После этого он еще два двойных часа нес меня вверх, а затем сказал: «Погляди вниз, мой друг, суша и море исчезли!» И они действительно исчезли, но мне не было страшно.

Через облачное небо Шеяким поднимался со мною орел, и крылья его насквозь промокли. Но в окутавшей нас серо-белой пелене виднелись золотые проблески, ибо на влажных островах то там, то сям стояли уже в своих золотых доспехах сыны неба и воины рати. Они глядели на нас из-под руки, а звери, лежавшие на подушках, поднимали носы и ловили ими ветер нашего полета.

Когда мы поднимались через звездное небо Ракия, в ушах моих стоял тысячеголосый гул благозвучья, ибо вокруг нас, под чудесную музыку своих чисел, ходили светила и планеты, а меж ними, на огненных подногах, с дощечками в руках, полными чисел, стояли ангелы и, не смея оборачиваться, пальцем указывали путь пролетающим с рокотом звездам. И кричали друг другу: «Хвала величию господина на месте его!» Но когда мы пролетали мимо них, они умолкали и опускали глаза.

Мне было и страшно и радостно, и я спросил орла: «Куда же и на какую еще высоту понесешь ты меня?» Он ответил: «На самую высшую высоту, на самый север вселенной, дитя мое. Ибо мне ведено напрямиком и без проволоочки доставить тебя на последнюю высоту в пределы Аработа, где находятся сокровищницы жизни, мира и благословенья, к верхнему своду, в самую середину Великого Дворца. Это место колесницы и престола величия, который ты будешь отныне каждодневно обслуживать. Ты будешь стоять перед ним и владеть ключами, отпирающими и запирающими покои Аработа, и выполнять все, что тебе повелят еще». Я сказал: «Если я избран и выделен среди смертных, то так и быть. Это для меня не совсем неожиданно».

Тут я увидел страшную, из хрустального льда, крепостную стену, зубцы которой были усыпаны небесными воинами; они до пят прикрывали себя крыльями, и ноги у них были прямые, а ступни, так сказать, округлые, блестящие, как начищенная медь. Два смелого вида воина с гордыми складками между бровями стояли рядом, опираясь руками на изогнутые мечи. Орел сказал: «Это Аза и Азаил, из серафимов». И я услышал, как Аза сказал Азаилу: «За шестьдесят пять тысяч верст почуял я его запах. Скажи мне, однако, чем пахнет рожденный женщиной и в чем достоинство того, кто возник из капли белого семени, если ему дозволено подняться на Высшее Небо и нести службу среди нас?» Азаил испуганно приложил палец к губам. А Аза сказал: «Нет, я полечу с ними и, представ перед Единственным Лицом, отважусь сказать свое слово, ибо я ангел молний, и мне не заказано говорить». И оба полетели за нами следом.

И через какие небеса, через какие сферы, полные восхвалявших господина сонмов огненных слуг ни мчал меня вцепившийся в мои бедра орел, везде, когда мы приближались, хвалебная песнь на миг умолкала, и каждый раз к нам присоединялось по несколько детей высоты, так что вскоре, спереди и сзади, нас сопровождали уже целые стаи крылатых существ, и крылья их шумели, как шумит полноводный поток.

О Вениамин, верь мне! Я видел семь огнезданных покоев Севула, и было в них семь ратей ангелов и семь огненных алтарей. Там главенствовал Верховный Князь по имени «Кто как бог?», облаченный в роскошные священнические одежды. Он приносил жертвы, и столбы дыма вздымались над алтарем всеожжения.

Не знаю, сколько прошло двойных часов и сколько мы пролетели верст, когда мы достигли высот Аработа и Седьмого Неба и ступили на его почву. Светлая и мягкая, она была так приятна моим подошвам, что подымавшаяся во мне волна восторга докатилась до самых глаз, и я заплакал. Перед нами и позади нас, ведя нас, стало быть, за собой и следуя за нами, двигались дети света. Меня взял и повел за руку некто сильный, голый до пояса, в золотой, по щиколотки, юбке, украшенный запястьями и бусами, в круглом шлеме на волосах, и кончики крыльев касались его пяток. У него были тяжелые веки и мясистый нос, и когда я глядел на него, красный его рот улыбался, но он не поворачивал ко мне головы.

И, подняв во сне глаза, я увидел, что повсюду сверкают доспехи и крылья и бесконечные полчища ангелов, сгрудившись вокруг своих хоругвей, в полный голос поют хвалебную и военную песнь, и все плыло передо мной золотом, молоком и розами. И я увидел вращающиеся колеса, ужасной высоты и с ужасными, горевшими, как яхонты, ободьями, и одно колесо вращалось в другом, а было их четыре, и они не смели поворачиваться. И ободья всех четырех колес были сплошь усеяны глазами.

А посредине искрилась огненными камнями гора, на которой стоял дворец, выстроенный из света сапфира, и туда-то мы и направились с сопровождавшими нас сзади и спереди толпами. Залы дворца кишели гонцами, стражами и распорядителями. Мы вошли в срединный колонный зал, которому не было видно конца: меня вели вдоль него, а по обе стороны колонн и между ними стояли херувимы, и у каждого было по шести крыл, и все они были сплошь покрыты глазами. Не знаю, как долго следовали мы между ними к престолу величия. И воздух был переполнен кликами тех, что стояли под колоннами, и тех, что стаями обступили престол: «Свят, свят, свят господь Саваоф, — кричали они, — мир исполнен славой его!» А толпились вокруг престола серафимы, которые, закрыв себе двумя крыльями ноги и двумя — лицо, все-таки нет-нет да поглядывали сквозь перья. И тот, что вел меня, сказал мне: «Спрячь и ты лицо свое, так полагается!» Я закрыл руками лицо, но тоже нет-нет да поглядывал сквозь пальцы.

— Иосиф, — восклицал Вениамин, — скажи ради бога: ты видел Единственное Лицо?

— Я видел, как оно сидело на престоле в сапфировом свете, — говорил Иосиф, — похожее на человека мужского пола, и была в нем доверительная величественность. Ибо борода и волосы на висках у него светились, и все оно было в добрых и глубоких морщинах. Подглазья у него были нежные и усталые, а глаза не очень большие, но карие и блестящие, они озабоченно вглядывались в меня, когда я приблизился.

— Мне кажется, — говорил Вениамин, — будто я вижу, как на тебя глядит Иаков, отец наш.

— То был отец вселенной, — отвечал Иосиф, — и я пал на лицо свое. Тогда я услышал голос, который сказал мне: «Встань на ноги, дитя человеческое! Ибо отныне ты будешь стоять у моего престола метатроном и отроком бога и ходить в ключах — отпирая и запирая мой Аработ. И под началом твоим будет все воинство, ибо господь благосклонен к тебе». И по толпе ангелов прошел рокот, словно зашевелилась несметная рать.

Но вот выступили вперед Аза и Азаил, разговор которых я уже слышал, и Аза, сараф, сказал: «Владыка миров, кто таков этот, чтобы явиться в высшие сферы и нести службу среди нас?» А Азаил, прикрыв глаза двумя крыльями, чтобы смягчить свои слова, — прибавил: «Разве он возник не из капли белого семени, и разве он не из племени тех, что пьют нечестье, как воду?» И я увидел, как омрачилось гневом лицо господя, и слова его прозвучали очень надменно, когда он в ответ сказал: «Кто вы такие, чтобы мне перечить? Кому хочу — потакаю и кого хочу — милую! И право, скорее, чем любого из вас, я назначу его князем и повелителем небесных высот!»

Тут по воинству снова прошел рокот, но это было похоже на поклон и на отступление. Херувимы ударили крыльями, и вся небесная рать громогласно воскликнула: «Хвала величию господа на месте его!»

А царь, не признавая никакой меры, добавил: «На него я кладу длань свою и благословляю его тремястами шестьдесятью пятью тысячами благословений и дарую ему могущество и величие. Я воздвигну ему престол, подобный моему собственному, и покрою этот престол ковром, сотканным сплошь из блеска, света, красоты и величия. А посажу я его на этот престол у входа на Седьмую Высоту, ибо не знаю и не желаю знать меры. Пусть перед ним, от неба к небу, прогремит клич: „Внемлите и трепещите! Еноха, раба своего, я назначил владыкой и князем надо всеми князьями моего царства и надо всеми детьми неба, кроме разве что тех восьми могущественных и ужасных царей, к царскому имени которых прибавляется имя „бог“. И с любым делом, требующим моего решения, любой ангел должен прежде всего явиться к нему и переговорить об этом деле с ним. Всякому же слову, которое он вам скажет от моего имени, вы обязаны внимать и повиноваться, ибо ему помогают князья мудрости и ума!“ Вот какой клич пусть прогремит перед ним. Дайте мне одеяние и венец!»

И господь накинул на меня великолепное платье, сотканное из света разных цветов, и одел меня. И взял тяжелый обруч с сорока девятью камнями несказанного блеска. Перед лицом всего небесного воинства он собственноручно надел его мне на голову, вдобавок к платью, и назвал меня полным моим званием; Иагу-маленький, Внутренний князь. Ибо он не знал меры.

Тут снова отпрянули, содрогнулись и склонили головы все сыны неба, а также князья ангелов, могущественные, многосильные, и львы бога, которые выше, чем вся небесная рать, и те, что несут службу перед престолом величия, и еще ангелы огня, града, молнии, ветра, гнева и ярости, бури, снега и дождя, дня, ночи, луны и планет, держащие в своих руках судьбы мира, — и они тоже задрожали и ослепленно закрыли лицо.

А господь поднялся с престола и, не признавая совсем уже никакой меры, изрек: «Пробился однажды в долине нежный росток кедра, и я пересадил его на высокую, величественную гору и превратил в дерево, под которым живут птицы. И этого мальчика, что моложе всей рати годами, месяцами и днями, я, в непостижимости своей, возвеличил надо всеми из благоволенья к нему и пристрастья! Я вверил его надзору все драгоценности покоев Аработа и все сокровища жизни, хранящиеся в высотах неба. Кроме того, его обязанностью стало надевать венцы на голову священным животным, украшать силой многопышные колеса, облекать великолепием херувимов, сообщать блеск и яркость огненным столпам и окутывать гордостью серафимов. Каждое утро, когда я собирался взойти на престол моего величия, дабы обозреть все высоты могущества моего, он надлежащим образом убирал мое место. Я закутал его в прекрасный наряд и надел на него плащ славы и гордости. Тяжелым обручем увенчал я его голову и уделил ему от величия, великолепия и блеска моего престола. Жаль только, что я не смог сделать его престол больше, чем мой собственный, и его величие еще больше, чем мое собственное, ибо оно бесконечно! Имя же ему было Маленький Бог!»

После этой речи загрохотал гром, и все ангелы пали на лицо свое. Но так как господь удостоил меня столь радостного избранья, плоть моя превратилась в пламя, жилы мои запылали, кости загорелись, как можжевельник, ресницы засверкали молниями, глазные яблоки уподобились метеорам, волосы на моей голове — языкам пламени, члены мои — огненным крыльям, и я проснулся.

— Я весь дрожал, — говорил Вениамин, — слушая твой сон, Иосиф, ибо он превосходит все

меры. Да и сам ты, кажется, тоже слегка дрожишь и немного побледнел, я сужу об этом по тому, как усилился тусклый блеск в тех местах, где ты скоблишь лицо бритвой.

— Смешно, — отвечал Иосиф. — Чтобы я дрожал от собственного своего сна?

— И что же, ты был вознесен на небо навсегда, безвозвратно, и больше вообще не вспоминал своих близких, например, меня, малыша? — спрашивал Вениамин.

— При всей своей простоте, — отвечал Иосиф, — ты можешь представить себе, что я был немного смущен этим произволом и благоволением и что мне некогда было предаваться воспоминаньям. Но еще немного — в этом я уверен, — и я вспомнил бы о вас и послал бы за вами, чтобы и вас возвысили вместе со мной — отца, женщин, братьев и тебя. При моей власти мне, конечно, это ничего не стоило бы. Послушай, однако, что я тебе скажу, Вениамин, которому я, ввиду твоей зрелости и твоего разума, все доверяю! Не вздумай болтать отцу или, того хуже, братьям о сне, который я тебе рассказал, ибо они могут его превратно истолковать!

— Ни в коем случае! — отвечал на это Вениамин. — Накажи меня дракон! Ты слишком легко забываешь разницу между карапузом и дураком, а она очень существенна. Я даже во сне не вздумаю проболтаться о том, что тебе вздумалось увидеть во сне. Но ты сам, Иосиф, прошу тебя, будь еще осторожнее, сделай мне, дорогой мой, такую милость! Ведь мне легче молчать, мне мешает проговориться благодарностью за твое доверие. А тебе она не мешает, потому что ты сам видел этот сон и полон им больше, чем я, которому ты лишь уделил от его великолепия и блеска. Поэтому думай о малыше, когда тебе очень захочется рассказать о том, какого радостного избрания тебя сподобил господь! Что касается меня, то я нахожу это избрание вполне заслуженным и злуюсь на Азу и Азаила за то, что они говорили господу под руку. Но отец, по своему обыкновению, наверно, встревожился бы, а братья стали бы отплеываться и наказали бы тебя от зависти. Ведь они же грубияны пред господом, как нам обоим известно.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

«СНОВИДЕЦ»

Разноцветная одежда

Не к уборке урожая, как предполагалось, а уже к ночи весеннего полнолуния, второпях, вернулись сыновья Лии с пастбищ Шекема в Хеврон. Они явились якобы для того, чтобы поесть с отцом мяса пасхальной овцы и вместе с ним наблюдать луну, а на самом деле потому, что получили волнующее, касавшееся всех братьев известие, в правдивости которого должны были тотчас же и воочию убедиться, чтобы определить на месте, можно ли тут что-либо изменить или нет. Дело было настолько важное и пугающее, что сыновья служанок поспешили отрядить одного из своей среды в четырехдневную поездку из Хеврона в Шекем только для того, чтобы оповестить остальных братьев. Само собой разумеется, что гонцом назначили быстроногого Неффалима. Вообще-то, с точки зрения скорости, было совершенно безразлично, кто отправится в путь. Неффалим тоже ехал верхом на осле, и какие ноги будут свисать с боков осла — короткие или длинные, это, строго говоря, ни малейшего значения не имело: на дорогу требовалось так или иначе около четырех дней. Но так уже повелось, что понятие быстрого передвижения связывалось с Неффалимом, сыном Валлы; должность гонца, по общему твердому

мнению, принадлежала ему; а так как он был скор и в речах, то действительно получалось, что, по крайней мере, в последний миг братья узнали бы о положении дел от него немного быстрее, чем от любого другого.

Что же случилось? А то, что Иаков сделал подарок Иосифу. Ничего нового в этом не было. «Агнцу», «ростку», «небесному отроку», «сыну девы», или как там еще звучали все эти полные своенравного чувства прозвища, какими отец наделял читателя камней, издавна доставались при случае особые дары и всякие знаки нежного вниманья: то какие-нибудь лакомства, то красивые гончарные изделия, то приворотные камни, то червленые перевязки, то скарабеи, которыми он потом небрежно владел на глазах у хмурившихся, считавших себя обделенными братьев; к несправедливости, возведенной в правило, к чуть ли не назидательно подчеркиваемой несправедливости у них было уже время привыкнуть. Но этот подарок был необычного, тревожного свойства и имел, как приходилось опасаться, решающий смысл; он означал для всех для них оскорбленье.

Дело было так Стояла пора поздних дождей, когда люди обычно отсиживались в шатрах. После полудня Иаков удалился в свой «волосяной дом», черный, из козьей шерсти, войлок которого, растянутый на девяти крепких шестах и привязанный прочными бечевками к вколотенным в землю колышкам, вполне и надежно защищал от благодатной влаги. Это был самый большой шатер довольно широко раскинувшегося поселка, и как человек богатый, считавший нужным предоставить женщинам отдельный кров, глава семьи жил в нем один, хотя занавеска, протянутая от входа до задней стенки и укрепленная на средних шестах, делила его на два помещения. Одно из них служило личным складом и кладовой: здесь лежали верблюжьи седла и вьюки, неиспользуемые, скатанные и сложенные ковры, ручные мельницы и другая утварь, висели бурдюки с зерном, маслом, питьевой водой и пальмовым, выжатым из моченых фиников вином.

Другое отделение шатра было жильем благословенного и казалось, если принять во внимание его полукочевой образ жизни, весьма уютным. Уют нужен был Иакову. При всем своем нежелании связать и изнежить себя городским бытом, он нуждался в некоторых удобствах, когда отрешенно предавался своим раздумьям, мыслям о боге. Открытое спереди на высоту человеческого роста, это помещение было для тепла устлано войлоком, а поверх войлока еще и пестроткаными коврами, и такими же коврами были облицованы даже стенки. В глубине шатра стояла кедрового дерева кровать на железных ножках, покрытая подушками и одеялами. Здесь всегда и во множестве горели глиняные, на затейливых подставках светильники, плошки с короткими рыльцами для фитиля, ибо зазорным для благословенного убожеством было бы спать в темноте, и даже днем слуги подливали в них масла, чтобы даже и в прямом значении нельзя было употребить имевшую недобрый смысл поговорку и сказать, что светильник Иакова погас. Расписные известчатые кувшины с ручками стояли на плоской крышке смокового ларя, украшенного по стенкам синими, муравлеными накладками из глины. Крышка другого, резного и разрисованного ларя на высоких ножках была, в отличие от той, выпуклая. В углу стояла раскаленная жаровня, ибо Иаков отличался зябкостью. Не было недостатка и в табуретцах, которые, однако, редко служили для сиденья, а больше употреблялись как подставки для всяких предметов обихода; на одном из них стояла маленькая курильница, из окошкообразных отверстий которой клубился тонкий, пахнувший корицей, стираксой и камедью дымок; на другом покоился предмет, свидетельствовавший о достатке владельца, — дорогое, финикийского происхождения, изделие, неглубокая золотая чаша на изящной подставке, изображавшей в рукояточной своей части женщину-музыкантшу.

Сам Иаков сидел на подушках с Иосифом вблизи входа за низким табуретом, на бронзовой резной плите которого были разложены шашки. Для этого времяпрепровождения — прежде его партнером в подобных случаях бывала Рахиль — он

и позвал сына к себе. На дворе шумел дождь, поливая маслины, кусты и камни и милостью божьей неся злакам долины влагу, необходимую им для того, чтобы продержаться до жатвы под солнцем раннего лета. Ветер побрякивал деревянными кольцами на крыше шатра, через которые продевались растяжные веревки.

Иосиф дал отцу выиграть. Он нарочно угодил на поле «Злой взгляд», чем поставил себя в такое затруднительное и невыгодное положение, что Иаков, к приятному своему удивлению, — ибо он играл очень невнимательно, — в конце концов одержал победу. Он признал, что играл рассеяннo и что своим выигрышем обязан больше везенью, чем своей сообразительности.

— Если бы ты, дитя мое, так вовремя не оплошал, — сказал он, — я бы непременно проиграл, ибо мысли мои все время разбегались, и я допустил, несомненно, много грубых ошибок, а ты ходил умно и не упускал случая вознаградить себя за каждую неудачу. Твоя игра очень напоминает игру Маами, которая часто ставила меня в тупик. Я с умилением узнаю в тебе и ее привычку покусывать, размышляя, мизинец, и ее пристрастие к некоторым уловкам и хитростям.

— Что из того? — ответил Иосиф и выпрямился, откинув голову, отведя одну руку в сторону и прижав другую к плечу. — Исход игры говорит не в мою пользу. Если папочка одержал верх, играя рассеяннo, то чего могло ждать дитя, напряги он вниманье? Игра быстро закончилась бы.

Иаков усмехнулся.

— Мой опыт, — сказал он, — старше, да и выучка у меня лучше, ибо еще мальчиком игрывал я с Ицхаком, дедом твоим с моей стороны, а позднее довольно часто с Лаваном, дедом твоим со стороны миловидной, в стране Нахараим, по ту сторону вод, который тоже был цепок и осторожен в игре.

Он тоже не раз нарочно проигрывал Ицхаку и Лавану, когда хотел привести их в хорошее настроение, но не догадался, что Иосиф поступил сейчас так же.

— Я в самом деле, — продолжал он, — играл сегодня не лучшим образом. Меня то и дело отвлекали от доски мои мысли, а мысли мои были о наступающем празднике, о близкой уже ночи жертвоприношенья, когда мы после захода солнца закалываем овцу, окунаем в кровь пучок синего зверобоя и мажем ею притолоку, чтобы губитель прошел мимо нас. Ибо в эту ночь он проходит мимо нас и щадит нас ради нашей жертвы, и кровь на притолоках умиротворяет его и служит знаком, что первенец принесен в жертву взамен человека и скотины, которых ему хотелось убить. Об этом-то я и задумывался многократно, ибо многое человек творит, сам не понимая, что он творит. А пойми он это, у него, может быть, перевернулись бы внутренности, и то, что внизу, тошнотворно бы поднялось наверх, как это со мной случалось много раз в жизни, а впервые случилось в Синеаре за Пратом, когда я узнал, что Лаван заколол над жертвенником своего первенца и похоронил его в кувшине в подстенье для защиты дома. И думаешь, это принесло ему благополучие? Нет, только злополучие, проклятие и застой, и если бы я не пришел и не оживил его хозяйства и дома, то все бы так и погрязло в запустении, и он никогда не стал бы вновь плодovit в своей жене Адине. Но Лаван не заложил бы камнем сыночка, если бы в другие времена это не приносило удачи его предкам.

— Ты это говоришь, — отвечал Иосиф, который успел скрестить на затылке пальцы, — и объясняешь мне, как это произошло. Лаван действовал по отжившему обычаю и совершил тем самым большую ошибку. Ведь господу отвратительны пережитки, от которых он хочет избавиться или уже избавил нас, и он клеймит их презрением и

проклятьем. Поэтому, если бы Лаван умел жить в ладу с господом и со временем, он вместо мальчика заколол бы козленка и помазал его кровью порог и притолоку. Тогда он был бы угоден богу, а дым его жертвы вознесся бы прямо к небу.

— Ты говоришь это снова, — отвечал Иаков, — и опережаешь мою мысль и мои слова. Губитель зарится не только на скот, но и на человеческую кровь, и не только ради стада унимаем мы его алчность кровью животного на притолоках и жертвенным пиршеством, которое мы истово и поспешно творим ночью, чтобы к утру от жаркого ничего не осталось. Что это за жаркое, если призадуматься, и только ли за стадо расплачивается ягненок, когда мы его закалываем? Кого бы мы закалывали и съедали, будь мы так же невежественны, как Лаван, и кого закалывали и съедали в дикарские времена? Мы знаем, стало быть, какой обряд правим, когда пируем, так не должно ли то, что внизу, подняться наверх, не должно ли нас вырвать?

— Мы можем спокойно пировать, — сказал Иосиф легкомысленно высоким голосом и покачиваясь с запрокинутыми руками. — Обряд и жаркое превосходны, и если они сулят избавление, то с их помощью мы весело избавляемся и от дикарства, живя в ладу с господом и со временем! Вот перед тобой дерево, — воскликнул он, указывая вытянутой рукой в глубину шатра, как будто там можно было увидеть то, о чем он говорил, — у него прекрасный ствол и прекрасная вершина, оно посажено отцами на радость потомкам. Его вершина, сверкая, колышется на ветру, потому что его корни глубоко застряли во мраке земном, в камнях и в пыли. Много ли знает веселая вершина о грязных корнях? Нет, благодаря господу, она поднялась над ними и качается себе, о них не задумываясь. Так же, по-моему, обстоит дело с обрядом и дикарством, и поэтому мы можем спокойно наслаждаться благочестивым своим обычаем, а то, что внизу, пускай и остается внизу.

— Красивое, красивое сравнение, — отвечал Иаков, кивая головой, и погладил себе бороду, собрав ее в ладонь, — меткое и удачное! Но это не значит, что не нужно раздумий, что напрасны заботы и беспокойство, которые были суждены Авраму и навеки суждены нам, чтобы мы освободились от того, от чего нас хочет избавить и, быть может, уже избавил господь, — вот в чем забота. Вот скажи, кто таков губитель и как понимать то, что он проходит мимо? Не проплывает ли прекрасная и полная луна в ночь праздника через самую северную, самую высшую точку своего пути, где и совершает, во всей своей полноте, назначенный поворот? Но самая северная точка принадлежит Нергалу, убийце; ему принадлежит ночь, Син управляет ею ради него, Син — это Нергал в этот праздник, и губитель, который проходит мимо и которого мы умиротворяем, — это Красный.

— Конечно, — сказал Иосиф. — Мы об этом не задумываемся, но это так.

— И вот такая забота, — продолжал Иаков, — отвлекала меня от игры. Меня беспокоила мысль, что наш праздник определяют светила, Луна и Красный, который в эту ночь занимает ее место. Но должны ли мы посылать светилам воздушные поцелуи и праздновать их истории? Не следует ли нам сокрушаться о том, что мы живем не в ладу с господом и со временем и грешим перед ними, не отступаясь по косной своей привычке от дикарства, от которого они хотят нас избавить? Я не перестану задаваться вопросом, не следует ли мне стать под дерево наставленья и, созвав людей, поделиться с ними своими заботами и тревогами относительно праздника Песах.

— Папочка, — сказал Иосиф, наклоняясь вперед и кладя возле шашечницы, свидетельствующей о его поражении, свою руку на руку старика, — папочка мой слишком щепетилен, его следует попросить воздержаться от опрометчивых и губительных поступков. Если дитя вправе считать себя спрошенным, то оно посоветовало бы пощадить праздник и не спешить нарушать его из-за его историй, ибо со временем они могут быть заменены другой историей, которую и будут потом

рассказывать за ночной трапезой, — например, историей о том, как бог сохранил Исаака, она вполне подошла бы. Но лучше положиться на время и подождать, не явит ли нам господь своего могущества каким-нибудь великим спасением и избавлением: это мы и положим тогда в основу праздника, как его историю, и будем петь хвалебные песни. Благотворна ли речь глупца?

— Как бальзам, — ответил Иаков. — Она очень умна и утешительна, что я и определяю словами «как бальзам». Ты высказался в пользу обычая и одновременно в пользу будущего, — к чести своей. И высказался в пользу покоя, который все же является движением, поэтому душа моя отвечает тебе радостным смехом, Иосиф-эль, отпрыск нежнейшего дерева, — дай я тебя поцелую!

И, обняв над шашечницей ладонями прекрасную голову Иосифа, он поцеловал ее, счастливый своим достоянием.

— Мне и самому невдомек, — сказал Иосиф, — откуда у меня сейчас взялись ум и кое-какая сообразительность, чтобы встретить ими в беседе мудрость моего господина. Если твои мысли, как ты сказал, отвлеклись от игры, то и мои, откровенно говоря, отвлекались не меньше — и все в одну сторону, и одним лишь элохимам ведомо, как удалось мне даже так долго сопротивляться!

— Куда же убегали твои мысли, дитя мое?

— Ах, — отвечал юноша, — тебе легко это угадать. У меня днем и ночью стоят в ушах слова, которые мне отец мой недавно сказал у колодца. Они отняли у меня покой, и любопытство просто снесает меня, ибо это были слова обещанья.

— Что же я сказал и какое дал обещанье?

— О, ты сам знаешь! Я вижу по тебе, что ты знаешь! Ты сказал, что собираешься... помнишь? «Я собираюсь, — сказал ты, — сделать тебе один подарок... которому порадуется твое сердце... и который оденет тебя». Так ты сказал, точь-в-точь. Твои слова так и застряли в ушах у меня. Что же мой папочка имел в виду своим обещаньем?

Иаков покраснел, и от Иосифа это не ускользнуло. Слабый румянец окрасил постариковски сухощавые щеки Иакова, а глаза его затуманились в легком смущенье.

— Пустое! — сказал он уклончиво. — Дитя напрасно об этом думает. Это было сказано невзначай, без каких-либо твердых намерений. Разве я и так не делаю тебе всяких подарков, когда мне велит сердце? Я просто хотел сказать, что есть одна нарядная вещица, которую я тебе при случае...

— Вот так пустое! — воскликнул Иосиф и, вскочив на ноги, обнял отца. — Слыханное ли дело, чтобы этот добрый мудрец говорил что-либо невзначай? Как будто по нему не было видно, что он вовсе не болтал вздор, а имел в виду одну определенную красивую вещь, и не просто какую-то, а особую, прекрасную, предназначенную именно мне. Но ты мне ее не только предназначил, но и пообещал, посулил. Неужели мне нельзя узнать, что же это такое принадлежит мне и меня дожидается? Неужели, по-твоему, я успокоюсь и отстану от тебя, не узнав этого?

— Как ты напирал и наседаешь на меня! — сказал старик, страдая. — Не тряси меня и не держись за мочки моих ушей, а то можно подумать, что ты со мной совсем запанибрата! Узнать — ну что ж, можешь узнать, я действительно имею в виду нечто определенное, а не вообще что-то. Да сядь же наконец! Ты знаешь о кетонет пассим

Рахили?

— Одежда Маами! Какой-то праздничный наряд? А, понимаю, ты хочешь мне из ее платья...

— Выслушай меня, Иегосиф! Ты не понимаешь. Сейчас я тебе объясню! Когда я прослужил за Рахиль семь лет и подошел день, в который я должен был принять ее во имя господне, Лаван сказал мне: «Я подарю тебе покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Нане. Я давно, — сказал он, — купил его у одного странствующего купца и хранил в ларе, ибо оно дорого стоит. Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушке знатного рода, что вполне вероятно: очень уж искусно расшито оно всевозможными знаками всяческих идолов. И пусть она покроется им и будет, как одна из Эниту, как невеста небесная в спальном покое башни Этеменанки». Такие или подобные слова сказал мне этот бес. И он не солгал, ибо Рахиль получила это покрывало и была в нем чудо как хороша, когда мы сидели на свадебном пиру, и я целовал изображение Иштар. Но когда я протянул невесте цветок, я поднял покрывало, чтобы увидеть ее видящими руками. Это оказалась Лия, которую бес коварно впустил в спальню, так что я только мнил себя счастливым, но не был им вправду, — от такого заблужденья любой обезумеет, и об этом я умолчу. Но в мнимом своем счастье я был разумен и, бережно положив священный наряд на стул, сказал невесте такие слова: «Мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью».

— И Маами тоже надела это покрывало, когда пришел ее час?

— Это не покрывало, это чудо. Это наряд, который можно носить как угодно, по щиколотки длиной, с рукавами, так что человек волен приспособить его к своему вкусу и своей красоте. Маами? Да, она надела его и оставила у себя. Она тщательно сложила его и уложила, когда мы обманули Лавана, сломали покрытые пылью запоры и тронулись в путь. Этот наряд был с нами всегда, и мы берегли его так же, как Лаван, с давних пор заботливо хранивший его в своем ларе.

Глаза Иосифа обшарили шатер и остановились на сундуках. Он спросил:

— Далеко ли от нас находится это покрывало?

— Не очень далеко.

— И господин мой подарит мне его?

— Я предназначил его тебе, дитя.

— Предназначил и обещал!

— Но позднее! Не сейчас! — с тревогой воскликнул Иаков. — Образумься, дитя, и удовольствуйся до поры до времени обещанием! Пойми, решение еще не принято, господь еще не сказал своего последнего слова в сердце моем. Твой брат Рувим пал, и я вынужден был лишиться его первородства. Твой ли теперь черед, чтобы я облек тебя первородством и отдал тебе кетонет? На этот вопрос можно ответить «нет», ибо после Ре'увима родился Иуда, родились Левий и Симеон. Но можно ответить и «да», ибо если первенец Лии пал и был проклят, то на очереди первенец Рахили. Это спорно и неясно; нужно дождаться каких-то знаков, которые разрешат дело. Если я обряжу тебя в покрывало Рахили, братья ошибочно истолкуют это как избрание и благословение и восстанут против тебя и против меня.

— Против тебя? — изумленно спросил Иосиф. — Право же, я отказываюсь верить собственным ушам! Разве ты не отец, не господин? Разве ты не можешь подняться, если они станут роптать, и надменно отрезать: «Кому хочу — потокаю и кого хочу — милую. Кто вы такие, чтобы мне перечить? Скорее, чем на любого из вас, я надена на него это платье, этот кетонет пассив его матери!» Впрочем, я верю своим ушам; они у меня молодые и надежные. А уж когда говорит папочка, я просто весь превращаюсь в слух. Может быть, ты сказал невесте: «Пусть носят его первенцы из несметного множества»? Или нет? Или нет? Или нет? Кто, сказал ты, пусть его носит?

— Оставь это, бесстыдник! Перестань льстить мне, чтобы твоя глупость не перешла с тебя на меня!

— Отец! Можно мне увидеть его?

— Увидеть? Увидеть не значит получить. Но увидеть значит захотеть получить. Образумься!

— Неужели мне нельзя увидеть того, что мне принадлежит и обещано мне? Сделаем так: я буду сидеть здесь, не шевелясь, как будто я прирос к месту. А ты пойдешь и покажешь мне платье, расправив его перед собой, как это делает в Хевроне купец в лавке, когда показывает свой товар: он набрасывает на себя ткань перед глазами покупателя, который с жадностью на нее смотрит. Но покупатель беден и не может за нее заплатить. И купец убирает товар на место.

— Будь по-твоему во имя господне, — сказал Иаков. — Хотя, глядя со стороны, можно, наверно, подумать, что ты со мной совсем запанибрата. Не двигайся! Сиди, подобрав под себя одну ногу, а руки держи за спиной! Ты сейчас увидишь то, что когда-нибудь, может быть, будет принадлежать тебе, при известных условиях.

— Что уже принадлежит мне! — подхватил Иосиф. — И чего я просто еще не получил!

Он протер себе глаза согнутыми пальцами и приготовился смотреть. Иаков подошел к выпуклому ларю, отпер его и откинул крышку. Он вынул много всяких предметов одежды, лежавших сверху и в глубине, — тут были и плащи, и одеяла, и набедренники, и платки, и рубахи, — и сложил их на полу. Достав покрывало оттуда, где оно было спрятано, он развернул и расправил его.

Мальчик обомлел. Он глотнул воздух открытым, смеющимся ртом. Освещенное площадками шитье сверкало металлом. Блеск серебра и золота порой затмевал в беспокойных руках старика более тусклые краски, багровый, белый, оливковый, розовый, черный цвета изображений и знаков, звезд, голубей, деревьев, богов, ангелов, людей и животных на синевато-дымчатой ткани.

— Небесные светлы! — вырвалось у Иосифа. — Как вы прекрасны! Папочка купец, что показываешь ты покупателю в лавке своей? Вот Гильгамеш со львом под мышкой, я узнаю его издали! А там, я вижу, кто-то дерется с грифоном, размахивая дубинкой. Погоди, погоди! О саваофы, что за животные! Это возлюбленные богини, конь, летучая мышь, волк и пестрая птица! Дай же мне поглядеть, — поглядеть же! Бедное дитя, глазам его больно глядеть через разделяющее пространство. А это что, не чета ли людей-скорпионов с колючими хвостами? Я не уверен в этом, но так мне кажется, хотя глаза у меня, разумеется, немного слезятся. Погоди, купец, я подвинусь поближе, сидя на ноге и держа руки за спиной. О элохимы, если приблизиться, это еще прекраснее, и все видно яснее! Что делают эти бородатые духи у дерева? Вижу, они оплодотворяют его... А что там написано? «Я сняла... платье свое... не надеть ли мне его... снова?» Чудесно! И везде Нана

с голубем, солнцем и луной... Я должен подняться! Я должен встать, купец, мне не видно того, что вверху — финиковой пальмы, из которой богиня протягивает руки с едой и питьем... Можно мне прикоснуться к платью? Ведь это, я надеюсь, ничего не будет стоить, если я осторожно приподниму его, чтобы, взвесив его в руке, почувствовать его легкость и тяжесть, тяжесть и одновременно легкость... Купец, я беден, я не могу его купить. Подари мне его, купец! У тебя так много товара — отдай мне покрывало! Одолжи мне его, будь добр, чтобы я показался в нем людям во славу твоей лавки! Нет! Это твое последнее слово? Или, может быть, ты колеблешься? Может быть, ты хоть немного колеблешься и при всей своей неуступчивости все-таки хочешь, чтобы я его поносил? Нет, я ошибся, ты не колеблешься, у тебя просто дрожат руки, потому что они устали от напряжения. Ты слишком долго держал его на весу... Дай! Как его носят, как надевают? Так? И вот так? И пожалуй, еще вот так? Каково? Не овчар ли я в пестром наряде? Покрывало Маами — к лицу ли оно сыну?

Конечно, он походил на бога. Такого эффекта естественно было ждать, и тайное желанье добиться его не было на пользу сопротивленью Иакова. Едва лишь Иосиф своими приемами, хитрости и очарованья которых нельзя не признать, выманил платье из рук старика, как оно, двумя-тремя взмахами, свидетельствовавшими о природном умении наряжаться, было надето самым свободным и выигрышным образом, — покрыло ему голову, окутало плечи, ниспало с юного его стана складками, в которых сверкали серебряные голуби, пылало цветное шитье и долгота которых сделала его выше ростом. Выше ростом? Если бы этим дело исчерпывалось! Нет, ослепительная эта одежда шла ему так, что его славе у людей было бы уже очень трудно противопоставить какое-либо трезво-критическое замечанье, она делала его настолько красивым и прекрасным, что красота его ставила даже в тупик и граничила в самом деле с божественной. Хуже всего было то, что его сходство с матерью, и в очертаниях лба и бровей, и в линиях рта, и во взгляде, никогда так разительно не бросалось в глаза, как благодаря этому одеянию, — в глаза Иакову, и они у него увлажнились слезами, и ему почудилось, что он видит Рахиль в Лавановой горнице, в день свершенья.

Мать-богиня стояла перед ним в образе мальчика и, улыбаясь, спросила:

— Я надела платье свое, — не снять ли мне его снова?

— Нет, возьми, возьми его! — сказал отец; и бог убежал, а Иаков поднял к небу лицо и руки, и губы его зашевелились в молитве.

Быстроногий

Сенсация была огромная. Первым, кому Иосиф показался в покрывале, в разноцветной одежде, был Вениамин; но Вениамин был не один, он пребывал у наложниц, там его и нашел нарядившийся Иосиф. Он пришел к ним в шатер и сказал:

— Привет вам, я зашел случайно. Скажите, женщины, здесь ли мой маленький брат? Ах, вот ты, Бен, привет тебе и еще и еще раз привет! Мне просто захотелось поглядеть, как вы живете-можете. Что вы подельваете, чешете лен? И Туртурра помогает вам по мере сил? Никто не знает, где старик Елиезер?

Туртурра (это значило «малыш»; Иосиф иногда называл Вениамина этим вавилонским ласкательным именем) — Туртурра давно уже издавал протяжные возгласы изумленья. Валла и Зелфа вторили ему. Иосиф надел покрывало довольно небрежно, он слегка скомкал его и продел за кушак своего кафтана.

— Почему вы все расшумелись, — сказал он, — и почему у вас глаза, как колеса повозки? Ах, вот оно что, из-за моего наряда, из-за кетонета Маами. Ну да, я теперь иногда буду его носить. Израиль недавно подарил мне его и завещал, да, да, только что.

— Иосиф-эль, милый господин мой, сын праведной! — воскликнула Зелфа. — Иаков завещал тебе это разноцветное покрывало, в котором была Лия, моя госпожа, когда он принял ее впервые? Как это справедливо и мудро, ибо оно так идет к тебе, что просто сердце тает и даже представить себе нельзя, что его может носить кто-то другой. Скажем, один из далеких сейчас сыновей Лии, с лица которой Иаков впервые поднял его? Или мой Гад или Асир, которых я родила на колени Лии? Нет, вообразив себе это, можно только грустно-насмешливо улыбнуться.

— Иосифиа! Красавец! — воскликнула Валла. — Нет ничего прекраснее, чем ты в этом наряде! При виде тебя хочется пасть на лицо свое — особенно простой служанке, как я, хотя меня, как сестру, любила Рахиль, твоя мать, и я, благодаря силе Иакова, родила ей Дана и Неффалима, старших твоих братьев. Они тоже падут ниц или, во всяком случае, будут близки к этому, когда увидят мальчика в праздничном уборе его матери. Пойди же поскорей к ним и покажись братьям, которые ничего не подозревают, не помышляют ни о худом, ни о добром и еще не знают, что господин наш избрал тебя! Тебе следовало бы также поехать показаться красноглазым, шестерым сыновьям Лии, чтобы насладиться их ликованием и возгласами «осанна!».

Как ни трудно в это поверить, Иосиф не почувствовал ни слишком явной горечи, ни коварства в словах женщин. В своем упоении, в своей детской, но тем не менее непростительной доверчивости он был глух к ним и невосприимчив к предостережениям. Он принял как должное их приятные речи, будучи убежден, что ничего, кроме приятного, ему и не приходится ждать, и не давая себе ни малейшего труда заглянуть им в душу. Вот это-то и было непростительно! Равнодушие к внутренней жизни людей и незнание ее создают совершенно превратное отношение к действительности, приводят к ослеплению. Со времен Адама и Евы, с тех пор, как из одного человека стало два, никому на свете не удавалось прожить без того, чтобы мысленно не поставить себя на место ближнего и не уяснить истинное свое положение, взглянув на себя чужими глазами. Умение представить себе и угадать чувства других людей, то есть чуткость, не только похвальна, поскольку она позволяет заглянуть за пределы собственного «я», но и является необходимым средством самосохранения. Но об этих правилах Иосиф понятия не имел. Его доверчивость была своего рода избалованностью, которая, вопреки недвусмысленным свидетельствам обратного, внушала ему, что все люди любят его больше, чем самих себя, и что, следовательно, ему незачем с ними считаться. Кто ради его прекрасных глаз найдет подобное легкомыслие простительным, тот проявит большую слабость.

Несколько иначе обстояло дело с Вениамином. Тут, в виде исключения, беспечность была уместна. Когда он воскликнул:

— Иегосиф, небесный брат! Это словно не явь, а сон, где господь накинул на тебя великолепное платье, сотканное из света разных цветов, облек тебя покровом славы и гордости! Ах, этот малыш, каковым я зовусь, в восторге! Не спеши к сыновьям Валлы, и пусть сыновья Зелфы побудут еще немного в неведенье! Останься с братцем правой руки, дай мне еще полюбоваться тобой, дай наглядеться на тебя досыта!

Иосиф мог, конечно, принять это за чистую монету; никакой задней мысли тут не было. Однако даже из одних этих слов можно было извлечь предостережение красавцу, и мы бы очень ошиблись, если бы не услышали в них разумного спасенья встречи Иосифа с

братьями и желанья хотя бы немного эту встречу отсрочить. Впрочем, если Иосифу и не хватало благоразумья, то инстинкт все же удержал его от немедленного появления в новом платье перед детьми служанок. Кроме нескольких третьестепенных лиц, которые, случайно встречая Иосифа, не скупилась на похвалы, воздушные поцелуи и славословья, в этот день его привелось увидеть лишь старику Елиезеру, который сначала долго качал головой, что равно могло означать и восторг, и только общее глубокомыслие, а вслед за тем, с божественно-невыразительной миной, пустился в так называемые воспоминанья, которые вызвало у него покрывало: о том, как «он», Елиезер, по должности свата, привел некогда Ревекку из преисподней Харрана и как она, по прибытии наверх, при приближении будущего своего супруга, закуталась в покрывало. А зачем? Затем, чтобы Исаак узнал ее. Как смог бы он узнать ее и снять с нее покрывало, если бы она до того не покрывалась?

— Великий подарок, дитя мое, — сказал он с таким неподвижным лицом, что чудилось, будто это лицо можно снять и под ним окажется другое, — великий подарок сделал тебе Израиль, ибо в покрывале заключены жизнь и смерть, но смерть заключена в жизни, а жизнь — в смерти, — кто это знает, тот посвящен. Сестра и супруга-мать сняла с себя покрывало и обнажилась у седьмых ворот ада и в смерти; но когда она возвратилась к свету, она покрывалась снова, в знак жизни. Погляди на зерно; если оно падет в землю, оно умрет, чтобы воскреснуть для жатвы. Ибо к колосу уже близок серп, что растет в черной луне молодой жизнью, а ведь этот серп — смерть, и он оскопляет отца, оскопляет для нового владычества над миром, и семена жизни и смерти выходят из жатвы серпа. Так и в покрывале после обнажения в смерти заключена жизнь, и уже тем самым — познание и смерть, хотя, с другой стороны, в познании заключены зачатие и жизнь. Великого дара удостоил тебя отец, он даровал тебе свет и жизнь, покрыв тебя покрывалом, которое твоя мать оставила в смерти. Берегись же, дитя, чтобы его никто у тебя не отнял и чтобы тебя не познала смерть!

— Спасибо, Елиезер! — ответил Иосиф. — Большое спасибо тебе, мудрый домоправитель, который с Аврамом побил царей и навстречу которому скакала земля! Ты прекрасно говоришь обо всем сразу, о покрывале, серпе и зерне, прекрасно и по праву, ибо все вещи связаны между собой и едины в боге, хотя для нас они вышиты на покрывале многообразия. Что же касается этого мальчика, то он сейчас снимет платье свое и укроется им на постели своей и задремлет под ним, как дремлет земля под звездным покровом вселенной.

Так он и поступил. И спящим под покрывалом застали его уведомленные уже обо всем матерями дети служанок, когда вошли в шатер, который он с ними делил. Вчетвером стояли они у его постели. Дан, Неффалим. Гад и Асир, и один из них — это был лакомка Асир, самый младший из четырех, едва достигший двадцати двух лет, — держал над ним ручной фонарик, освещая спящее его лицо и разноцветное платье, которым он был укрыт.

— Вот извольте! — сказал он. — Так оно и есть, женщины ничего не присочинили, когда донесли нам, что этот шалопай явился к ним в кетонет пассиве своей матери! Смотрите, он завернулся в него и спит сном праведника, с ханжеским видом. Какие еще могут быть сомненья? Отец подарил ему покрывало, он выманил его медовыми речами у бедного старика. Тьфу ты! Нас всех одинаково злит это безобразье, и Асир берет нашу злость в свои уста и извергает ее на спящее наше злосчастье, чтобы ему приснились хотя бы недобрые сны.

Он очень любил, этот Асир, быть одного мнения и одних чувств с другими и довольно горячо подкреплять такое единство словом, которое выражало общее настроение и согревающе всех сплывало, так что даже их ярость дышала довольством согласия, —

это было связано с его пристрастием к лакомствам, с влажностью его глаз и губ. Еще он сказал:

— Это я-то вырезал куски мяса из живых овец и баранов, это я-то их ел! Он рассказал это нашему бедному, нашему благочестивому и легковерному отцу, и тот, в награду за ложь, отдал ему кетонет пассим! Да, это так: на каждого из нас он что-нибудь да наговорил старику, и покрывало, под которым он спит, это плата за его лживость и за злую клевету на всех нас. Сомкнемся теснее, братья, обнимемся в обиде своей, и я произнесу над ним бранное слово, которое всем нам облегчит душу: ах ты, песик!

Он хотел сказать «ах ты, пес», но в последнее мгновение, испугавшись этого слова из-за Иакова, успел прибавить к нему уменьшительный слог.

— И правда, — сказал Дан, которому было уже двадцать семь лет, столько же, сколько Лииному Симеону (с козлиной бородой, но без усов, он носил облегающую вышитую рубаху, и колючие глаза его сидели близко один к другому, у самой переносицы крючковатого носа), — и правда, меня называют змеем и аспидом, считая, что я чуть-чуть хитроват, но что же тогда вот это, что лежит здесь и спит? Самое настоящее чудовище! Он корчит из себя милого мальчика, а в действительности он дракон! Будь проклята его обманчивая внешность, которая заставляет людей пялиться на него и строить ему глазки и околдовала отца! Хотел бы я знать то слово, что вынудило бы его показать нам свой истинный облик!

Лицо коренастого Гаддиила, который был на год старше Асира, выражало суровую честность. Он носил островерхую шапку и имел воинственный вид в своем коротком, подпоясанном чешуйчатой перевязью кафтане, на который он нашил медные нагрудники и из коротких рукавов которого высывались его красные, жилистые руки с крепкими и тоже жилистыми кистями. Он сказал:

— Смотри, Асир, следи за своей плоской, чтобы ненароком не упала на него капля кипящего масла и он не проснулся от боли! Ведь если он проснется, я по своей прямоте закачу ему пощечину, это ясно. Спящего не бьют — не знаю, где это написано, но так не поступают. Но стоит ему проснуться, не будь я Гадом, если я сразу же не съезжу его по морде, да так, что у него на девять дней, считая от завтрашнего, словно от клецки во рту, опухнет щека. Ибо мне горько и тошно глядеть на него и на платье, под которым он спит, нагло выманив его у отца. Я не трус, но у меня отчего-то щемит под ложечкой и что-то подступает изнутри к языку. Мы, братья, стоим, а этот мальчишка, этот шут гороховый, этот щеголь, этот птенец, этот молокосос и кривляка преспокойно лежит себе, завладев покрывалом. Уж не склониться ли нам перед ним? У меня так и вертится на языке слово «склониться», точно мне нашептывает его какая-то гнусная тварь. Поэтому-то у меня и руки чешутся ударить его. Это было бы самое лучшее, и боль у меня под ложечкой как рукой бы сняло!

Прямодушный Гад высказался гораздо содержательнее, чем — при всей его потребности в единомыслии и сплочении словом — Асир, заботившийся только о том, чтобы снискать себе любовь и создать согревающее единство дешевым выражением простейших и самоочевиднейших истин. Гад затратил больше труда. Он всячески старался намекнуть на то, что всех их, под покровом простой злости и зависти, пугало и мучило, старался дать имя смутным воспоминаньям, тревогам, угрозам, некоему призрачному кругу ассоциаций, в котором фигурировали такие понятия, как «первородство». «обман», «замена», «владычество над миром», «подвластность брату», кругу, который был не то прошлым, не то будущим, не то преданьем, не то возвещеньем и неприятно рождал те самые слова — «склониться», «склонятся перед тобой». Речь Гада произвела на остальных сильное и злоещее впечатление. Особенно потрясла она, донельзя усилив

его жажду сорваться с места и побежать, длинного, сутуловатого Неффалима, который давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Его инстинкт гонца, его потребность уведомить и сообщить мучили его с самого начала, он прямо-таки дергался от зуда в ногах. Пространство и его разделительная природа владели воображением Неффалима. Он считал пространство своим ближайшим врагом, а себя самого — средством, призванным преодолеть его, устранив обусловленные пространством различия в людской осведомленности. Если в том месте, где он находился, что-то случилось, он тотчас же мысленно связывал это место с другим, отдаленным, где о случившемся еще ничего не знали, что было в его глазах несносным прозябаньем, с которым он и стремился покончить с помощью резвых своих ног и быстрого языка, чтобы, чего доброго, вернуться оттуда с новостью, здесь позорным образом еще неизвестной, и тем самым уравнивать людскую осведомленность. В данном случае его мысли — его в первую очередь — поспешно связали происходившее с тем отдаленным местом, где находились сыновья Лии. Они, из-за нестерпимого самоуправства пространства, еще ничего не знали, — и им следовало поскорей обо всем узнать. В душе Неффалим уже бежал.

— Послушайте, послушайте, братья, ребята, друзья, — затараторил он тихо и торопливо. — Мы стоим и глядим на то, что случилось, ибо мы на месте. А в этот же самый час красноглазые сидят у костра в долине Шекема и говорят о чем угодно, только не о том, что Иаков, им на позор, вознес главу Иосифу, ибо они ничего не подозревают и, как громко ни вопиет позор, позор их и наш, не слышат ни звука. Но можем ли мы удовлетвориться своим преимуществом и, сказав: «Они далеко, значит, они глупы, ибо дальше глупо», — помириться на том? Нет, их нужно уведомить, чтобы это было там так же, как здесь, и чтобы они не жили, как будто этого нет. Пошлите меня, пошлите меня! Я поеду к ним и подам им весть, я освещу их темноту и заставлю их громко вскрикнуть. А вернувшись, я сообщу вам, как они закричали.

С ним согласились. Красноглазых следовало уведомить. Тех это касалось, пожалуй, еще больше, чем их четырех. Неффалима отрядили в дорогу, решив сказать отцу, что Быстроногий отлучился по срочному торговому делу. От нетерпенья Неффалим почти не спал и оседлал осла еще до рассвета; когда Иосиф проснулся под вселенским своим покрывалом, тот был уже далеко, и знание приближалось к дальним. Спустя девять дней, как раз в полнолуние, они прибыли вместе с гонцом — Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон — и стали мрачно рыскать глазами. Симеон и Левий, которых называли «близнецы», хотя один был на год старше другого, взревели, по уверенью Неффалима, как быки, узнав о случившемся.

Об испуге Рувима

У Иосифа хватило благоразумья показаться им в новом платье не сразу же, хотя ему и очень хотелось этого. Легкое сомнение в том, что они действительно любят его настолько больше самих себя, что ничего, кроме радости, при виде вознесенной его главы не почувствуют, заставило его до поры до времени спрятать покрывало и приветствовать их в своей обычной рубахе.

— Привет вам, милые сыновья Лии, сильные братья! — сказал он. — Добро пожаловать к отцу! Хоть некоторых из вас я поцелую.

И, пробираясь между ними, он поцеловал в плечо троих или четверых, хотя они стояли как вкопанные и не прикасались к нему. Только Ре'увим, в то время уже двадцатидевятилетний мужчина, рослый и грузный, с могучими, обмотанными ремнями икрами, в меховом набедреннике, с бритым, мясисто-мускулистым, румяным, свирепым

лицом, имевшим тупой профиль и смущенно-независимое выражение, с черными волосами, завитки которых ложились на низкий лоб, — только он один, не меняясь, впрочем, в лице, поднял свою тяжелую руку, почувствовав у себя на плече губы Иосифа, и легко, тайком, так сказать, провел ею по голове брата.

Иегуда, на три года моложе Рувима, такой же рослый, но с несколько сутулой спиной и страдальческой складкой у губ и крыльев носа, был в плаще, под которым он прятал руки. Он носил маленькую, в обтяжку, шапку, не скрывавшую его густых, похожих на гриву волос, таких же темно-рыжих, как его пышная, клином, борода, как узкие усы, оттопыривавшиеся над его красными, пухлыми губами. Губы эти свидетельствовали о чувственности, но тонкий, с горбинкой, и все же сплюснутый вниз нос говорил о чуткой духовности, а в больших, с тяжелыми веками, зеркально-выпуклых оленьих глазах таилась печаль. Иуда был уже тогда женат, как многие его родные и сводные братья: так, Рувим успел взять в жены одну из дочерей этой земли и родить с ней богу Авраама нескольких детей, например, мальчика Хануха и мальчика Фаллу, которых Иаков порой качал на коленях. Симеон завладел уведенной в качестве военной добычи дочерью шекемского горожанина, по имени Буна, Левий женился на девушке, которая верила в Иагу и считалась внучкой Евера, Неффалим — на молодой женщине, чей род Иаков несколько искусственно возводил к Нахору, брату халдеянина, а Дан — просто на моавитянке. Одними лишь религиозно безупречными браками никак нельзя было обойтись, а что касалось Иуды, то отец должен был радоваться, что своей женитьбой тот добился хоть некоторого порядка и покоя в плотских делах, ибо с юных лет половая его жизнь была хаотична и мучительна. Он состоял с Астарот в безрадостно-напряженных отношениях, страдал под ударами ее бича и подчинялся ей, не любя ее, что вносило в его душу разлад, несогласие с самим собой. Знакомство с кедешами, священными блудницами Иштар, приобщило его к бааловской сфере с ее ужасами и дуростями, к сфере бесстыдного Ханаана, и никого, даже Иакова, отца, это не огорчало больше, чем самого Иегуду, который не только был благочестив и стремился к богоразумной чистоте, не только питал глубокое отвращение к Шеолу со всеми дуростями и тайнами, какими оскверняли себя народы, но и полагал, что у него были основанья особенно следить за собой, ибо поскольку Рувим провинился, а так называемых близнецов после шекемской смуты тоже можно было считать проклятыми, существовала реальная возможность, что благословенным носителем завета будет Иуда, четвертый сын, хотя между братьями речи об этом не было, а всякие притязанья проявлялись лишь в форме общей злости на сына Рахили.

Через одного из своих пастухов — это был Хира из местечка Одоллам — Иуда познакомился с одним ханаанянином по имени Шуя, чья дочь ему понравилась, и он взял ее с позволения Иакова в жены. Сыновей, которых она ему принесла, поначалу двух, он воспитывал в разумении бога. Но они пошли в мать, подобно тому как Измаил уродился не в отца, а в Агарь: так, по крайней мере, представлялось дело Иуде и так он объяснял себе то, что они оказались нечистыми, детьми Ханаана, озорниками Баала, исчадьем Шеола, одержимыми Молеха, хотя виной этой беде была, может быть, не только дочь Шуи. А она обещала уже принести третьего, и его беспокоило, каков будет тот.

Итак, в глазах Иуды была печаль, но она не склонила его к добродушию и не побудила тайком погладить Иосифа по волосам, как это сделал Рувим. Он сказал:

— В каком виде ты вышел к нам, писец? Разве в обычной одежде, да еще покрытой пятнами туши, встречают старших, когда они возвращаются домой после долгой отлучки? Ты всегда только о том и думаешь, как бы очаровать человека и заставить его улыбаться тебе, так неужели же ты совсем не хочешь понравиться нам? Говорят, у тебя в ларе спрятано ослепительно драгоценное платье, достойное чуть ли не княжеского сына?

Зачем же ты обижаешь нас, пожалев его для встречи братьев?

Испещренные рубцами, с татуировкой на умощенной груди, Симеон и Левий, сверкая глазами и опираясь на толстые палицы, засмеялись отрывистым, рычащим смехом.

— С каких это пор обольстительницы выходят на прогулку без покрывала? — воскликнул один из них.

— А храмовые шлюхи без фаты на глазах? — подхватил другой, не обращая внимания на то, что Иуду передернуло.

— Ах, вы говорите о моем вышитом платье? — спросил Иосиф. — Наш брат Неффалим успел, видно, рассказать вам по дороге, какую милость оказал мне Иаков? Простите меня по доброте своей! — сказал он и смиренно-изящным движением, скрестив на груди руки, склонился перед ними. — Тяжело не ошибиться в своих решениях и действиях, и человек впадает во грех, как ни поступит. Ведь я, дурак, думал: пристало ли мне чваниться перед господами моими? Нет, отвечал я себе, не пристало, я выйду к ним в простой одежде, чтобы они не досадовали на мое высокомерие и любили меня. Оказывается, я поступил глупо. Понимаю, мне следовало нарядиться для встречи с вами. Но поверьте мне, в вечер пира, когда вы тоже омоетесь и наденете свои праздничные одежды, я сяду в кетонете по правую руку Иакова, и вы увидите сына нашего отца во всем его великолепии. Согласны?

Снова раздался рычащий смех дикарей-близнецов. Остальные со злостью вглядывались в глаза Иосифа, пытаясь определить, чего в его речи больше — простота или дерзости, но определить это было очень трудно.

— Золотые слова! — сказал Завулон, самый младший, старавшийся походить на финикиянина с окладистой стриженной бородой и короткими вьющимися волосами, в пестроузорчатом кафтане, который прикрывал только одно плечо, а на другом, убегая под мышку, не прятал рубахи; ибо он мечтал о море, о гаванях и не хотел быть пастухом. — Сладкие слова! Не слова, а прямо-таки жертвенная лепешка из пшеничной, мелкого помола муки, да еще с патокой! А знаешь, мне хочется втолкнуть их тебе назад в глотку, чтобы ты подавился ими!

— Опомнись, Завулон, что за грубые шутки! — ответил Иосиф, опустив глаза и смущенно улыбнувшись. — Ты научился им у просмоленных гребцов-рабов в Аскалуне и Газе?

— Он назвал моего брата Завулону просмоленным рабом-гребцом! — вскричал долговязый и кряжистый Иссахар, по прозвищу «Крепкий осел»; ему был двадцать один год. — Рувим, ты слышал это, так осадь же его — если не кулаком, как мне бы хотелось, то, по крайней мере, выговором, чтобы он запомнил!

— Ты неточно выразился, Иссахар, — ответил Рувим высоким и нежным голосом, какой подчас бывает у мужчин могучего телосложения, и отвернул голову. — Он не назвал его так, он только спросил его, не у гребцов ли тот научился таким речам. Это было довольно дерзко.

— Насколько я понял, — возразил Иосиф, — ему хотелось задушить меня жертвенной лепешкой, а это было бы и нечестиво, и очень недружелюбно. Если же он этого не сказал или не имел в виду, то и я вовсе его не дразнил, отнюдь нет.

— Разойдемся же в разные стороны, — решил Рувим, — потому что пока мы вместе, нам не избежать новых пререканий и недоразумений.

Они разошлись, десятеро и один. Но Рувим пошел за оставшимся в одиночестве и окликнул его по имени. Огромный, он стоял перед ним и наедине с ним на своих столпоподобных, оплетенных ремнями ногах, и внимательно-вежливо глядел Иосиф в мускулистое лицо, которому сознание силы и виновности придавало смущенно-независимый вид. Красноватый, с воспаленными веками глаза Рувима были совсем рядом с Иосифом. Их взгляд задумчиво терялся в его лице или, вернее, останавливался перед этим лицом и снова уходил в себя, и могучей своей правой рукой Рувим слегка сжимал при этом плечо брата, как это он обычно делал со всеми, с кем говорил.

— Ты спрячешь это платье, мальчик? — спросил он его одними губами, почти не открывая рта.

— Да, Рувим, господин мой, я буду его беречь, — ответил Иосиф. — Израиль подарил мне его, придя в веселое расположение духа после победы в игре.

— Он побил твои шашки? — спросил Рувим. — Ты играешь ловко и сильно, ибо занятия с Елиезером хорошо упражняют твой ум, и это идет тебе на пользу в игре. Часто ли он побивает тебя?

— Случается, — сказал Иосиф и обнажил свои зубы.

— Когда ты захочешь?

— Не все от меня зависит, — уклончиво ответил тот.

«Да, это так, — подумал Рувим молча, и взгляд его еще глубже, чем прежде, ушел в себя. — Так обманывают благословенные, и обманывать им свойственно: они должны держать свое сияние под спудом, чтобы оно не заблестало им во вред, тогда как другим приходится блистать ложным блеском, чтоб продержаться. — Он поглядел на сводного брата. — Дитя Рахили, — подумал он. — Какое оно милое! Люди правы, когда улыбаются ему. У него как раз надлежащий рост, и красивые и прекрасные глаза его глядят на меня, если я не ошибаюсь, с тайной насмешкой, потому что я стою перед ним, башнеподобный великан стад, громадина нескладная, пентюх, у которого, того и гляди, жилы треснут от мощи. Мудрено ли, что я бросился на Валлу, как бык, не заботясь о том, чтобы никто этого не увидел! И он пошел и с невинным коварством донес об этом Израилю, и я обращен в пепел. Ибо он умен, как змея, и кроток, как голубь, а таким-то и надо быть. Коварство в невинности и невинность в коварстве, так что невинность опасна, а коварство священо, — это верные признаки благословенности, и с этим не потягаешься, даже если захочешь, но ты и не хочешь, ибо там бог. Одним-единственным ударом я мог бы уложить его навсегда; сила, которая взяла верх над Валлой, сгодилась бы и на это, и если Валла почувствовала ее как женщина, то похититель моего первородства почувствовал бы ее по-мужски. Но что дало бы мне это? Авель лежал бы мертв, а я стал бы тем, кем не хочу быть, — Каином, которого я не понимаю. Как можно поступить наперекор своему убежденью по-каиновски и с открытыми глазами убить угодного, потому что ты сам неугоден? Я не пойду наперекор своему убежденью, я буду справедлив, это полезней моей душе. Я не дам ей поблажки. Я Ре'увим, у которого в жилах играет сила, первенец Лии, старший сын Иакова, глава всем двенадцати. Я не стану строить ему влюбленные рожи и унижаться перед его привлекательностью, и если я погладил его по волосам, то это было глупостью и ошибкой. Я не прикоснусь к нему ни так, ни этак. Я стою перед ним, как башня, пусть неуклюжий, но сохраняя достоинство».

Он спросил, напрягая мышцы лица:

— Ты выманил у него платье?

— Не так давно он обещал мне его, — отвечал Иосиф, — и когда я напомнил ему об этом, он достал его из ларя и сказал мне: «Возьми, возьми его!»

— Понимаю, напомнил и выклянчил. Он отдал его тебе против своей воли, соблазненный твоею. А знаешь ли ты, что это противно богу — злоупотреблять властью, которая дана тебе над другим, заставляя его соглашаться с несправедливостью и делать то, в чем он потом раскается?

— Какая у меня власть над Иаковом?

— Спрашивая так, ты лжешь. У тебя над ним власть Рахили.

— Но ведь я ее не украл.

— Но и не заслужил.

— Господь говорит: «Кому хочу, потакаю».

— Ну и дерзок же ты! — сказал Рувим, нахмурив брови, и стал медленно покачивать Иосифа, держа его за плечо. — Обо мне говорят, что я бушую, как вода, и грех мне не чужд. Но зато мне чуждо упрямое твое легкомыслие. Ты слишком надеешься на бога и глумишься над сердцем, которое у тебя в руках. Ты знаешь, что ты поверг старика в страх и в тревогу, выманив у него платье?

— В какую тревогу, большой Рувим?

— Я уже вижу, что ты лжешь, если ты спрашиваешь. Неужели тебя так радует, что у человека бывает такая власть?.. Тревогу о тебе, который ему дороже всего на свете, — дороже не из-за твоих заслуг, а по воле его мягкого и гордого сердца. Он отнял благословение у своего близнеца Исава, но разве не выпало на его долю достаточно много горя, когда в одном переходе от Ефрона у него умерла Рахиль, а кроме того, из-за Дины, его дочери, да и из-за меня, прибавлю это сам, ибо вижу по тебе, что ты способен напомнить мне это?

— Да нет же, сильный Рувим. Я вовсе не думаю о том, что ты однажды пошутил с Валлой и уподобился в глазах расстроенного отца бегемоту.

— Молчи! Как смеешь ты говорить об этом, если я, опередив тебя, заранее заткнул тебе рот? Ты все время изобретаешь новые виды лжи и говоришь: «Я об этом не думаю», — подробно об этом распространяясь. Не в том ли уж и состоит священная наука, которую ты постигаешь, читая камни и упражняясь с Елиезером? И губы создатель дал тебе сам не знаю какие, и зубы сверкают между ними, когда они шевелятся. Но слетают с них одни только дерзости. Эй, малый, берегись! — сказал он и стал трясти его так, что Иосиф закачался, переваливаясь то на пятки, то на носки. — Разве я десятки раз не спасал тебя от рук братьев, от гнева тех, кто из-за обещанной растоптал Шекем, да, да, десятки раз, когда они собирались тебя избить за то, что ты наябедничал на них отцу, наврал ему насчет «кусков мяса живых животных» или еще что-нибудь? Как же ты дерзнул выманить у отца покрывало в наше отсутствие и навлечь на себя гнев если не десятерых, то девятерых? Скажи, кто ты такой и откуда у тебя такое высокомерие, что ты отделяешься от всех нас и ставишь себя в особое положение? Ты не боишься, что из-за твоей спеси над тобою сгустится туча, из которой ударит молния? Неужели ты несколько не благодарен тем, кто к тебе милостив, если заставляешь их тревожиться о себе, как какой-

нибудь сумасброд, который по гнилым сучьям влезает на дерево и смеется оттуда над теми, что стоят внизу и кричат ему, чтобы он спустился, в страхе, что вдруг ветка подломится и он растеряет свои потроха?

— Послушай, Рувим, перестань меня трясти! Поверь мне, я благодарен тебе за то, что ты, наперекор задиристости братьев, за меня заступился. Я благодарен тебе и за то, что ты меня поддерживаешь, сшибая меня одновременно с ног. Дай мне, однако, стать как следует, чтобы я мог говорить! Вот так! Нельзя объясняться качаясь. Но теперь, когда я твердо стою, я объяснюсь, и я уверен, что ты, как человек справедливый, согласишься со мной. Я не выманивал хитростью покрывало и не украл его. Иаков обещал мне его у колодца, и поэтому я знал о желании и намерении отца отдать мне его. Увидев, однако, что этот кроткий человек и воля его не совсем едины, я взял сторону воли и легко склонил его отдать мне покрывало, — подчеркиваю, отдать, а не подарить, ибо оно уже было мое.

— Почему твое?

— Ты спрашиваешь? Хорошо, я отвечу. Скажи, с кого Иаков впервые снял эту фату, чтобы в тот же час завещать ее потомкам?

— С Лии!

— Да, в действительности. Но по правде это была Рахиль. Лия только надела покрывало, но хозяйкой его была Рахиль, и она-то и хранила его, покуда не: умерла в одном переходе от Ефрона. Поскольку, однако, она умерла, где она сейчас?

— Там, где глина — пища ее.

— Да, в действительности. Но правда не такова. Разве ты не знаешь, что смерть обладает способностью менять стать человека и что для Иакова Рахиль живет в другой стати?

Рувим опешил.

— Я и мать — одно целое, — сказал Иосиф. — Разве ты не знаешь, что наряд Маами принадлежит и сыну, что они носят его попеременно, один вместо другого? Назови меня, и ты назовешь ее. Назови то, что принадлежит ей, и ты назовешь то, что принадлежит мне. Так чье же покрывало?

Он говорил с самым скромным видом, держась очень просто, с опущенными глазами. Но затем, уже высказавшись, он вдруг встретил взор брата настежь открытым взором, но не наступательным, напористо в него погружающимся, а тихим, откровенно предлагающим взглянуть в себя, без ответа вбирающим неотрывный, ошеломленно-мигающий взгляд воспаленных Лиинных глаз в свою загадочность.

Башня зашаталась. Большому Рувиму стало жутко. Как выразился этот мальчик, до чего он договорился, как все это получилось? Рувим спросил его, откуда у него такое высокомерие, — теперь он раскаивался в этом, ибо получил ответ. Он злобно задал брату вопрос, кто он такой, — и лучше бы не делал этого! Ибо теперь он получил разъяснение, такое неясное разъяснение, что по огромной его спине мурашки забегали. Случайно ли слетели у мальчика с языка такие слова? Затем ли он намекнул ими на дела божественные и сослался на них, чтобы оправдать свое лукавство, или... И от этого «или» у Рувима засосало под ложечкой так же, как у брата Гаддиила, когда тот, бранясь, пожаловался на это у постели Иосифа; только у Рувима все было еще сильнее, это было еще более глубокое потрясение и вместе восторг, смягченный нежностью и удивлением

ужас.

Надо понять Рувима. Не в его нраве было наперекор всему миру пренебрегать вопросом о том, кто таков тот или иной человек, по чьим стопам он идет, с каким прошлым соотносит свое настоящее, чтобы засвидетельствовать его действительность. В ответе Иосифа такое свидетельство было представлено со столь чудовищной дерзостью, что у Рувима голова закружилась. Но благодаря магии слова, низведшей небесное в земное, этой непринужденной и, несомненно, неподдельной податливости языка волшебству замены, следы, по которым шел его юный брат, ярко засверкали перед глазами Рувима. Не то чтобы в этот миг он принял Иосифа за двойное обоюдополое божество в покрывале — не будем заходить так далеко. И все же его любовь была недалеко от веры.

— Дитя, дитя! — сказал он нежным голосом своего могучего тела. — Побереги свою душу, побереги отца, побереги свое сияние! Не выставляй его наружу, не давай ему блистать тебе на погибель!

Затем он попятился на три шага с опущенной головой и лишь после этого отвернулся от Иосифа.

За ужином, однако, Иосиф был в покрывале, и поэтому братья сидели как сычи, а Иаков пребывал в страхе.

Снопы

Через много дней после этих событий жали пшеницу в долине Хеврона, и стояла веселая пора жатвы, радостная страда, и длилась она до дня первин, когда, через семь недель после весеннего полнолуния, в священный дар приносили кислые пшеничные хлебы из новой муки. Да, поздние дожди были обильны, но уже вскоре окна небесные затворились и вода сошла с лица земли. Торжествующее солнце, Мардук-Баал, опьяненное своей победой над мокрым Левиафаном, пылало в небе, меча в синеву золотые копья, и уже на рубеже второго и третьего месяцев его владычества было так жарко, что пришлось бы опасаться за посевы, если бы не повеяло ветром, отрадное происхождение которого по запаху определил Завулон, шестой сын Лии, сказавший:

— Этот ветер приятно щекочет мне ноздри, ибо он сулит влагу полям и несет облепительную росу. Вот видите, сколько добра творит море, я всегда это говорю. Хорошо бы жить у Большой Зеленой Воды, по соседству с Сидоном, и ходить по волне, вместо того что бы ходить за ягнятами — что мне вовсе не улыбается. По волне, на изогнутой доске можно добраться до мест, где живут люди с хвостом и со светящимся рогом на лбу. Или люди с такими большими ушами, что они закрывают у них все тело, или еще такие, у которых на коже растет трава, — мне рассказывал это один человек из гавани Хазати.

Неффалим согласился с ним. Недурно было бы обменяться сведеньями с травокожими. Вероятно, ни они, ни хвостатые, ни длинноухие не имели ни малейшего представления о том, что творится на свете. Другие братья возражали им и слушать не хотели о море, даже если оно и родит влажный ветер. Это — область преисподней, полная чудищ хаоса, и с таким же правом Завулон мог бы почитать и пустыню. Такого мнения держались, в частности, Симеон и Левий, люди грубые, но богобоязливые, хотя и они, в сущности, не очень-то любили пастушескую жизнь, которую вели только ради преемственности, и предпочли бы какой-нибудь более дикий промысел.

Уборочные работы, начавшиеся жатвой ячменя, доставили всем желанную перемену, и братья трудились весело, как обычно и трудится человек в эти недели вознаграждения, так что даже их отношение к Иосифу, который тоже помогал жать и вязать снопы, невольно становилось уже немного спокойней и мягче, как вдруг тот, из-за невероятной своей болтливости, все снова испортил и ухудшил вконец. Об этом чуть дальше. Что касается Иакова, то его мало трогало календарное веселье его окружения, резвость убирающих урожай крестьян, среди которых трудились и его люди. На них его поведение, каждый год одно и то же, оказывало даже какое-то охлаждающее действие, хотя бы он сам и не появлялся в поле. А появлялся он там лишь в исключительных случаях, но как раз в этом году появился, появился по особой просьбе Иосифа, у которого были свои причины просить об этом отца. Вообще же Иаков не пекся о посевах и жатве, занимаясь земледелием спустя рукава, только по расчету, а не по внутренней склонности, ибо его отношение к этой области определялось скорее чем-то противоположным, а именно — религиозным безразличием, даже отвращением лунного пастуха к землепоклонству красного сеятеля. Пора уборки приводила его даже в некоторое смущение; ведь он извлекал личную пользу из культа плодородия, культа, который местные жители извесны в весну посвящали солнечным баалам и красавицам своих храмов и от которого его, Иакова, душа была далека. Такая причастность к этому культу вызывала у него чувство стыда и заставляла его молчать при виде благодарного ликования жнецов.

Итак, после ячменя он велел убирать пшеницу для собственного потребления, и так как каждая пара рук была на счету и Елиезер нанял даже на эти недели нескольких работников со стороны, то Иосиф прервал свои занятия со стариком, чтобы тоже, несмотря на особое свое положение, трудиться в поле от зари до зари, срезая серпом колосья, собранные в пучок левой рукой, связывая снопы соломой и, вместе с братьями и рабами, грузя их на повозки и навьючивая на ослов, которые доставляли их на ток. Нужно признать, что он делал это охотно и весело, не за страх, а за совесть и с величайшей скромностью — каковой, впрочем, резко противоречили некоторые признания относительно своей внутренней жизни, сделанные им как раз в ту пору. В конце концов ему ничего не стоило бы получить у Иакова освобождение от полевых работ, но он не стремился к этому — отчасти потому, что работа доставляла ему здоровую радость, но прежде всего потому, что она сближала его с братьями, и он ликовал и гордился, трудясь с ними вместе, слыша, как они зачем-нибудь зовут его, и стараясь помочь им по мере сил, — да, так буквально и было; совместный труд, практически улучшавший их отношения, наполнял его сердце счастьем, и тут никакие противоречия ничего не опровергают; при всем своем губительном безрассудстве они не уничтожают того факта, что он любил братьев, и каким бы опять-таки безрассудством и даже ослеплением это ни показалось, полагался на их любовь настолько, что счел возможным подвергнуть ее небольшому испытанию, — небольшому, ибо, к несчастью, он думал, что это пустяк.

Работа в поле очень утомляла его, и он часто засыпал среди дня. Уснул он и в тот полуденный час, когда все сыновья Иакова, кроме Вениамина, собрались, чтобы отдохнуть и поесть в тени навеса, коричневого полотнища на неровных шестах. Они преломили хлеб и болтали, сидя на пятках, все в одних набедренниках, с телами, обгагранными силой Баала, полыхавшего среди белых летних облаков над полусжатым полем, колючие плешины которого, там и сям выкроенные в гуще солнечно-желтых колосьев серпом, были уставлены прислоненными друг к другу снопами и которое было обнесено невысокой, из мелких камней стеной, отделявшей его от чужой полосы. В некотором отдалении возвышался холм, служивший людям Иакова током. Видно было, как туда с кладью шагали ослы и как стоявшие на току мужчины разметывали вилами снопы, а волы молотили их своими копытами.

Итак, Иосиф, тоже в одном рабочем набедреннике и с опаленной солнцем кожей, спал

под общим навесом, подложив под голову руку. Укладываясь, он простодушно попросил у сидевшего ближе всех к нему Иссахара, прозванного «Крепким ослом», разрешения воспользоваться его коленом как приподнимающей голову опорой; но тот спросил Иосифа, не должен ли он, Иссахар, еще чесать ему голову и отгонять от него мух, и попросил его устраиваться как угодно, только без его помощи. Иосиф по-детски рассмеялся над этими словами как над удачной шуткой и лег спать без вознесенья главы. Таковое, как оказалось, он обрел в иных пределах, но по его виду никто об этом не догадался, тем более что никто не обращал на него внимания. Только Рувим поглядывал на него время от времени. Лицо спящего было обращено к нему. Оно не было спокойно. Брови и веки Иосифа вздрагивали, а приоткрытый рот шевелился, как будто хотел что-то сказать.

Тем временем братья обсуждали достоинства и недостатки нововведенного приспособления для молотбы, доски с прикрепленными к ней снизу острыми камнями, которые и раздирали колосья, когда доску тянули волю. С тем, что это ускоряет работу, были согласны все. Но многие утверждали, что при таком способе молотбы на веянье хлеба уйдет больше труда, чем если просто несколько раз прогнать по колосьям волов. Говорили также о молотилке, какой пользовались многие земледельцы, — на катках с режущими железными лопастями. Во время этого разговора Иосиф проснулся и приподнялся.

— Я видел сон, — сказал он и оглядел братьев с удивленной улыбкой.

Они повернули к нему головы, затем снова отвернулись от него и продолжили свой разговор.

— Ну и сон же я видел, — повторил он и провел ладонью по лбу, рассеянно глядя куда-то со все еще смущенной и счастливой улыбкой, — такой правдоподобный и такой чудесный!

— Это твое дело, — ответил Дан и бросил на него короткий колючий взгляд. — Лучше бы ты спал без снов, если уж тебе надо спать, потому что сны не дают спящему отдохнуть.

— Не хотите ли вы услышать мой сон? — спросил Иосиф.

На это никто не ответил. Зато один из них, это был Иегуда, продолжил прерванный сельскохозяйственный разговор таким тоном, который в известной мере содержал в себе надлежащий ответ на подобный вопрос.

— Нужно, — говорил он громко и холодно, — чтобы лопасти всегда были очень острые, иначе они не режут колосьев, а только мнут их, и часть зерна пропадает. Но сами посудите, можно ли положиться на то, что наши жнецы, особенно наемные, будут как следует затачивать ножи. А если колесики слишком острые, они легко разрежут и зерно, и тогда мука...

Несколько мгновений Иосиф прислушивался к их беседе, которой они как бы отмахивались от него. Наконец он прервал ее и сказал:

— Простите, братья, но мне все же хотелось бы рассказать вам сон, который я сейчас увидел, я просто не могу молчать. Он был, правда, короткий, но такой правдоподобный, такой чудесный, что я не в силах таить его и желаю от всей души, чтобы он встал у вас перед глазами, так же как у меня, и вы засмеялись и захлопали себя по ляжкам от удовольствия.

— Послушай-ка! — сказал Иуда снова и покачал головой. — Какая муха тебя укусила, что ты докучаешь нас своими делами, которые нас несколько не трогают? Мало ли что у тебя внутри и что тебе примерещилось и ударило в голову, когда ты набил себе брюхо! Это неприлично и нас не касается, поэтому помолчи!

— Нет, это вас касается! — вскричал Иосиф. — Это всех вас касается, ибо вы все там участвуете, и я тоже, и сон мой для всех нас — такая задача, такое диво, что вы опустите головы и три дня почти ни о чем другом и думать не сможете!

— Пусть он, может быть, расскажет его в нескольких словах, без подробностей, чтобы мы услышали самую суть? — спросил Асир... Лакомки любопытны, да и все они были любопытны и в общем очень любили всякие рассказы, будь то правда или вымысел, сказание, сон или песни первобытной древности.

— Хорошо, — сказал счастливый Иосиф, — если вам угодно, я расскажу вам свое сновиденье, это полезно хотя бы для того, чтобы его истолковать. Ибо толковать сон должен не тот, кто видит его, а кто-то другой. Если вам что-нибудь приснится, то уж я вам дам толкованье, это мне ничего не стоит, я попрошу господу, и он ниспошлет его мне. С собственными же снами дело другое.

— Это называется «без околичностей»? — спросил Гад.

— Так слушайте же... — начал Иосиф.

Но Рувим попытался предотвратить это хотя бы в последний миг. Он не спускал глаз с владельца покрывала и не ждал ничего доброго.

— Иосиф, — сказал он, — я не знаю твоего сна, потому что я не был с тобой, когда ты спал, ты спал один. Но мне кажется, что лучше ни с кем не делиться своими снами. Оставь при себе то, что тебе приснилось, и пойдёмте работать.

— Мы как раз и работали, — подхватил Иосиф, — я видел нас всех в поле, где мы, сыновья Иакова, все вместе убирали пшеницу.

— Превосходно! — воскликнул Неффалим. — Тебе снятся поистине невероятные вещи! Твой сон поразительно далек от действительности. Какое смелое, какое богатое воображение!

— Но это было не наше поле, — продолжал Иосиф, — а другое, удивительно чужое. Но мы об этом не говорили. Мы молча работали, сначала жали, а потом вязали снопы.

— Посылает же господь такие сны! — сказал Завулон. — Бесподобное сновиденье! Уж не следовало ли нам сначала вязать снопы, а потом уже жать, дуралей? Стоит ли, право, дослушивать до конца?

Некоторые, пожимая плечами, уже поднялись и собирались уйти.

— Да, дослушайте до конца! — воскликнул Иосиф, воздевая руки. — Сейчас вы услышите самое чудесное. Каждый из нас вязал по снопу, а всего было нас двенадцать человек, потому что и Вениамин, младший наш брат, тоже оказался на этом поле и вязал свой снопик в одном кругу с вами.

— Думай, что говоришь! — крикнул Гад. — Как же так: «В одном кругу с вами»? Ты хочешь сказать: «В одном кругу с нами»!

— Нет, Гаддиил, дело было не так! Круг составляли вы, одиннадцать братьев, а я стоял и вязал свой сноп посреди круга.

Он умолк и поглядел на их лица. Они все высоко подняли брови и с тихим покачиванием запрокинули головы, отчего у них выступили кадыки. В этом покачивании голов и взлете бровей были насмешливое удивление, угроза и тревога. Братья выжидали.

— Послушайте же, что было дальше и какой чудесный сон мне приснился! — заговорил Иосиф снова. — Когда мы связали свои снопы, каждый по снопу, мы оставили их и, словно нам больше нечего было делать, пошли прочь, ничего друг другу не говоря. Не успели мы, однако, сделать двадцать или, может быть, сорок шагов, как Рувим оглянулся и молча указал рукой на то место, где мы вязали снопы. Да, Рувим, это был ты. Мы все остановились и, заслонясь от солнца, стали глядеть туда. И что же мы видим? Мой сноп, совершенно прямо, стоит посредине, а ваши — стоят кругом и кланяются моему снопу, да, да, они все кланяются и кланяются, а он все стоит и стоит.

Продолжительное молчание.

— И это все? — коротко и тихо спросил, нарушая тишину. Гад.

— Да, после этого я проснулся, — ответил Иосиф растерянно. Он был несколько разочарован в своем сне, который как таковой, особенно благодаря безмолвному указанию Рувима на самостоятельные действия снопов, носил очень и очень своеобразный, гнетуще-окрыляющий характер, а облекшись в слова, предстал сравнительно скудным, даже нелепым, и, по мнению Иосифа, не мог произвести никакого впечатления на слушателей, и слова Гада «и это все?» только утвердили его в этом чувстве. Ему было стыдно.

— Хорошее дело, — сказал после нового молчания Дан. Он сказал это сдавленным голосом, вернее, голос участвовал лишь в первых слогах его замечанья, а последние заглохли в шепоте.

Иосиф поднял голову. Он приободрился. Кажется, и в его изложении сон все-таки не оставил братьев совсем равнодушными. Если «и это все?» было убийственно, то «хорошее дело» утешало и обнадеживало; это значило «скажи на милость» и «право, недурно», это значило «мать честная» и тому подобное. Он поглядел на их лица. Они все были бледны, и у всех были отвесные складки между бровями, что в сочетании с резкой бледностью производит странное впечатленье. Такое же впечатленье складывается и в том случае, если при бледном лице очень сильно напряжены крылья носа или закушена нижняя губа, что тут тоже неоднократно имело место. Кроме того, все очень тяжело дышали, и так как дышали они не совсем в лад, то под навесом раздавалось нестройное десятизвучное пыхтенье, которое, будучи, как и всеобщая бледность, следствием его рассказа, могло Иосифа немного смутить.

Оно и смутило его до некоторой степени, но в том смысле, что все это показалось ему продолжением его сна, странная двойственность которого, радостная его жутковатость и жутковатая радостность, сохранялась и наяву; ибо хотя впечатление, произведенное его рассказом на братьев, было не совсем благоприятно, оно явно оказалось гораздо сильнее, чем Иосиф осмеливался надеяться, и удовлетворение тем, что его рассказ не потерпел неудачи, как он того опасался, уравновешивало его озабоченность.

Это равновесие не нарушилось, когда Иегуда, который, после того как все долго пыхтели и кусали себе губы, выпалил хриплым, гортанным голосом:

— В жизни не слышал более мерзкого вздора!

Ибо и это было, несомненно, выражением некоей, пусть не совсем благоприятной, взволнованности.

Снова воцарились молчание, бледность и закусыванье губ.

— Чучело! Поганый гриб! Воображала! Вонючий хвостун! — заревели вдруг Симеон и Левий. Сейчас они не могли говорить по очереди, вторя друг другу, как то обычно бывало; они кричали одновременно и наперебой, с багровыми лицами, с набухшими на лбу жилами, и тут подтвердился слух, что от гнева у них щетинятся волосы на груди и щетинились, в частности, во время шекемской резни. Да, так оно и было, теперь можно было убедиться в этом воочию: волосы у них на грудной клетке явно стояли дыбом, когда близнецы кричали наперебой бычьими голосами:

— Ах ты негодяй, бахвал, наглый пустобрех и подлец! Мало ли что ты пожелаешь увидеть во сне, за своими веками, а мы еще объясняй да толкуй тебе твою блажь, гадина ты этакая, заноза в теле, камень преткновенья, сноп мерзости?! «Кланяются, кланяются», — ишь о чем размыштался, проныра бесстыжий, и мы, честные люди, должны это выслушивать?! Они все так и валяются кругом, наши снопы, а твой знай стоит! Слышал ли кто-нибудь на свете такую гнусность? Шеол растреклятый, будь ты неладен! Уж не возомнил ли ты себя нашим отцом и царем, потому что ты, ханжа и вымогатель наследства, хитростью завладел кетонетом за спиной старших братьев! Ничего, мы покажем тебе, кому стоять и кому кланяться, мы тебя еще так проучим, что ты назовешь нам свое имя и припомнишь свое бессовестное вранье!

Таков был злобный рев этих неразлучных друзей. Затем все десять вышли из-под навеса и направились в поле, по-прежнему бледные и багровые, с закушенными губами. А Рувим, уходя, сказал:

— Ты это слышал, мальчик.

Иосиф в задумчивости посидел еще несколько мгновений, смущенный и огорченный тем, что братья не поверили в его сон. Это он главным образом и уловил, что они ему не поверили, ибо близнецы все кричали о вранье и обмане. Это огорчило его, и он размышлял, как доказать им, что он не присочинил ни слова и честно рассказал им лишь то, что действительно увидел во сне, находясь среди них. Если бы только они поверили ему, думал он, их досада, которую они сейчас показали, прошла бы; разве не оказал он им братского, искреннего доверия, уведомив их о том, что было показано ему во сне богом, чтобы они разделили его, Иосифа, изумление и радость и вместе с ним обсудили увиденное? Не могли же они злиться на него за ту веру в незыблемость их союза, которая побудила его поведать им мысли бога. Там он, правда, был возвышен над ними, братьями; но ему и в голову не пришло, что из-за этого для них, старших, на которых он в известном смысле смотрел снизу вверх, мысли бога будут невыносимы: слишком большим разочарованием оказалась бы для него такая догадка. Понимая, однако, что весело и неомраченно работать с ними сегодня, во всяком случае, уже, увы, не удастся, он не пошел в поле, а направился домой и, разыскав Вениамина, родного своего братца, сообщил ему, что он рассказал взрослым братьям один относительно скромный сон, такой-то и такой-то; но что они не поверили ему, а близнецы и вовсе пришли в ярость, хотя по сравнению с небесным сном, о котором он не сказал ни слова, сон о снопах просто верх смиренья.

Туртурра был доволен, что речь шла не о неистовом небесном сне, и сам так искренне

порадовался сну о снопах, что Иосиф был вполне вознагражден за несколько превратный успех у старших. Что его, малыша, снопик тоже стоял в кругу и тоже поклонился, это особенно радовало Вениамина, и он прыгал и смеялся от удовольствия — настолько это отвечало его умонастроению.

Совещание

Тем временем десять братьев, столпившись и опираясь на свои орудия, стояли среди поля, под лучами закатного солнца, и в тревоге и ярости держали совет. Сначала — и толчком к этому послужила брань Симеона и Левия — среди братьев царило мнение или, во всяком случае, молчаливая договоренность, что ненавистный Иосиф выдумал свой сон, наврал, когда его рассказывал. Они были рады уцепиться за это предположение, защищавшее их всех внутренне. Но, словно стараясь ничего не упустить в рассужденьях, Иуда указал на возможность того, что мальчик действительно видел такой сон и не лгал; и тогда все не только про себя, но и вслух признали такую возможность и усмотрели внутри ее снова два случая: этот сон, если он действительно приснился, был либо от бога, что представлялось всем, по сути, самой большой катастрофой, либо же не имел к богу никакого отношения и был порожден лишь вопиющим высокомерием этого молокососа, которое, после получения кетонета, непомерно выросло и теперь морочило его такими несносными виденьями. В ходе прений Рувим заявил, что если тут замешан бог, то люди бессильны и остается только молиться — не Иосифу, но господу. Если же сон порожден высокомерием, то можно только пожалеть плечами и махнуть рукой на сновидца и его глупость. Вместе с тем Рувим вернулся к предположению, что мальчик по-детски выдумал сон и поглумился над ними, за что ему следовало бы дать взбучку.

Действительно, предложение Рувима предусматривало взбучку в наказание за лживость. Но так как он вместе с тем рекомендовал пожалеть плечами, то взбучка имелась в виду, разумеется, не очень серьезная, ибо, пожимая плечами, хорошей взбучки не дашь. И все-таки могло показаться странным, что Рувим склонен был принять как раз ту версию, которая, по его же собственному мнению, была связана со взбучкой. Стоило, однако, внимательнее прислушаться к его словам, как складывалось впечатление, что этой логикой он хотел отвлечь братьев от других предположений и склонить их к гипотезе вымышленного сна, опасаясь, что их выводом из предположения о вмешательстве бога будет отнюдь не смирение и молитва, а нечто невообразимо худшее, чем простая взбучка. На самом деле он видел, что они не настроены отделять личное от объективного и ставить свое отношение к Иосифу в зависимость от того, вызван ли его сон пустым высокомерием или же он отражает истинное положение вещей, то есть волю и замыслы бога. Из их речей не было ясно, в котором из этих двух случаев Иосиф показался бы им отвратительнее и гаже — скорее, чего доброго, во втором. Если сон действительно был от бога и являлся знаком избрания, то с богом, конечно, нельзя было спорить, как нельзя было спорить с отцом Иаковом из-за его достопочтенной слабости. Все для них упиралось в Иосифа. Если бог избрал его в ущерб им и заставил их снопы лебезить перед его снопом, то, значит, бог был обманут им, как был им обманут Иаков, и это было следствием того же притворства, каким он подольстился к отцу. Бог был велик, священ и безответствен, но Иосиф был гадина. Ясно (и Рувиму это тоже было ясно), что их представление об отношениях Иосифа с богом как нельзя точнее совпадало с тем, какое было на этот счет у самого Иосифа: оно виделось им таким же, как его отношения с отцом. Да иначе и не могло быть, ибо только одинаковые предпосылки рожают настоящую ненависть.

Ре'увим боялся такого направления мыслей; поэтому он не пытался оправдать Иосифа, допустив, что сон был ниспослан ему богом, а стал уговаривать их поверить в то, что

Иосиф наврал, и проучить лжеца, хотя и пожимая плечами. В действительности пожимать плечами он был склонен не больше других. Трепет, о котором первым заикнулся прямодушный Гад и который теперь ощущали не только четыре сына служанок, но все десятеро, трепет, который шел от таких глубоких, врожденных, обычно дремавших, но сейчас разбуженных и растревоженных, таких жутких, отдававших преданьем и пророчеством ассоциаций, как обмен первородством, владычество над миром и подвластность братьев, — этого трепета в душе Рувима было, может быть, больше, чем у кого-либо, только у него, в отличие от других, он перерождался не в смутную злость на виновника щемящей подавленности, а в столь же смутное умиление болтливой невинностью избранника и в изумленное благоговение перед судьбой.

— Не хватает только, чтобы он сказал «согнулись», — сквозь стиснутые зубы процедил Гаддиил.

— Он сказал «кланялись», — заметил костлявый Иссахар, который, в сущности, любил покой, ради него многое сносил и сейчас ухватился за мелочь, как-никак умиротворяющую.

— Это я знаю, — отвечал Гад. — Но, во-первых, он мог сказать так только из хитрости, а во-вторых, все равно это гнусно.

— Нет, разница все-таки есть, — возразил Дан из въедливости, которая была неотъемлема от его образа и которую он из благочестивой верности этому образу не упускал случая проявить. — «Кланяться» — это не совсем то же самое, что «согнуться», и, говоря между нами, это несколько менее резкое слово.

— Какое там! — закричали Симеон и Левий, полные решимости продемонстрировать свою дикость и глупость при любом удобном и неудобном случае.

Дан и некоторые другие, в их числе Рувим, стояли на том, что «кланяться» — слово менее сильное, чем «согнуться». Когда человек «кланяется», говорили они, трудно сказать, происходит ли это по внутреннему побуждению или, что вероятнее, представляет собой внешний, пустой жест. К тому же «кланяются» только один раз или время от времени; «согнуться» же можно в душе надолго и навсегда, откровенно смиряясь перед обстоятельствами, и следовательно, как разъяснил Рувим, можно из хитрости «поклониться», по существу не «согнувшись», но можно и «согнуться», будучи при этом слишком гордым, чтоб «поклониться». Иегуда возразил, что практически это различие исчезает, ибо речь идет о сне, а во сне «поклоны» — это не что иное, как образное выражение того состояния, которое Рувим обозначает словом «согнуться». Снопы во сне, конечно, не так горды, чтобы не «поклониться», если уж тем, кто вязал их, суждено «согнуться». Тогда юный Завулон заметил, что вот они и занялись как раз тем, чего бесстыдно требовал от них Иосиф и до чего они отнюдь не намеревались снисходить, а именно — толкованием позорного сна; его слова вызвали у всех великую досаду, и под крики Симеона и Левия, что все это болтовня и вздор, что оскорбленные не должны ни кланяться, ни сгибаться, а должны положить конец всему, что их оскорбляет, как это они сделали в Шекеме, — совещание тотчас же прекратилось без каких-либо других последствий, кроме неутоленной злости.

Солнце, луна и звезды

А Иосиф? Не подозревая, какие муки доставил десятерым братьям его сон, он беспокоился только о том, что они ему не поверили, и поэтому хотел только одного —

заставить их поверить, поверить и в подлинность его сна, и в его вещую правдивость. Как этого добиться? Он ломал себе голову, задаваясь этим вопросом, и позднее сам удивлялся, что не он нашел ответ, а этот ответ был ему дан, пришел сам собой. Ему просто снова приснился сон, собственно тот же самый, но в куда более пышном виде, отчего это подтверждение было гораздо убедительнее, чем если бы только повторился сон о снопах. Он увидел этот новый сон ночью, под открытым звездным небом, на току, где он часто в то время ночевал с несколькими братьями и рабами, карауля еще не обмолоченный и не убранный в ямы хлеб; мы отнюдь не пытаемся объяснить происхождение сновидений, отмечая, что созерцание перед сном небесных светил могло повлиять на характер его сна, а близость (ибо они спали рядом) некоторых из тех, кого он хотел убедить, могла втайне оказать весьма возбуждающее действие на его орган сна. Упомянем даже, что в этот день он вел со стариком Елиезером под деревом наставленья ученую беседу о конце света, где речь шла о суде над миром и благословенной поре, о конечной победе бога над всеми темными силами, которым так долго кадили народы: о торжестве спасителя над языческими царями, звездными силами и богами зодиака, которых он согнет, свергнет и заключит в преисподнюю, чтобы стать достоуважаемым самовластным правителем мира... Это и приснилось Иосифу, но приснилось настолько сумбурно, что во сне он по-детски спутал и отождествил эсхатологического божественного героя с собой, сновидцем, и фактически увидел себя, мальчика Иосифа, владыкой и повелителем всего зодиакального круговорота мира, вернее, не увидел, а ощутил, — ибо в этом сне не было уже никакой удобоописуемой наглядности, и в рассказе о нем Иосиф вынужден был довольствоваться самыми простыми и скупыми словами, передать лишь внутреннюю сущность пережитого, не описывая его как процесс, что отнюдь не способствовало доступности изложения.

И способ поделиться пережитым озаботил его сразу, когда он проснулся ночью, счастливый тем, что обрел такое веское доказательство достоверности предыдущего сна. Заботил его прежде всего вопрос о том, дадут ли ему вообще братья возможность оправдаться, то есть разрешат ли они ему рассказать еще один сон, — это казалось ему сомнительным. Уже и в первый раз они порывались с самого начала или даже еще раньше отказать ему в своем внимании. Насколько же больше приходилось опасаться этого теперь, когда результат их любопытства оказался для них не таким уж приятным.

Поэтому нужно было предотвратить их отказ, и уже ночью, на току, Иосиф придумал, как это сделать. Наутро он, по своему обыкновению, пошел к отцу, ибо ежеутренне Иакову не терпелось увидеть его, заглянуть ему в глаза, удостовериться в его благополучии и благословить на день, и сказал:

— Доброго тебе утра, папочка, князь божий! Вот и новый день родила ночь, я думаю, он будет совсем теплый. День следует за днем, как жемчужины нанизываются на нитку, и дитя довольно жизнью. А в эту пору жатвы она ему особенно улыбается. В поле сейчас хорошо и работать и отдыхать, и люди сближаются в дружном труде.

— То, что ты говоришь, приятно моему слуху, — отвечал Иаков. — Стало быть, вы ладите между собой на току и в поле и мирно живете в господа, братья и ты?

— Мы живем превосходно, — сказал Иосиф. — Если не считать мелких неурядиц, которые неизбежно приносит с собой день и родит раздробленность мира, все идет как по маслу; ведь прямодушным словом, пусть иногда несколько грубым, недоразуменья улаживаются, и тогда снова царит согласие. Я бы хотел, чтобы папочка убедился в этом воочию. Ты никогда не бываешь в поле, и у нас часто сожалеют об этом.

— Я не люблю полевых работ.

— Разумеется, разумеется. И все-таки жаль, что люди не видят хозяина и за ними нет глаза, тем более что на наемников нельзя положиться. Недавно, например, мой брат Иегуда доверительно пожаловался мне, что обычно они скверно затачивают колесики молотилки, и те только мнут, а не режут колосья. Вот что бывает, когда хозяин не показывается.

— Я должен, кажется, признать твой упрек справедливым.

— Упрек? Упаси господь мой язык! Это всего лишь просьба, которую от имени одиннадцати осмеливается высказать отпрыск. И тебе вовсе не следует участвовать в нашей работе, в служенье земле, в труде бааловском, никто этого от тебя не требует, — о нет, ты поделишь с нами только славный наш отдых, когда мы, сыновья одного отца и четырех матерей, укрывшись от вершинного солнца в тени и преломив хлеб, заведем по своему обычаю дружную беседу и каждый расскажет что знает — кто потешную небылицу, кто сон. В такие часы мы часто, бывало, толкали друг друга локтем и, кивая головами, говорили, как приятно было бы нам видеть нашего отца и владыку в своем кругу.

— Я навещу вас как-нибудь.

— О радость! Навести нас сегодня же, окажи честь своим сыновьям! Работа уже идет к концу — нельзя терять времени. Итак, сегодня, — решено? Я ничего не скажу красноглазым и не проболтаюсь сыновьям служанок, пусть у них будет неожиданная радость. Одно лишь дитя будет знать, кому они обязаны ею и кто тот преданный хитрец, который все так тонко устроил.

Вот что придумал Иосиф. И действительно, в полдень того же дня Иаков сидел с сыновьями под навесом в поле, осмотрев предварительно ямы для зерна и проверив прикосновением большого пальца остроту колес находившейся на току молотилки. Братья были очень смущены. Все последние дни сновидец не присоединялся к ним в часы отдыха. Теперь он снова был тут как тут: лежал, положив голову на колени отца. Ясно было, что Иосифа не могло не быть здесь, если к ним явился отец, спрашивалось только, что привело вдруг сюда старика. Они сидели довольно натянуто и молча, одетые, из уваженья к его убеждениям, самым благоприличным образом. Иаков удивлялся отсутствию той здоровой задушевности, которая, по словам Иосифа, была свойственна этому часу. Возможно, что ее подавляла почтительность. Даже Иосиф был молчалив. Он боялся, хотя лежал на коленях отца, чье присутствие страховало его и развязывало ему язык. Иосиф был не на шутку озабочен своим сном и успехом своего сна. Его содержание исчерпывалось несколькими словами, к которым решительно нечего было прибавить. Если Гад, например, спросит, все ли это, ему, Иосифу, придется скверно. Краткость имела то преимущество, что можно было выложить все одним духом, не дав никому опомниться и прервать тебя. Но великолепная в известной мере скупость рассказа легко могла лишить его впечатляющей силы. Сердце у Иосифа стучало.

Он чуть не упустил случай проделать задуманное, ибо царившая под навесом скука грозила преждевременным окончанием полуденного отдыха. Но даже такая угроза, вероятно, не поборола бы справедливой его нерешительности, если бы Иаков не успел добродушно осведомиться:

— Кажется, я слышал, что в этот час, сидя в тени, вы рассказываете друг другу всякие побасенки и сны?

Они смущенно промолчали.

— Да, побасенки и сны! — взволнованно воскликнул Иосиф. — Как они, бывало иной раз, легко слетали у нас с языка! Никто не знает чего-нибудь нового? — дерзко спросил он братьев.

Они пристально поглядели на него и промолчали.

— А я кое-что знаю, — сказал он, приподнимаясь с колен отца с сосредоточенным видом. — Я знаю сон, который приснился мне на току этой ночью. Сейчас вы услышите его, отец и братья, и удивитесь. Мне снилось, — начал он и запнулся. Он весь как-то странно изменился, затылок и плечи судорожно съежились, руки вывернулись в суставах. Он опустил голову, и улыбка, появившаяся на его губах, хотела, казалось, скрасить и извинить внезапную белизну его закатившихся глаз. — Мне снилось, — повторил он, задыхаясь, — я видел во сне... вот что я видел. Я видел, что солнце, луна и одиннадцать кокабимов мне прислуживали. Они пришли и склонились передо мной.

Никто не шевельнулся. Иаков, отец, строго потупил взгляд. Стояла тишина; но в тишине возник недобрый, тайный и все же явственно различимый шорох. Это скрежетали зубами братья. Большинство их скрежетало зубами, не размыкая губ. Но Симеон и Левий даже оскалили зубы.

Иаков слышал этот скрежет. Слышал ли его также Иосиф, трудно сказать. Он улыбался скромной и задумчивой улыбкой, склонив к плечу голову. Он высказался, и пусть они теперь поступают как им угодно. Солнце, луна и звезды, одиннадцать звезд, ему прислуживали. Пусть они призадумаются.

Иаков робко взглянул на сыновей. Он увидел то, чего ждал: десять пар глаз были яростно и настойчиво устремлены на него. Он овладел собою, собрался с духом. Резко, как только мог, сказал он за спиной мальчика:

— Иегосиф! Что за сон приснился тебе и что это значит, что такие сны тебе снятся и ты рассказываешь нам подобную чепуху? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе? Мать твоя умерла — вот тебе первая нелепость, но далеко не последняя. Стыдись! По человеческому разуменью, то, что ты нам преподнес, до того несуразно, что с таким же толком ты мог бы просто пробормотать «авласавлалакавля». Я разочарован в душе своей тем, что в свои семнадцать с лишним лет, несмотря на все просвещение твоего ума премудрой письменностью, возложенное мною на Елиезера, старшего моего раба, ты все еще не преуспел в разумении бога, коль скоро тебе снятся такие недостойные сны и ты выставляешь себя хвастуном перед отцом и братьями. Вот тебе мое наказание! Я наказал бы тебя строже и, может быть, даже больно оттащил тебя за волосы, не будь болтовня твоя слишком ребяческой, чтобы оскорбить более зрелого и заставить степенного строго тебя проучить. Прощайте, сыновья Лии! Да будет вам трапеза впрок, сыновья Зелфы и Валлы!

С этими словами он встал за спиной Иосифа и ушел. Его укоризненная речь, произнести которую вынудили его взгляды сыновей, далась ему нелегко, и оставалось только надеяться, что она удовлетворила мальчишек. Если в ней был подлинный гнев, то вызван он был тем, что Иосиф не поверил свой сон ему одному, а оказался настолько глуп, что взял братьев в свидетели. Если бы он задался целью поставить отца в неловкое положение, то ничего лучшего, думал Иаков, он не сумел бы сделать. Это он, Иаков, еще скажет ему с глаза на глаз, так как сейчас не мог сказать ему этого, отлично видя, что присутствием братьев этот плут воспользовался для защиты от него, а его присутствием — для защиты от братьев. По дороге домой он с трудом подавлял улыбку умиленного восхищения маленьким этим предательством, мелькавшую в его бороде. И хотя в его порицаниях слышалась и неподдельная тревога о душевном здоровье «дитяти»,

озабоченность его склонностью к мечтательным сновиденьям и исступленным пророчествам, то все же и это беспокойство, и этот страх были лишь слабыми чувствами по сравнению с той нежно-благоговейной удовлетворенностью, которой наполнило его нескромное виденье Иосифа; самым безрассудным образом он просил бога, чтобы этот сон исходил от него, — что представляло собой совершенно нелепую просьбу, если бог, как то, вероятно, и было, не имел к нему отношенья, — и готов был проливать слезы любви при мысли, что это подлинные, обернувшиеся сновиденьем предчувствия будущего величия, которые по невинности, не сознавая всей их важности, выболтало дитя. Слабый отец! Ему впору было рассердиться, услышав, что и он, и все они придут молиться на этого бездельника. Слышать это было ему неловко, — ибо разве он не молился на него?

Что касается братьев, то едва Иаков удалился, они тоже тронулись все, как один, в поле. Сделав в ярости шагов двадцать, они остановились для короткого, взволнованного совещания. Говорил большой Рувим: он сказал им, что теперь делать. Прочь отсюда — и только. Уйти всем вместе от отцовского очага в добровольное изгнание. Это, сказал Рувим, будет достойная и убедительная демонстрация, единственно возможный с их стороны ответ на подобное безобразие. Прочь от Иосифа, думал он, чтобы не случилось беды. Но этого он не сказал, сумев представить предложенную им меру только как гордый, наказующий протест.

В тот же вечер они пришли к Иакову и заявили ему, что уходят. Там, где снятся подобные сны и где можно рассказывать их, рискуя разве что быть оттасканным за волосы, и то лишь на худой конец, — там, сказали они, им нечего делать, и они там не останутся. Уборка, сказали они, с дюжей их помощью закончена, и теперь они направятся в Шекем — не только шестеро, но также и четверо, то есть вдесятером; луга Шекема прекрасны и тучны, и с неизменной, хотя и не вознагражденной преданностью они будут пасти там стада отца, а на хевронском стойбище их впредь не увидят; ибо там снятся совершенно оскорбительные для чести сны. На прощанье, сказали братья, они благоговейно склоняют головы и сгибаются в поклоне (так они и сделали) перед Иаковым, своим отцом. Им нечего бояться, что они причинят ему боль или хотя бы огорчат его своим уходом, ибо известно, что Иаков, их господин, отдаст десятерых за одного.

Иаков опустил голову. Не начал ли он опасаться, что необузданность чувства, которой он подражательно упивался, вызывает неудовольствие в резиденции образца?

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

«ПОЕЗДКА К БРАТЬЯМ»

Предъявление требования

Сказано было: Иаков склонил голову, когда обиженные сыновья простились с отцовским очагом, и с тех пор он редко ее поднимал. Наступившее тогда время года, время палящего, иссушающего землю зноя — ибо приближался день, когда солнце идет на убыль, и хотя как раз в эту пору, в месяце Таммуза, праведная подарила ему некогда Иосифа, душа Иакова обычно изнывала от безотрадной испепеленности этой четверти круговорота — время года могло, стало быть, способствовать его подавленности и помочь ему объяснить ее самому себе. Истинной причиной его угнетенности была, однако, единодушная демонстрация сыновей, их уход, о котором, впрочем, нельзя было

сказать, что он причинил Иакову такую уж острую боль — это было бы преувеличением; в душе он действительно отдавал «десятерых за одного», но другое дело было совершить это в действительности, считаясь с возможностью, что уход братьев из общины будет окончательным и что он, Иаков, оставшись с двумя сыновьями вместо двенадцати, уподобится дереву, с которого осыпались листья. Это, во-первых, наносило ущерб его представительности, но, кроме того, такая перспектива повергала его в тревожное смущение перед богом; ибо он задавался вопросом, сколь велика ответственность, которую он теперь взваливал на себя перед планирующим владыкой обетованья. Разве господь, за которым будущее, благоразумно не воспрепятствовал тому, чтобы все шло только по воле Иакова и чтобы он был плодовит в одной лишь Рахили? Разве он не умножил его вопреки его воле хитростью Лавана и разве все они, в том числе сыновья нелюбимых, не были плодами благословения и носителями необозримого? Иаков прекрасно понимал, что избранье им Иосифа есть неумно-своенравное и глубоко личное пристрастие, которому достаточно было, из-за своих последствий, прийти во вредное противоречие с неопределенно далекими замыслами бога, чтобы оказаться преступной заносчивостью. А так оно, кажется, и получалось: ибо хотя непосредственным поводом к разрыву была глупость Иосифа, на которого Иаков за это горько сетовал, он сознавал, что именно он, Иаков, и никто другой, в ответе за эту глупость перед богом и перед людьми. Споря с Иосифом, он спорил с самим собой. Если случилась беда, то мальчик был только средством, а виною всему было любящее сердце Иакова. Что толку было скрывать это от себя? Бог это знал, а от бога не скроешься. Уважать правду — таково было наследие Авраама, а это означало только одно — не закрывать глаза на то, что известно богу.

Таковы были раздумья, занимавшие Иакова в послеуборочную пору и определившие его решенья. Его сердце учинило зло; он должен был заставить себя сделать изнеженный предмет своей слабости, который был средством к недоброму, также и средством возмещения ущерба, предъявив к нему для этого кое-какие требованья и обойдясь с ним, чтобы наказать и его и собственное сердце, — посуровее. Поэтому, увидев издали мальчика, он окликнул его довольно резко:

— Иосиф!

— Вот я! — отвечал тот и подошел сразу. Он был рад, что его позвали, так как после ухода братьев отец мало с ним говорил, а от той последней встречи и у него, глупца, осталась полная предчувствий неловкость.

— Послушай, — сказал Иаков, по каким-то причинам напустив на себя рассеянность, задумчиво моргая глазами и собирая бороду в горсть, — если я не ошибаюсь, то все твои старшие братья пасут сейчас скот в долине Шекема?

— Да, — отвечал Иосиф, — я тоже это припоминаю, и если память меня не обманывает, они собирались все вместе податься к Шекему, чтобы ходить там за твоими стадами, что там пасутся, ибо луга там куда как тучны, а эта долина уже непоместительна для твоего скота.

— Да, так оно и есть, — подтвердил Иаков, — и позвал я тебя вот зачем. Я не получаю вестей от сыновей Лии и ничего не знаю о сыновьях служанок. Мне неизвестно, как там идут дела, помогло ли благословение Ицхака летнему окоту или же мои стада разоряют пуча и гниль в печени. Я не знаю, как там живут мои дети, братья твои, мирно ли пасут они скот в округе, где некогда, помнится, разыгрывались тягостные истории. Это меня беспокоит, и из-за этого-то беспокойства я и решил послать тебя к ним, чтобы ты передал им привет от меня.

— Вот я! — воскликнул Иосиф снова. Он сверкнул перед отцом белыми зубами и в знак полной своей готовности ударил, почти подпрыгнув, пятками оземь.

— По моим расчетам, — продолжал Иаков, — тебе идет уже восемнадцатый год, и пора уже обойтись с тобой посуровее и проверить, насколько ты возмужал. Поэтому я и решил послать тебя в эту поездку, отпустив от себя ненадолго к братьям, чтобы ты расспросил их обо всем, чего я не знаю, и, вернувшись ко мне с божьей помощью дней через девять-десять, все рассказал мне.

— Но ведь вот же я! — восхитился Иосиф. — Замыслы отца, милого моего господина, — это золото и серебро! Я совершу путешествие по стране, я навещу братьев и послежу за порядком в долине Шекема, это же сущее удовольствие! Ничего лучшего я и сам не пожелал бы себе!

— Ты не должен, — сказал Иаков, — следить за тем, чтобы у твоих братьев все было в порядке. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим следить за порядком, и для этого им не нужно дитя. Ты должен просто учтивейше поклониться им и сказать: «Я провел несколько дней в пути, чтобы приветствовать вас и спросить, как вы живете-можете, — и по собственной воле, и по указу отца, ибо тут наши желанья совпали».

— Дай мне осла Пароша! Он длинноног, вынослив и очень широк в кости, чем напоминает брата моего Иссахара.

— Это свидетельствует о твоём возмужании, — помолчав, отвечал Иаков, — если ты радуешься поездке и не считаешь особой для себя тяготой отлучиться от меня на несколько дней, так что луна превратится из серпа в полукруг, а я тебя все это время не буду видеть. Не забудь, однако, сказать братьям: «Отец этого хотел».

— Ты дашь мне Пароша?

— Хоть я и намерен обойтись с тобой посуровее, сообразно твоему возрасту, осла Пароша я тебе все-таки не дам, ибо он упрям и ум его не соответствует его резвости. Гораздо больше тебе подойдет белая Хульда, животное ласковое, осторожное и тоже достаточно красивое, чтобы тебе не стыдно было показаться людям, на ней ты и поедешь. А чтобы ты почувствовал, что я чего-то от тебя требую и чтобы братья тоже это почувствовали, ты поедешь отсюда в долину Шекема один. Я не дам тебе слуг и не пошлю Елиезера сопровождать тебя. Нет, поезжай самостоятельно, на свой страх, а братьям скажи: «Я приехал навестить вас один, на белом осле, так хотел отец». И, возможно, что возвращаться ко мне тебе уже не придется в одиночестве, что братья, некоторые или все, поедут с тобой. Во всяком случае, это требование предъявляется к тебе и с такой задней мыслью.

— Это уж я устрою, — обещал Иосиф, — я непременно верну их тебе и готов даже поручиться, что без них не вернусь!

Бездумно сболтнув это, Иосиф стал, приплясывая, кружить отца и славить Иа за то, что ему выпало счастье совершить самостоятельное путешествие и поглядеть на мир. Затем он побежал к Вениамину и к старику Елиезеру поделиться с ними новостью. А Иаков, качая головой, поглядел ему вслед; он видел, что если сейчас и предъявляется какое-то требование, то предъявляется оно к нему самому, и что если он с кем и обходится сурово, то только с самим собой. Но разве это не было в порядке вещей, разве не хотела этого ответственность его сердца за Иосифа? Он не увидит мальчика много дней, и это казалось ему достаточным искупленьем своей вины; он не обращался к сновиденьям и понятия не имел о том, какой смысл вкладывался в слова «сурово обойтись» в высшей

резиденции. Он не исключал неуспеха поездки Иосифа, допуская, что тот может вернуться без братьев. Ужасающе обратное ему и в голову не приходило, об этом заранее, страхуя себя, позаботилась судьба. Так как все происходит иначе, чем можно предполагать, року очень мешают заблаговременные человеческие спасенья, подобные заклинанию. Поэтому он сковывает опасное воображение, и оно предвосхищает все, что угодно, только не рок, который, не будучи, таким образом, отвращен догадливой мыслью, сохраняет свою стихийную, свою разящую силу во всей полноте.

Во время мелких приготовлений, которых требовала поездка Иосифа, Иакова одолевали глубокомысленные воспоминания о поворотных днях минувшего, о том, как он сам был услан из отчего дома добывшей ему благословение Ревеккой, и душу его наполняло торжественное чувство возврата прошлого. Надо сказать, что сопоставление это было опрометчиво: ведь его роль не выдерживала сравнения с ролью Ревекки, отважной матери, которая сознательно пожертвовала своим сердцем, подстроив обман, поставивший все на свои места, и затем, сознавая вероятность вечной разлуки, отпустила своего любимца на чужбину. Эта тема варьировалась теперь иначе. Иосифа тоже, правда, вынуждала уйти из дома ярость обиженных братьев, однако он не бежал от их ярости, а Иаков, так сказать, отдавал его в руки Исаву: сцена у Иавока — вот к чему он стремился, вот что спешил повторить, сцена у Иавока, внешнее унижение, поверхностный, с грехом пополам, с оговорками, мир, попытка хоть как-то прикрыть вечную уже рознь и мнимо уладить то, чего уладить нельзя. Степенно-мягкий Иаков был очень далек от деятельной, берущей на себя все последствия решительности Ревекки. Единственной целью, которую он преследовал, усылая Иосифа, было восстановление прежнего, хотя и явно шаткого положения; вряд ли можно усомниться в том, что с возвращением десяти братьев беспросветно возобновилась бы и неизбежно привела к тем же результатам старая игра, складывавшаяся из слабости Иакова, слепой заносчивости Иосифа и смертельной ожесточенности братьев.

Как бы то ни было, любимый сын уезжал из-за раздора между братьями, а уж это-то было возвратом прошлого, и, ратуя о дальнейшем сходстве, Иаков назначил отъезд Иосифа на раннее утро, потому что так было когда-то. В нем почти ничего не оставалось от Иакова при этом прощании; он был, скорее, Ревеккой, матерью. Он долго не отпускал сына, бормотал благословения, прижавшись к его щеке, снял с себя охранную ладанку и повесил ее на шею отбывавшему, снова прижал его к себе и вообще вел себя так, словно Иосиф уезжал неведомо на какой срок или даже навсегда, пускаясь в семнадцатидневное, а то и более долгое странствие в чужедальную страну Нахараим, хотя мальчик, в избытке снабженный съестными припасами, собирался, к величайшему своему удовольствию, совершить короткую и безопасную поездку в близкий Шекем. Из этого видно, что человек ведет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на его поведение в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным. Это может послужить утешеньем тогда, когда наше сознание прояснится и мы узнаем, что имелось в виду. Поэтому людям никогда не следовало бы легко прощаться друг с другом, чтобы при случае можно было все-таки сказать себе: по крайней мере, я успел еще прижать его к сердцу.

Незачем добавлять, что это прощание в утро отъезда, возле навьюченной, украшенной пестрым сольником и бисером Хульды, было лишь последним актом, которому предшествовало множество советов, напутствий и предостережений: Иаков насколько мог точно описал мальчику дорогу и места привалов, по-матерински предостерег его от перегрева и простуды, назвал ему имена тех людей и единоверцев, у которых тот мог в разных местах пути переночевать, строго-настрого запретил ему, когда он достигнет места Урусалим и увидит у бааловского храма жилища посвященных, которые там служат Ашере, вступать с ними в какие-либо разговоры и прежде всего действительно

наказал ему быть отменно учтивым с братьями: невредно было бы, так он наставил его, если бы Иосиф семь раз пал перед ними ниц и как можно чаще называл их своими господами, — тогда они, вероятно, решат поладить с ним и не сторониться его всю свою жизнь.

Многое из этого Иаков-Ревекка повторил при последнем прощании, прежде чем позволил мальчику вскочить на ослицу и, щелкнув языком, тронуться на полночь. Продолжая говорить, он даже пошел рядом с полной утренней резвости Хульдой, но вскоре, не поспевая за ней, остановился с большей, чем пристало бы, тяжестью на душе. Поймав последний блик белозубой улыбки сына, он протянул к нему поднятую руку. Затем поворот дороги скрыл от него всадника, и он больше уже не видел Иосифа, который отправился к братьям.

Иосиф едет в Шекем

А тот, невидимый уже отцовскому глазу, но вполне благополучно пребывая там, где он был, сидел на самом крестце осла и в нежных лучах утреннего солнца, с лихо откинутым туловищем и вытянув вперед стройные, смуглые ноги, ехал рысью через горы, по дороге на Бет-Лахем. Его настроение целиком соответствовало очевидным обстоятельствам, и если отец вел себя при прощании несообразно им, то он принял это с веселой снисходительностью избалованного любовью сына, нисколько не тяготясь сознанием, что при этой первой разлуке он обманул отцовскую заботливость.

Иаков дал подробнейшее напутствие сыну, не забыв никаких наставлений и предостережений; одно лишь он упустил из виду, об одной лишь крайне необходимой предосторожности забыл он из-за какого-то странного и не совсем простительного заскока памяти предупредить юношу и не вспомнил о ней до тех пор, пока предмет, которого должна была коснуться эта острастка, не предстал его глазам самым ужасным образом: он не приказал ему оставить дома кетонет пассив, и, хитро промолчав, Иосиф этим воспользовался. Он взял покрывало с собой. Ему так хотелось показаться в нем миру, что он буквально дрожал от страха, что в последнюю минуту отец вспомнит об этом запрете, и мы допускаем даже, что в этом случае он бы обманул старика, сказав ему, что священное одеяние лежит в ларе, тогда как в действительности оно было спрятано в его поклаже. На спине его ослицы, трехлетней молочно-белой Хульды, чудесного животного, умного и услужливого, хотя и склонного к безобидным проказам, обладавшего тем трогательным юмором, какой подчас обнаруживают бессловесные твари, с бархатными, выразительными ушами и забавно-мохнатой челкой, доходившей до больших веселых и добрых глаз, уголки которых слишком скоро обсели мухи, — на спине Хульды, по обоим бокам, висели разные предметы дорожного обихода и съестные припасы: козий мех с кислым молоком на случай жажды, закрытые корзины и глиняные горшки с манными и фруктовыми пирогами, жареным зерном, соленьями, огурцами, печеным луком и свежими сырами. Все это и многое другое, предназначенное для подкрепления путника и в подарок братьям, отец тщательно осмотрел и не заглянул только в один выюк, представлявший собой самую распространенную исстари дорожную принадлежность. Это был круглый кусок кожи, служивший во время еды скатертью или, вернее, столешницей, обшитый по краю металлическими кольцами. Им пользовались даже бедуины пустыни, и именно они ввели его в обиход. Через кольца они продевали веревку и в виде сумы навьючивали этот обеденный стол на верблюда или осла. Так поступил и Иосиф, и в этом полустоле-полукошеле, к воровской его радости, лежал кетонет.

Для чего же принадлежал он ему и был им унаследован, если в нем нельзя было покрасоваться в поездке? Вблизи отчего дома встречавшиеся на дорогах и в полях люди

знали Иосифа и радостно окликали его по имени. Но поодаль, после нескольких часов пути, там, где люди уже не знали его, приятно было показать им не только богатыми своими припасами, что всадник, которого они видят перед собой, человек знатный. Поэтому, тем более что и солнце уже поднялось, он вскоре извлек этот ослепительный убор и, прихотливо накинув его, покрыл им голову, так что миртовый венок, который он обычно носил, покоился у него теперь не на волосах, а на окаймлявшем лицо покрывале.

В этот день он не достиг того места, ради которого так нарядился и где, по настойчивому наказу Иакова, да и по собственному побуждению, собирался задержаться, принести жертву и помолиться. Однако от Бет-Лахема, где он переночевал у одного из друзей Иакова, верившего в бога плотника, до этого места оставался всего один переход. На другое утро, простившись со своим гостеприимцем, его женою и подмастерьями, он быстро туда доехал, и Хульда ждала у подпертой шестом шелковицы, покамест Иосиф, в наследственном наряде невесты, творил свои молитвы и возлияния у камня, который некогда воздвигли у этой дороги, чтобы камень напоминал богу о том, что он, бог, однажды здесь совершил.

Среди виноградников и скалистых пашен было по-утреннему тихо, и движение по урусалимской дороге еще не началось. Ветерок бездумно играл лоснящейся листвою шелковицы. Округа молчала, и молча приняло место, где Иаков похоронил когда-то Лаванову дочь, дары и знаки молитвенного благоговения ее сына. Он поставил у камня воду, положил рядом хлеб с изюмом, поцеловал землю, в которую ушла эта полная готовности жизнь, и выпрямился, чтобы, воздев руки, обратив к небу унаследованные от ушедшей глаза и губы пробормотать формулы благочестивой почтительности. Ничто не ответило из глубины. Прошедшее молчало, обреченное на равнодушие, неспособное встревожиться. Единственным, что осталось от него здесь, был он сам, одетый в ее брачный наряд и обративший к небу ее глаза. Неужели материнское начало не могло воззвать к нему и предостеречь его из его собственной плоти и крови, где оно сохраняло жизнь? Нет, там оно было сковано слепым, избалованным мальчишеством и не могло говорить.

И поэтому Иосиф весело продолжал свой путь по дорогам и горным тропам. Это была самая успешная поездка на свете; никакой неудачей, никаким непредвиденным происшествием не омрачалось ее благополучие. Не то чтобы земля скакала ему навстречу; но она услужливо расстилалась перед ним и радостно приветствовала его глазами и устами людей, где бы он ни появлялся. Его давно уже не знали лично, но его тип чрезвычайно популярен в этих краях, и, не в последнюю очередь благодаря чудесному покрывалу, внешность его вызвала у всех, кто его видел, расположение и радость, особенно у женщин. Они сидели, кормя грудью младенцев, у залитых солнцем, саманных, ноздреватых оград деревень, и удовольствие, которое доставляло им кормление детей, усиливалось видом красивого и прекрасного путника.

— Будь здоров, свет очей! — кричали они ему. — Благословенна та, что родила такое сокровище!

— Доброго здоровья! — отвечал, обнажая зубы, Иосиф. — Пусть твой сын будет владыкой над многими!

— Сердечная тебе благодарность! — кричали они ему вдогонку. — Да хранит тебя Астарот! Ты похож на одну из ее газелей!

Ибо все они почитали Ашеру и только и думали о служении ей.

Иные, опять-таки благодаря его покрывалу, но также и из-за обильных его припасов,

принимали его прямо-таки за бога и выказывали намерение помолиться ему. Но это случалось только на открытой равнине, а не в обнесенных стенами городах, называвшихся Бет-Шемеш, Кириаф-Аин, Керем-Баалат, или еще как-нибудь в этом роде, у прудов и ворот которых он беседовал с местными жителями, вскоре окружавшими его многолюдной толпой. Ибо он поражал их ценимой горожанами образованностью; рассуждая о божественных чудесах чисел, о вечности, о тайнах маятника и народах земного круга или рассказывая им, чтобы польстить им, о блуднице из Урука, приобщившей к цивилизации лесного дикаря, он делал это с таким словесным изяществом, что слушатели его сходились во мнении, что ему в пору быть мацкиром какого-нибудь князя города или же напоминальщиком какого-нибудь царя.

Он блеснул знанием языков, приобретенным с помощью Елиезера, поговорив под воротами по-хеттски с уроженцем Хатти, по-митаннийски с одним северянином и обменявшись несколькими египетскими фразами с одним скототорговцем из Дельты. Знал он не так уж много, но человек умный управится с десятком слов ловчее, чем глупец с сотней, и он ухитрялся произвести если не на собеседника, то на тех, кто слушал их разговор, впечатление потрясающе одаренного, не знающего никаких затруднений полиглота. Одной женщине он истолковал у колодца приснившийся ей страшный сон. Ей привиделось, будто ее сынок, трехлетний мальчик, стал вдруг больше ее самой и у него выросла борода. Это означает, сказал Иосиф, на мгновение закатив глаза, что ее сын скоро покинет ее и она увидит его лишь через много лет, взрослым и бородатым... Поскольку эта женщина была очень бедна и не исключено было, что ей придется продать своего сына в рабство, толкование Иосифа показалось довольно правдоподобным, и люди подивились тому соединению красоты и мудрости, которое олицетворял собой этот юный путник.

То и дело люди приглашали его погостить у них день-другой. Но он нигде не задерживался дольше, чем того требовала простая приветливость, и по возможности придерживался намеченного отцом распорядка. Из трех ночей, разделявших четыре дня его поездки, он провел еще одну в доме у некоего Абисаи, серебряных дел мастера, который когда-то гостил у Иакова и хотя не служил богу Авраама безоговорочно и безраздельно, относился к этому богу с большим сочувствием и, занимаясь изготовлением идолов из лунного металла, оправдывался тем, что надо же ему в конце концов жить. В этом Иосиф, как человек светский, с ним согласился и переночевал под его крышей. Третью из этих коротких ночей он провел под открытым небом, расположившись в смоковной роще: ибо из-за отчаянной жары он отдыхал днем и добрался до третьей стоянки так поздно, что не захотел проситься в дом. То же самое произошло с ним и под конец, когда он был уже почти у цели. Из-за жары он и на четвертый день в самые знойные часы отдыхал и, выспавшись днем под деревьями, тронулся в путь только к вечеру, так что началась уже вторая ночная стража, когда он очутился в узкой долине Шекема. Но если дотоле его поездка протекала преблагополучно, то теперь началась какая-то чертовщина, — с того часа, как он въехал сюда и при свете луны, что плыла по небу еще долбленной ладьей, увидел стены, крепость и храм города на склоне горы Гаризим, — с этого мига все шло уже кувырком, так что Иосиф готов был связать эту игру и прихоть судьбы с человеком, который встретился ему ночью, не доезжая Шекема, и в последние перед этой полной переменой мгновенья навязался ему в попутчики.

Человек в поле

Сказано, что некто нашел его блуждающим в поле. Но как понимать здесь «блуждающим»? Неужели отец потребовал от него слишком многого и юный Иосиф

оказался настолько незадачлив, что сбился с дороги и заблудился? Отнюдь нет. Блуждать не значит заблудиться, и ищущему вовсе не нужно сбиваться с дороги, чтобы ничего не найти. В долине Шекема Иосиф провел несколько лет своего детства, и местность эта не была ему незнакома, хотя узнавал он ее как бы впросонье, тем более что стояла ночь и луна светила тускло. Он не заблудился, он искал; и так как он не находил того, что искал, поиски его превратились в блуждание в темноте. Среди ночного безмолвия, ведя под уздцы свою ослицу, бродил он по волнистой равнине лугов и пашен, на которую глядели едва различимые при свете звезд горы, и думал: где же могут быть братья? Ему попадались, правда, овечьи загоны, где стоя спал скот; но было неизвестно, Иаковлевы ли это овцы, а людей кругом не было — тишина стояла поразительная.

Вдруг он услышал голос: его спрашивал человек, чьих шагов у себя за спиной он не слышал, но который догнал его и оказался с ним рядом. Иди он навстречу Иосифу, тот бы спросил его; а так незнакомец не дал спросить себя и спросил сам:

— Кого ты ищешь?

Он спросил не «Чего ты здесь ищешь?», а сразу «Кого ты ищешь?», и возможно, что отчасти эта решительность вопроса определила довольно ребяческий и необдуманный ответ Иосифа. К тому же голова у мальчика изрядно устала, и он так обрадовался встрече с человеком среди этой окаянной ночи блужданий, что тотчас же, только потому, что это был человек, сделал его объектом простодушно-ласкового и нелогичного доверия. Он сказал:

— Я ищу своих братьев. Скажи мне, милый человек, прошу тебя, где они пасут скот?

«Милый человек» не подсадовал на наивность этого вопроса. Как бы не замечая ее, он не стал указывать ищущему на недостаточность его данных. Он ответил:

— Во всяком случае, не здесь и не поблизости.

Иосиф в замешательстве поглядел на него сбоку. Он видел его довольно хорошо. Незнакомец не был еще настоящим мужчиной, он был лишь на несколько лет старше Иосифа, но выше его ростом, пожалуй, даже долговяз; одет он был в холщовую, без рукавов, рубаху, мешковато подобранную поясом, чтобы не мешать при ходьбе коленям, и в короткий, накинутый на одно плечо плащ. Голова его, покоившаяся на несколько раздутой шее, казалась по сравнению с ней маленькой, каштановые волосы, падая наискось, закрывали часть лба до надбровья. Нос у него был большой, прямой и крепкий, расстояние между носом и маленьким красным ртом очень незначительно, а углубление под нижней губой настолько плавно и велико, что подбородок выдавался каким-то шарообразным плодом. Он несколько жеманно склонил голову к плечу и через плечо, сверху вниз, с вялой вежливостью глядел на Иосифа довольно красивыми, но лишь едва открытыми глазами, тем сонливо-туманным взглядом, какой появляется у человека, когда он перестает моргать. Руки у него были округлые, но бледные и довольно дряблые. Он носил сандалии и опирался на палку, которую явно сам вырезал себе на дорогу.

— Во всяком случае не здесь? — повторил мальчик. — Как же так? Ведь уходя из дому, они вполне определенно сказали, что направляются к Шекему. Ты их знаешь?

— Поверхностно, — отвечал спутник. — Насколько это необходимо. Нельзя сказать, чтобы я был с ними очень близок, о нет. Зачем ты их ищешь?

— Потому что отец послал меня к ним передать им привет и последить у них за порядком.

— Скажи на милость. Значит, ты посыльный. Я тоже посыльный. Я часто шагаю со своим посохом по чьему-либо поручению. Но кроме того, я проводник.

— Проводник?

— Да, конечно. Я провожаю путников и указываю им дорогу, это мое ремесло, и поэтому я и заговорил с тобой и задал тебе вопрос; я увидел, что ты ищешь напрасно.

— Кажется, ты знаешь, что моих братьев здесь нет. Но знаешь ли ты, где они?

— Думаю, что да.

— Так скажи мне!

— Тебе очень хочется к ним?

— Конечно, мне хочется добраться до цели, а цель моя — братья, к которым послал меня отец.

— Ну что ж, я ее укажу тебе, твою цель. Когда я в прошлый раз проходил здесь по своим посыльным делам, я слышал, как братья твои говорили: «Пойдемте для разнообразия к Дофану с частью овец!»

— К Дофану?

— А почему бы и не к Дофану? Так им вздумалось, так они и сделали. Пастбища в долине Дофана сочные, а люди, что живут там на холме, любят торговать; они покупают жилы, молоко и шерсть. Почему ты удивляешься?

— Я не удивляюсь, ничего удивительного тут нет. Но это невезенье. Я был уверен, что найду братьев здесь.

— Ты, видимо, не знаешь, — спросил незнакомец, — что не всегда все делается по твоему желанию? Ты, по-моему, маменькин сынок.

— У меня вообще нет матери, — возразил Иосиф недовольно.

— У меня тоже, — сказал незнакомец. — Значит, ты папенькин сынок.

— Оставь это, — ответил Иосиф. — Посоветуй-ка лучше, что мне теперь делать.

— Очень просто. Поехать в Дофан.

— Но сейчас ночь на дворе, и мы устали, Хульда и я. До Дофана отсюда, насколько мне помнится, больше одного перехода. Если ехать не торопясь, уйдет день.

— Или ночь. Поскольку ты днем спал под деревьями, ты можешь воспользоваться ночью, чтобы добраться до места.

— Откуда ты знаешь, что я спал под деревьями?

— Прости, я это видел. Я проходил со своим посохом мимо того места, где ты лежал, и оставил тебя позади. А теперь я нашел тебя здесь.

— Я не знаю дороги в Дофан, а ночью мне и подавно ее не найти, — пожаловался Иосиф. — Отец не описал мне ее.

— Радуйся же, что я тебя нашел, — отвечал незнакомец. — Я проводник и могу, если хочешь, тебя проводить. Я укажу тебе дорогу в Дофан совершенно безвозмездно, ибо все равно иду туда по своим посыльным делам, и, если тебе угодно, проведу тебя кратчайшим путем. Мы сможем по очереди ехать на твоём осле. Красивое животное! — сказал он, оглядывая Хульду едва открытыми своими глазами, вяло-пренебрежительный взгляд которых не вязался с его замечанием. — Такое же красивое, как и ты. Вот только бабки у твоего осла слабоваты.

— Хульда, — сказал Иосиф, — и Парош — лучшие ослы в стойлах Израиля. Никто не находил, что у нее слабые бабки.

Незнакомец поморщился.

— Лучше бы, — сказал он, — ты мне не перечил. Это неразумно по многим причинам, например, потому, что тебе нужна моя помощь, чтобы добраться до братьев, а во-вторых, я старше тебя. Ты не можешь не согласиться с этими двумя доводами. Если я говорю: у твоего осла хрупкие бабки, значит, они хрупкие, и незачем тебе защищать их, словно ты сделал этого осла. Ведь подойти к нему и назвать его — это все, что ты можешь. Кстати, поскольку мы заговорили об имени, я попросил бы тебя не называть при мне Израилем доброго Иакова. Это неприлично, и меня это раздражает. Называй его настоящим именем и воздержись от высокопарных прозвищ!

Приятным этого человека никак нельзя было назвать. Его вялая, снисходительная вежливость могла, казалось, по непонятным причинам в любой миг перейти в раздраженную мрачность. Эта склонность к дурному настроению противоречила его готовности помочь блуждавшему и в известной мере ее обесценивала, заставляя думать, что она не соответствует внутренним побуждениям. Может быть, он просто хотел воспользоваться ослом случайного попутчика, чтобы облегчить себе путешествие в Дофан? Действительно, первым поехал верхом он, а Иосиф зашагал рядом. Обиженный запрещением называть отца Израилем, Иосиф сказал:

— Но ведь это его почетное звание, которое он завоевал у Иакова, одержав нелегкую победу!

— Мне смешно, — отвечал незнакомец, — что ты говоришь о победе, когда ни о какой победе вообще не может быть речи. Хороша победа, после которой всю жизнь хромаешь на бедро свое, а если даже и получаешь имя, то совсем не того, с кем боролся. Впрочем, — сказал он вдруг и сделал весьма странное движение глазами: он не только раскрыл их, но быстро и как бы косясь, поворачивал ими, — впрочем, я ничего не имею против, называй себе отца Израилем — пожалуйста. На то есть основания, и я возразил тебе просто так, не подумав. Кстати, — добавил он, еще раз поворачивая глазами яблоками, — я, оказывается, сижу на твоём осле. Если хочешь, я слезу, а ты поедешь верхом.

Станный человек. Похоже было, что он раскаивался в своей нелюбезности, но его раскаяние, как и его готовность помочь, не казалось ни полноценным, ни искренним. Иосиф же был неподдельно любезен, считая вообще, что на странное поведение лучше всего отвечать повышенной любезностью. Он сказал:

— Поскольку ты меня ведешь и по доброте своей указываешь мне дорогу к братьям, ты вправе пользоваться моим ослом. Прошу тебя, оставайся в седле, мы поменяемся

местами позднее! Ты весь день шел пешком, а я мог при желании ехать.

— Большое спасибо, — отвечал юноша. — Слова твои, правда, всего лишь дань вежливости, но все-таки большое тебе спасибо. Я временно лишен некоторых дорожных удобств, — добавил он, пожимая плечами. — Доставляет ли тебе удовольствие быть гонцом и посыльным? — спросил он затем.

— Я очень обрадовался, когда отец позвал меня, — ответил Иосиф. — А чей посыльный ты?

— Ах, мало ли гонцов снует по этой земле между могучими державами на юге и на востоке, — отвечал молодой человек. — Кто, собственно, тебя послал, тебе невдомек; поручение передается из уст в уста, и нет смысла выяснять, откуда оно исходит, ты должен шагать, и дело с концом. Сейчас мне нужно доставить в Дофан письмо, — сказал он, — которое лежит у меня вот здесь, за пазухой. Но похоже, что мне придется стать еще и сторожем.

— Сторожем?

— Ну да, никто не поручится, что мне не придется сторожить, к примеру, колодец или еще что-нибудь. Посыльный, проводник, сторож — занятие зависит от случая и от обстоятельств тех, кто тебя нанимает. Доставляет ли это тебе удовольствие и считаешь ли ты, что ты создан для этого, — вопрос другой, и я не стану его касаться. Как и вопроса о том, по душе ли тебе изначальный умысел, которому ты обязан полученным поручением. Этих вопросов я, повторяю, затрагивать не буду, но, говоря между нами, дело свое делаешь с непонятным интересом. Ты любишь людей?

Он спросил это без всякого перехода, однако его вопрос не поразил Иосифа; ибо вся вяло-брюзгливая речь его проводника выдавала в нем субъекта, надменно недовольного людьми и тяготящегося необходимостью заниматься среди них своими делами.

— Мы обычно улыбаемся друг другу, люди и я.

— Да, потому что ты, как известно, красив и прекрасен, — сказал проводник. — Поэтому-то они и улыбаются тебе, а ты в ответ улыбаешься им, чтобы они утвердились в своей глупости. Лучше бы ты корчил кислую рожу и говорил им: «Чему вы улыбаетесь? Эти волосы самым жалким образом выпадут, да и эти белые зубы тоже; эти глаза только студень из крови и воды, они вытекут, а вся эта пустая красота тела увянет и позорно исчезнет». Тебе следовало бы отрезвляюще напоминать им о том, что они и сами знают, но о чем рады забыть в услужливо улыбающемся мгновенья. Такие созданы, как ты, — это не что иное, как мимолетный, пылью в глаза, обман, мешающий видеть внутреннее безобразие всякой плоти, скрытое под ее поверхностью. Я не хочу сказать, что сама оболочка, кожа, так уж аппетитна со своими порами, испареньями и потными волосками; но стоит слегка поцарапать ее, и выступит соленая, бесстыдно красная жижа, а уж глубже плоть и вовсе ужасна, там одни потроха и вонь. Красивое и прекрасное должно быть красивым и прекрасным насквозь, состав его должен быть сплошь благородным, в нем не должно быть места слизи и грязи.

— В таком случае, — сказал Иосиф, — ты должен обратиться к литым и резным изваяньям, например, к прекрасному богу, которого женщины прячут среди зеленых деревьев, а потом с плачем ищут, чтобы похоронить в пещере. Он сплошь красив и сделан целиком из масличного дерева, в нем нет крови, и он не смердит. Но чтобы казалось, что он не сплошь однороден, а истекает кровью, растерзанный клыками кабана, они размалевывают его красными ранами и обманывают самих себя, чтобы поплакать о

драгоценной жизни. Так уж устроено: либо жизнь — обман, либо красота. Действительного сочетания красоты с жизнью ты нигде не найдешь.

— Гм! — сказал проводник и, сморщив свой круглый, как плод, подбородок, полузакрытыми глазами, через плечо, сверху вниз, поглядел на Иосифа, шагавшего рядом с ослом.

— Нет, — добавил он после некоторого молчания, — что ты ни говори, это скверное отродье, оно пьет нечестье, как воду, и давно уже заслуживает нового потопа, только без ковчега.

— Насчет нечестья ты прав, — отвечал Иосиф. — Но согласись, что на свете все двойственно, что каждая вещь, различия ради, имеет свою противоположность, и не будь наряду с одним другого, не было бы ни того, ни другого. Без жизни не было бы смерти, без богатства — бедности, и не будь на свете глупости, кто бы стал говорить об уме? Но ведь точно так же, это совершенно ясно, обстоит дело с непорочностью и порочностью. Нечистая тварь говорит чистой: «Ты должна быть мне благодарна, ибо, не будь меня, откуда бы ты знала, что ты чиста, и кто стал бы тебя так называть?» А нечестивец праведнику: «Пади мне в ноги, ибо, не будь меня, в чем состояло бы твое преимущество?»

— В том-то и дело, — сказал незнакомец, — вот в том-то и дело, что я не одобряю его в корне, этот мир двойственности, и не понимаю интереса к отродью, о чистоте которого можно говорить только с оглядкой на прошлое и только в порядке сравнения. Но всегда приходится помнить о них, и всегда с ними связываются неведомые какие великие замыслы, и ради куцега их будущего правится такое, что просто слов нет. Вот и тобой, кошель с ветром, мне приходится править, чтобы ты достиг своей цели, — ну, разве это не скучно!

«Вот брюзга, зачем же он направляет меня, если это ему так тягостно? — думал Иосиф. — Ведь глупо же притворяться услужливым, а потом ворчать. Конечно, ему только и нужно было поехать верхом. Он мог бы уже, собственно, спешиться, мы же собирались ехать по очереди. А рассуждает он совсем по-человечески», — подумал он и про себя усмехнулся над этой привычкой людей бранить человеческую природу, исключая при этом самих себя, и судить о людях так, словно они сами не люди. Поэтому он сказал:

— Вот ты говоришь о роде людском и судишь о том, из какого скверного теста он сделан. А ведь было время, когда даже дети бога считали это тесто достаточно доброкачественным и входили к дочерям человеческим, и от этого рождались исполины и богатыри.

Жеманным движением проводник повернул голову к тому своему плечу, которое было обращено к Иосифу.

— Ишь какие истории ты знаешь! — хихикнув, ответил он. — Должен тебе сказать, что для своих лет ты недурно разбираешься в былом. Я лично считаю эту историю чистейшим вздором. Но если она правдива, то я могу тебе сказать, почему дети света так поступали, почему они обратились к дочерям Каина. Они сделали это из величайшего презрения, да, да. Знаешь ли ты, до чего дошла порочность дочерей Каина? Они ходили нагишом и совокуплялись, как скот. Их распутство на столько перешло все границы, что на него уже невозможно было безучастно глядеть, — не знаю, поймешь ли ты это. Не признавая никакой меры, они сбрасывали с себя одежды и голыми выходили на рынок. Если бы они вообще не знали стыда, тогда дело другое, тогда их вид не взволновал бы так детей света. Но они-то хорошо знали стыд, благодаря богу они были даже очень стыдливы, и в том-то и состояла их радость, что они попирали свой стыд ногами — как же можно было

тут устоять? Мужчины открыто, прямо на улицах, соединялись со своими матерями и дочерьми, с женами своих братьев, и на уме у них было в общем только одно — омерзительная радость поруганного стыда. Как же это могло не взволновать детей бога? Они были совращены презрением — способен ли ты это понять? Исчез последний остаток их уваженья к этому племени, которое им посадили на шею, словно миру недостаточно было их самих, и которое, ради высших интересов, они должны были уважать. Они увидели, что человек создан единственно для непотребства, и их презрение приняло любострастный характер. Если ты этого не понимаешь, ты просто теленок.

— На худой конец я могу это понять, — ответил Иосиф. — Но откуда ты, собственно, это знаешь?

— А своего Елиезера ты тоже спрашиваешь, откуда он знает то, чему тебя учит? Былое я знаю не хуже, чем он, и, может быть, даже чуточку лучше, ибо, будучи посыльным, проводником и сторожем, поневоле вращаешься в мире и многое узнаешь. Могу тебя заверить, что потоп в конце концов потому лишь последовал, что презрение сынов неба к людям облеклось любострастием: это решило дело; иначе потопа, может быть, никогда и не было бы, и я добавлю только, что дети света как раз и задавались целью вызвать потоп. Но потом, увы, появился ковчег, и человек снова вошел в мир с черного хода.

— Порадуемся же этому, — сказал Иосиф. — В противном случае мы не могли бы, болтая, держать путь в Дофан и поочередно, как договорились, пользоваться ослом.

— Да, в самом деле! — ответил незнакомец и снова, кося, повращал глазами. — За болтовней я все забыл. Ведь я же должен направлять и охранять тебя, чтобы ты добрался до своих братьев. Кто, однако, важнее — охраняющий или охраняемый? Не без горечи отвечаю: охраняемый; ибо не он для охраняющего, а охраняющий для него. Поэтому я сейчас слезу с осла, и ты поедешь, а я буду рядом месить пыль.

— Могу только согласиться с тобой, — сказал Иосиф, садясь на осла. — Ведь это же чистая случайность, что ты хоть время от времени едешь верхом, а не месишь пыль всю дорогу.

Так, под звездами, при тусклом свете луны, продвигались они на север от Шекема к Дофану, то по узким, то по широким долинам, то по крутым, поросшим кедром и акацией горам, мимо спящих деревень. Иосиф тоже временами засыпал, когда он сидел на осле, а его провожатый месил пыль. Проснувшись однажды в седле — дело было уже на рассвете, — он заметил, что среди вьюков недостает двух небольших корзинок — с вялеными фруктами и с печеным луком, и увидел, что пазуха его провожатого соответственно раздулась. Незнакомец воровал! Это было неприятное открытие, показавшее, сколь мало было у того оснований, понося род человеческий, делать для себя исключение. Иосиф не сказал ни слова, тем более что в беседе он сам защищал нечестье ради его противоположности. К тому же ведь этот человек был вожатым, а стало быть, служил Набу, владыке той западной точки круговорота, где начинается преисподняя половина вселенной, богу воров. Напрашивалось предположение, что он совершил некий благочестивый обряд, обокрав своего спящего подопечного. Поэтому Иосиф ни словом не обмолвился о замеченном, отнесясь с уважением к нечестности незнакомца, которая могла быть свидетельством его благочестия. Но все-таки было очень неприятно обнаружить, что провожатый явно крадет. Это бросало тень на характер и конечную цель его путеводительства, и у Иосифа осталась какая-то тяжесть на сердце.

Вскоре, однако, случилось нечто худшее, чем воровство. За полями и лесами взошло солнце, и показался зеленый холм Дофана: он высился перед ними чуть правее, селенье находилось на его вершине. Иосиф, который как раз ехал верхом, в то время как вор вел осла в поводу, загляделся на холм. Вдруг он почувствовал резкий толчок и упал. Тут-то

оно и случилось: Хульда угодила передним копытом в яму, у нее подсклились ноги, и она никак не могла подняться. Она сломала бабку.

— Перелом! — сказал проводник, после того как оба быстро осмотрели ногу ослицы. — Вот видишь! Разве я не говорил, что у нее слишком тонкие бабки?

— Если ты даже и оказался прав, то перед лицом этого несчастья тебе не следовало бы радоваться, и вообще твоя правота сейчас уже не имеет значения. Ты вел Хульду неосторожно, вот она и оступилась.

— Ах, вот оно что, я был неосторожен, и ты винишь во всем меня? Да, так принято у людей: им непременно нужен виновный, если что-то не заладилось, — это можно было сказать наперед!

— Но и это тоже принято у людей — настаивать на том, что ты предсказывал беду, и бессмысленно торжествовать по этому поводу. Будь доволен, что я виню тебя только в неосторожности; я мог бы обвинить тебя и еще кое в чем. Ты напрасно посоветовал мне ехать всю ночь напролет; мы не переутомили бы Хульду, и умное это животное не споткнулось бы.

— Уж не думаешь ли ты, что от твоего нытья ее бабка заживет?

— Нет, — сказал Иосиф, — этого я не думаю. Но теперь мне снова приходится спросить тебя — что мне делать? Не могу же я оставить здесь своего осла со всеми припасами, которыми я собирался одарить братьев от имени Иакова. Их еще много, хотя кое-что я уже съел, а кое-что исчезло иным образом. Неужели оставить здесь Хульду, чтобы она мучительно издыхала, а полевое зверье тем временем пожирало мое добро? Я готов заплакать от огорчения.

— А ведь я снова сумею тебе помочь, — сказал незнакомец. — Не говорил ли я тебе, что при случае, когда в том бывает нужда, я становлюсь и сторожем? Ступай себе преспокойно! Я останусь здесь охранять твоего осла, а также съестные припасы и не допущу к ним ни птиц, ни разбойников. Считаю ли я, что я был для этого создан, вопрос особый, который сейчас не подлежит обсуждению. Как бы то ни было, я посижу здесь стражем при осле, покуда ты не придешь к своим братьям и не вернешься с ними или с рабами, чтобы взять свое добро и решить, лечить ли осла или прикончить его.

— Спасибо, — сказал Иосиф. — Так мы и поступим. Я вижу, ты самый настоящий человек и у тебя есть свои хорошие стороны, а о другом говорить не будем. Я постараюсь как можно скорее вернуться с людьми.

— Полагаюсь на это. Здесь не заблудишься: за холм, потом назад в долину шагов пятьсот через кусты и клевер, — и ты увидишь своих братьев — неподалеку от колодца, в котором нет воды. Припомни, не нужно ли тебе взять с собой что-нибудь из поклажи? Может быть, какой-нибудь головной убор для защиты от солнца, которое уже поднимается?

— Твоя правда! — воскликнул Иосиф. — От неудачи я совсем потерял голову! Этого я здесь не оставлю, — сказал он, извлекая кетнет из кожаного кошелья с кольцами, — даже на твое попечение, какие бы у тебя ни были хорошие стороны. Это я возьму с собой в долину Дофана, чтобы явиться к братьям все же в достойном виде, если уж не верхом на белой Хульде, как того хотел Иаков. Сейчас я при тебе закутаюсь в это покрывало — вот так, — так, — и пожалуй, еще вот так! Каково? Не пестрый ли я овчар в этом наряде? Покрывало Мами — к лицу ли оно сыну?

О Ламехе и его рубце

Между тем Лиины сыновья и сыновья служанок, все десять, сидели в долине за холмом у догоревшего костра, на котором они варили утреннюю похлебку, и глядели на золу. Все они давно уже вышли из полосатых своих палаток, стоявших поодаль в кустарнике: поднялись они в разное время, но все очень рано, а иные даже затемно, потому что им не спалось; им редко спалось всласть с тех пор, как они покинули Хеврон, и жажда перемен, заставившая их сменить шекемские выгоны на поля Дофана, шла не от чего другого, как от обманчивой надежды, что в другом месте они будут спать слаще.

Хмурые, нет-нет да спотыкаясь одеревенелыми ногами об узловатые, расплзшиеся по земле корни дрека, они сходили к колодцу, находившемуся поодаль, где паслись овцы, в котором была живая вода, тогда как ближайшая к шатрам цистерна в это время года пересыхала и была пуста; они напились, умылись, сотворили молитву, осмотрели ягнят, а потом собрались на том месте, где обычно ели: в тени нескольких красноствольных, развесистых сосен. Отсюда открывался широкий вид на плоскую, испещренную лишь кустами да одинокими деревьями равнину, на холм, увенчанный селеньем Дофан, на далекие скопища овец и на мягкие очертания гор совсем уж вдали. Солнце поднялось довольно высоко. Пахло согретыми травами, укропом, чабрецом, и слышались все прочие, любимые овцами запахи поля.

Сыновья Иакова, поджав под себя ноги, сидели вокруг еле теплившегося под котлом хвороста. Они давно уже покончили с едой и сидели праздно, с красноватыми глазами. Тела их насытились, но их души снедали голод и иссушающая жажда, которых они не сумели бы выразить словом, но которые отравляли им сон и сводили на нет то подкрепление, какое могла бы доставить им утренняя еда. У них, у каждого в отдельности, застряла в теле заноза, и занозы этой нельзя было вытащить, она досаждала им, мучила их и донимала. Они чувствовали себя разбитыми, и у большинства из них болела голова. Когда они пытались сжать кулаки, у них ничего не получалось. Когда те, кто учинил некогда в Шекеме побоище из-за Дины, спрашивали себя, хватило ли бы у них духа на такие дела теперь, сегодня и здесь, они отвечали себе: нет, не хватило бы; эта тоска, этот червь, эта докучливая заноза, этот гложущий душу голод лишали их сил и мужества. Каким позорным должно было казаться такое состояние прежде всего Симеону и Левию, буйным близнецам! Один хмуро ворошил своим посохом последние головешки. Другой, Симеон, раскачивая туловище, негромко затянул в тишине однозвучную песню, и другие стали постепенно вполголоса ему подпевать, ибо это была старинная песня, отрывок полузабытой, не полностью сохранившейся баллады для эпопеи давних времен:

Ламех, богатырь, двух жен себе взял,
Аду жену и Циллу жену.
«Ада и Цилла, послушайте песнь,
Послушайте, жены, слово мое.
Мужчину убил я; меня он обидел.
Юнца уложил я: рубец мне оставил,
Семерицей за зло отверстался Каин,
А Ламех семьдесят раз и семь!»

Ни того, о чем говорилось в песне до этого места, ни того, что следовало за ним, они не знали и вскоре умолкли. Но они были еще во власти отзвучавшего напева и мысленно видели, как богатырь Ламех, в доспехах, исполненный гордого пыла, возвращается домой после содеянного и сообщает согнувшимся перед ним женам, что он омыл свое

сердце. Видели они и убитого лежащим на кровавой траве: не очень-то виноватый, он был искупительной жертвой вспылчивой гордости Ламеха. Сильное слово «мужчина» складно чередовалось с нежным «юнец», и этот прелестный, истекший кровью «юнец» вызывал сострадание. Во всяком случае, оно пристало бы женщинам. Аде и Цилле, хотя только усиливало бы их благоговенье перед той неподкупно-кровожадной мужественностью и взыскательной мстительностью Ламеха, которая издревле упорно определяла дух этой песни.

— Ламех звали его, — сказал Лиин Левий, кроша посохом обуглившийся хворост. — Как он вам нравится? Я спрашиваю об этом потому, что мне он очень и очень нравится. Это был парень доброй закваски, настоящий человек, львиное сердце, теперь таких нет. Теперь такие остались разве что в песнях, и когда поешь, отводишь душу, думая о былых временах. Этот приходил к своим женам с омытым сердцем, и когда он навещал их, одну за другой, — такой он был сильный, — они знали, кому они отдаются, и трепетали от страсти. Разве так приходишь ты. Иуда, к дочери Шуи, а ты. Дан, к своей моавитянке? Объясните же мне, что стало с человечеством, почему оно родит теперь только умников да святош, а не настоящих мужчин?

Ему ответил Рувим:

— Я тебе скажу, что отнимает у человека его месть и делает нас непохожими на богатыря Ламеха. Тут две причины. И закон Вавилона, и рвение бога — оба говорят: месть за мной. Месть нужно отнять у человека, иначе она, по порочной своей похотливости, будет буйно плодиться, и мир утонет в крови. Какова была участь Ламеха? Ты этого не знаешь, потому что песня об этом уже не сообщает. Но у юноши, которого он убил, был брат или сын, и тот убил Ламеха, чтобы напоить землю и его кровью, а кто-то из чресел Ламеховых, в свою очередь, убил из мести убийцу Ламеха, и так продолжалось до тех пор, покуда не перевелось на свете и семя Ламеха и семя первоубитого и насытившаяся земля не закрыла наконец своей пасти. Но ведь это же беда, если месть порочно плодится и сладу с ней нет. Поэтому, когда Каин убил Авеля, бог пометил убийцу своим знаком, чтобы показать, что тот принадлежит ему, и сказал: кто его убьет, тому отомщу семерицей. А Вавилон учредил суд, чтобы судить людей за смертоубийство и не позволить мести тянуть за собой новую месть.

На это сын Зелфы Гад со свойственной ему прямоотой возразил:

— Ты, Рувим, говоришь таким тонким голосом, что каждый раз поражаешься, глядя на твое могучее тело. Будь у меня твоя сила, я не говорил бы, как ты, и не защищал бы тех принесенных временем перемен, что расслабляют богатырей и лишают мир львиных сердец. Где гордость твоего тела, если ты говоришь таким тонким голосом и препоручаешь месть богу или суду? Неужели тебе не стыдно перед Ламехом, который, бывало, говорил: «Это дело касается нас троих — меня, моего обидчика и земли»? Каин сказал Авелю: «Разве бог утешит меня, если Наэма, милая наша сестра, примет твои подарки и улыбнется тебе? Или, может быть, это суд должен определить, чьей она будет? Я родился первым, и значит, она моя. Ты ее близнец, и значит, она твоя. Этого не решит ни бог, ни Нимродов суд. Пойдем в поле и порешим дело!» И они порешили дело, и я за Каина — это так же верно, как то, что я здесь сижу, Гаддиил, сын Зелфы, которого она родила на колени Лиин!

— Что касается меня, — сказал Иегуда, — то пусть я не зовусь впредь молодым львом, как меня именует народ, если я тоже не за Каина, а еще больше — за Ламеха. Клянусь честью, этот знал себе цену! «Семерицей? — сказал он. — Как бы не так! Я Ламех, я плачу за зло семидесятисемикратным злом, и вот он лежит, шлопай, в расплату за мой рубец!»

— Что же это был за рубец, — спросил Иссахар, костлявый осел, — и в чем же провинился этот несчастный юнец перед богатырем Ламехом, если тот не доверил мести богу или Нимроду, а собственноручно, и притом с лихвой отомстил?

— Это неизвестно, — ответил ему сводный его брат Неффалим, сын Валлы. — В чем состояла дерзость юнца, никто не знает, и что именно смыл его кровью Ламех, мир уже успел забыть. Но я слышал, что в наше время мужчины проглатывают куда более мерзкие оскорбления, чем то, которое было нанесено Ламеху. Я слышал, что они проглатывают их, жалкие трусы, и подаются в какое-нибудь другое место, где их так мутит от проглоченной обиды, что они не могут ни есть, ни спать, и увидь их Ламех, которым они восхищаются, он поддал бы им ногою под зад, потому что большего они не стоят.

Он сказал это ехидной скороговоркой, с перекошенным лицом. Близнецы крякнули и попытались сжать кулаки, но у них ничего не вышло. Завулон сказал:

— Все дело в Аде и Цилле, женах Ламеха. Ада виновата, поверьте моему слову. Это она родила Иавала, родоначальника тех, кто живет в шатрах и разводит скот, предка Аврама, Ицхака и кроткого нашего отца Иакова. Вот откуда гибель и порча, вот почему мы уже не мужчины, а, пользуясь твоими, брат Левий, словами, умники и святоши, словно нас, не приведи боже, оскостили серпом! О да, будь мы охотниками или, того лучше, моряками, все было бы иначе. Но с Иавалом, сыном Ады, в мире появились благочестивое шатролюбие, пастушеский быт и Аврамовы размышления о боге. Это отняло у нас силу, и вот уже нам страшно причинить боль почтенному своему отцу, и вот уже большой Рувим говорит: мечь за богом. Но разве можно положиться на бога и на его справедливость, если он пристрастен к одной из спорящих сторон и через посредство мерзейших снов внушает дерзость ничтожному юнцу? Мы не можем ничего предпринять, — вскричал он с таким страданием, что у него даже голос сорвался, — если они от бога и нам суждено согнуться!

— Но против сновидца-то мы можем кое-что предпринять, — с такой же мукой вскричал Гад, — чтобы сны, — добавил Асир, — лишились хозяина и не знали, как сбыться!

— Все равно, — возразил Ре'увим, — это значило восстать против бога. Ведь это одно и то же — выступить против сновидца или против бога, коль скоро сны от бога.

Он употребил прошедшее время и сказал не «значит», а «значило», в знак того, что этот вопрос исчерпан.

После него заговорил Дан. Он оказал:

— Выслушайте меня внимательно, братья, ибо Дана называют змеем и аспидом и он, благодаря некоторому своему хитроумию, годится в судьи. Рувим действительно прав: расправившись со сновидцем, чтобы сны лишились хозяина и стали бессильны, мы, конечно, навлечем на себя гнев тех, кто признает только свой произвол, и не избежим мести несправедливых, этого нельзя отрицать. Но на это, говорит Дан, следует пойти, ибо ничего не может быть хуже, чем исполнение снов. А так оно будет во всяком случае предотвращено, и как бы ни бесновались поборники произвола, сны напрасно будут искать того, кому они приснились. Надо поставить всех перед совершившимся событием, как учит прошлое. Разве Иаков не пострадал за свой обман, разве он не хлебнул горя на службе у Лавана за горькие слезы Исава? Однако он все это вынес, ибо самое главное, благословение, он все-таки получил и надежно укрыл, и никакой бог, при всем своем желании, не мог тут уже ничего поделывать. Ради доброго исхода дела надо вынести и слезы, и мечь, ибо то, что надежно укрыто, того не...

На этом скончалась его речь, начавшаяся весьма хитроумно. Но Рувим ответил, и странно было видеть могучего этого человека столь бледным:

— Ты высказался, Дан, и теперь помолчи. Ведь мы же ушли оттуда и простились с отцовским очагом. То, что нас злило, надежно укрыто, да и мы сами надежно укрыты в Дофане, в пяти днях пути оттуда, вот вам и совершившееся событие.

После этих речей все они опустили головы, опустили их низко, почти до колен, которые выдавались вперед, так как сидели они на пятках, и, сгорбившись, застыли вокруг погасшего костра десятью сгустками тоски.

Иосифа бросают в колодец

Асир, однако, сын Зелфы, которому любопытство не изменяло даже в печали, нет-нет да окидывал глазами округу, бросая косые взгляды поверх колен. И вот он заметил вдали какую-то серебристую блеску, которая исчезла было, но сразу же сверкнула опять, и, вглядевшись, увидел сперва две, а потом и множество таких блесков, вспыхивавших то порознь, то одновременно, в разных точках, но все-таки близко одна от другой.

Асир толкнул в бок Гада, родного своего брата, сидевшего рядом с ним, и указал ему пальцем на эти пляшущие вспышки, чтобы тот помог ему их понять. Покуда оба всматривались в даль, затеняя глаза рукой и обмениваясь вопросительными взглядами, остальные обратили внимание на их беспокойство; те, кто сидел спиной к холму, повернулись; следя за глазами соседа каждый начинал смотреть туда же, куда и тот, и вот уж все, подняв головы, глядели на приближавшуюся в сиянье фигуру.

— Какой-то мужчина идет и сияет, — сказал Иуда.

Несколько мгновений они выжидательно вглядывались в даль, а фигура эта росла, и тогда Дан сказал:

— Скорее — юнец.

И в тот же миг смуглые лица их стали такими же бледными, как уже раньше лицо Рувима, а сердца застучали, как барабаны, дружно и часто, и мертвая тишина наполнилась глухой музыкой этой бешеной дроби.

Иосиф шагал по равнине, в пестрой одежде, с венком на окутавшем голову покрывале, прямо на них.

Они не верили себе. Вдавлив большие пальцы в щеки, прижав остальные ко рту и упершись локтями в колени, они сидели и выпученными глазами глядели на приближавшийся призрак. Они и надеялись, и боялись, что это им снится. Полные ужаса и надежды, многие отказывались понять, что происходит, даже тогда, когда прибывший улыбнулся им с такого близкого расстояния, что никаким сомненьям уже не могло быть места.

— Да, да, привет вам! — сказал он своим голосом и подошел к ним. — Поверьте же своим глазам, милые братья! По наказу отца я приехал к вам на ослице Хульде, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке, и чтобы...

Он смущенно осекся. Они сидели безмолвно и неподвижно, вытаращив глаза, зловеще

заколдованной группой. Они сидели, и хотя это не был ни час утренней, ни час вечерней зари, которая могла бы окрасить их лица, лица их становились багровы, как витые стволы деревьев у них за спиной, багровы, как пустыня, темно-багровы, как звезда на небе, а из глаз их, казалось, вот-вот брызнет кровь. Он попятился. Тогда раздался громopodobный рев, бычий рык близнецов, от которого сотрясались внутренности, и с протяжным криком ярости, ненависти и облегчения, вырвавшимся словно бы из одной измученной груди, с полным торжествующего отчаянья «а-а», все десять вскочили, остервенев, одновременно и бросились на него.

Они напали на него, как нападает на свою добычу стая голодных волков; их озверелая кровожадность была безудержна и безоглядна, судя по их виду, они хотели разорвать его не меньше, чем на четырнадцать кусков. Разорвать, изорвать, сорвать — это и в самом деле было их главным и сокровенным желанием.

«Снять, снять, снять!» — кричали они, задыхаясь, — имелся в виду кетонет, разноцветное платье, покрывало, — это его нужно было снять, хотя в такой свалке снять его было трудно: оно обвивалось вокруг туловища и было закреплено на голове и на плечах, а их было слишком много для одного простого действия; они путались друг у друга в ногах, отталкивали один другого от шатавшегося и падавшего от побоев Иосифа и нечаянно наносили друг другу удары, которые предназначались ему, хотя достаточная часть этих ударов все же попадала по назначению. У него тотчас же пошла из носа кровь, а один глаз совсем закрыл синяк.

Этой неразберихой пользовался, однако, Рувим, который, возвышаясь надо всеми, находился в гуще потасовки и тоже кричал: «Снять, снять!» Живя с волками, он был по-волчьи. Он поступал так, как всегда поступали люди, которые пытались хоть как-то направить разбушевавшуюся толпу и, чтобы обеспечить себе влияние на ход событий, с притворным усердием участвовали в меньшем зле, стремясь предотвратить большее. Он делал вид, что его толкают, а в действительности сам толкал других, всячески стараясь отбросить от Иосифа тех, кто норовил ударить его и сорвать с него покрывало, и в меру возможности защищал Иосифа. Особенно он следил за Левием, у которого был посох в руке, и упорно подставлял ему ножку. Но несмотря на ухищрения Рувима, потрясенному мальчику приходилось так худо, как ему, избалованному, никогда и не снилось. С болтающейся головой, с растопыренными локтями, растерянный, он шатался под этим градом разнузданной ярости, который, ужасающе не заботясь о том, куда он угодит, обрушивался на него с ясного неба и вдребезги разбивал его веру, его представление о мире, его непреложную, как закон природы, уверенность, что все на свете любят его больше, чем самих себя.

— Братья! — лепетал он рассеченными губами, кровь из которых, вместе с кровью из носа, растекалась у него по подбородку. — Что вы...

Тумак, вовремя не предотвращенный Рувимом, не дал ему договорить; совсем уже оголтелый удар в подреберье согнул его и скрыл в разъяренной толпе. Не станем отрицать, напротив — подчеркнем, что поведение сыновей Иакова, чем бы оно ни оправдывалось, было самым позорным, можно даже сказать — атавистическим. Теряя человеческий облик, они, чтобы сорвать с тела окровавленного, с помутившимся уже сознанием, Иосифа материнское платье, вспомнили о зубах, ибо для рук их, увы, и так дела хватало. При этом они не молчали, и «снять», снять!» не было их единственным кличем. Подобно работникам, которые, перетаскивая тяжести, опьяняют себя, чтобы взяться дружнее, однозвучными возгласами, они извлекали из глубин своего ожесточения отрывочные слова и то и дело выкрикивали их, чтобы подхлестнуть свою ярость и не дать себе отрезветь: «Кланяются, кланяются!», «Посмотри, все ли в порядке!», «Заноза в теле!», «Гадкий проныра!». «Вот они, твои сны!»

Ну, а несчастный Иосиф?

Для него то, что произошло с кетонетом, было ужасней и непостижимей всего; это было для него мучительней и страшнее, чем вся несправедливость сопутствовавшего рукоприкладства. Он делал отчаянные попытки спасти свой наряд, сохранить хоть какие-то его лоскутья и клочья, он кричал: «Мое платье!» — и, со страхом испуганной девственности, умолял: «Не рвите его!» — даже тогда, когда был уже гол. Ибо слишком насильственным было это обнажение, чтобы ограничиться одним покрывалом. Вслед за кетонетом с него были сорваны кафтан и набедренная повязка, клочки их, вперемешку с остатками венка, валялись во мху, и удары озверелой оравы («Кланяются, кланяются!», «Вот они, твои сны!») обрушивались теперь на голого, который пытался хоть как-то прикрыть руками лицо, — обрушивались безжалостно, отклоняемые и несколько ослабляемые только большим Рувимом, продолжавшим делать вид, что его толкают, и тем временем отталкивавшим от Иосифа других, словно они мешали ему всласть поколотить их общую жертву. Он тоже кричал: «Заноза в теле! Гадкий проныра!» Но затем он прокричал и нечто другое, что вдруг пришло ему в голову, прокричал громко и несколько раз подряд, чтобы все услышали его совет и последовали ему в своем безрассудстве: «Связать! Связать его! По рукам и ногам!» Это был новый боевой клич, придуманный ко благу самым поспешным образом. Он должен был ограничить эти неведомо чем чреватые действия временной целью и дать передышку, означавшую для Рувима, который хотел предотвратить самое страшное, известный выигрыш во времени. В самом деле, покуда Иосифа будут связывать, его не будут бить; а как только его свяжут, позади будет какая-то часть дела, которой можно пока что удовлетвориться, какой-то этап, после которого можно отступить и обдумать дальнейшее. Таков был торопливый расчет Рувима. И поэтому лозунг свой он провозглашал с таким отчаянным пылом, словно ничего более целесообразного и разумного немислимо было сейчас предпринять и словно только дураки могли его не послушаться. «Вот они, твои сны! — кричал он. — Связать, связать его! Болваны вы! Мстить не умеете! Чем толкать меня, лучше свяжите его!..»

— Неужели у нас не найдется веревки? — крикнул он еще раз изо всей мочи.

Как же! Гаддиил, например, всегда носил на теле веревку, и он ее снял с себя. Так как головы их были пусты, лозунг Рувима нашел в них место. Они связали нагого Иосифа, крепко, так что он застонал, опутав ему одной длинной веревкой руки и ноги, и Рувим принимал самое старательное участие в этой работе. Когда она была закончена, он отошел немного назад и, отдуваясь, вытер вспотевшее лицо, словно все время усердствовал больше других.

Они стояли с ним рядом, временно небоеспособные, и пыхтели одичало и праздно. Перед ними, в самом плачевном виде, лежал сын Рахили. Он лежал на связанных своих руках, с запрокинутой в траву головой и вздернутыми коленями, с трепещущими ребрами, весь в шишках и синяках, и по телу его, оплеванному яростью братьев, облепленному пылью и мохом, змеились струйки того красного сока, который вытекает из красоты, если повредить ее наружную оболочку. Его не заплывший отеком глаз с ужасом искал мучителей и порой судорожно закрывался, как бы рефлекторно защищаясь от новых пыток.

Преступники тяжело дышали, преувеличивая свою усталость, чтобы скрыть ту растерянность, которая, едва они опомнились, стала ими овладевать. В подражанье Рувиму, они вытирали тыльной стороной руки пот с лица, отдувались и всем своим видом выражали справедливейшее негодование расквитавшихся, словно бы говоря: «Что бы мы ни натворили, кто может нас в этом упрекнуть?» Это говорили они и словами,

которые, для оправдания друг перед другом и перед всяким посторонним мнением, тяжело дыша, из себя выдавливали: «Ну и дурень!», «Ну и заноза!», «Мы ему показали!», «Мы его проучили!», «Кто бы мог подумать?!», «Является сюда!», «Является к нам сюда!», «В пестром наряде!», «Нам на глаза!», «Посмотреть, все ли в порядке!», «Мы сами навели порядок!», «Пусть попомнит!».

Но в то время как они выдавливали из себя эти отрывистые возгласы, их всех — всех одновременно — одолевал ужас, для заглушенья которого все это, собственно, и восклицалось; и если разобраться в тайном этом ужасе, то им была мысль об Иакове.

Боже правый, что они сделали с агнцем отца, не говоря уж о состоянии, в каком оказалось девичье наследье Рахили? Что скажет тот, полный выразительности, если увидит это или узнает, как они посмотрят ему в глаза и что будет с ними со всеми? Реувим вспоминал о Валле. Симеон и Левий вспоминали о Шекеме и ярости Иакова, которая обрушилась на них, когда они вернулись домой после своего подвига. Неффалим, он особенно, находил временное утешенье в том, что Иаков был на расстоянии пяти дней пути и решительно ни о чем не подозревал; да, впервые разделяющее и оставляющее в неведении пространство показалось Неффалиму великим благом. Однако власть пространства, это все понимали, не могла держаться долго. Вскоре, то есть когда Иосиф снова к нему явится, Иаков обо всем узнает, и им не вынести неизбежной тогда бури чувств с молниями проклятий и громовыми раскатами речей. Будучи вполне взрослыми людьми, они испытывали глубокий детский страх перед всем этим, страх и перед чисто внешней стороной проклятья, и перед его смыслом и последствиями. Их всех проклянут, это было ясно, за то, что они подняли руку на агнца, и тогда этот лицемер окончательно недвусмысленно возвысится над ними избранником и наследником!

Исполнение мерзких снов — и по их же вине! То есть как раз то, что они хотели отнять у бога, поставив его перед совершившимся событием. Они начали понимать, что большой Рувим одурачил их своим боевым кличем. Вот они стояли, и вот он лежал перед ними, похититель благословения, лежал, правда, жестоко проученный и связанный, но разве это можно было назвать совершившимся событием? Другое дело, если бы Иосиф никогда уже не явился к старику, если бы тот узнал о чем-то совершившемся, окончательном. Горе его тогда было бы, правда, еще ужаснее — нельзя и представить себе. Но зато их — это можно было устроить — оно миновало бы. Сделав дело наполовину, они оказывались виноваты. Доведя его до конца, они снимали с себя вину. Об этом все они одновременно размышляли, стоя возле Иосифа, — в том числе и Рувим. Он не мог не признать, что положение именно таково. Хитрость, с которой он остановил братьев, шла у него от сердца. Разум же говорил ему, что дело зашло слишком далеко, чтобы не зайти еще дальше. Что оно должно было и все-таки, во имя бога, любой ценой, не должно было зайти еще дальше — это рождало смятение в его душе. Никогда еще мускулистое лицо большого Рувима не было таким яростным и смущенным.

Он боялся в любой миг услышать то, что неизбежно должно было прозвучать и на что ему нечего было ответить. И вот это прозвучало, и он это услышал. Высказал это кто-то один, не важно кто; Рувим не видел, кто именно оказался случайно первым; мысль эта была у всех: «Он должен исчезнуть».

— Исчезнуть, — кивнул головой Рувим, горько повторив это слово. — Ты говоришь это. Но ты не говоришь — куда.

— Вообще исчезнуть, — отвечал тот же голос. — В яму, чтобы его больше на свете не было. Его давно могло бы не быть на свете, а уж теперь его и вовсе не должно быть.

— Совершенно согласен с тобой! — отвечал Рувим с горькой издевкой. — А потом мы

явимся к Иакову, его отцу, без него. «Где мальчик?» — спросит он невзначай. «Его больше нет на свете», — ответим мы. А если он спросит: «Почему его больше нет?» — мы ответим: «Мы убили его».

Наступило молчанье.

— Нет, — сказал Дан, — не так. Послушайте меня, братья. Меня называют змеем и аспидом, и в известной изворотливости мне нельзя отказать. Вот как мы сделаем: мы сведем его в могилу, точнее, бросим в яму, в этот высохший, наполовину засыпанный колодец, в котором нет воды. Так он будет и в безопасности и устранен, и пусть увидит, чего стоят его сны. А Иакову мы солжем и невозмутимо заявим: «Мы не видели его и не знаем, есть ли он вообще на свете. Если нет, значит, его сожрал хищный зверь. О горе!» «О горе» придется прибавить ради лжи.

— Тише! — сказал Неффалим. — Ведь он же лежит рядом и слышит нас!

— Что из того? — ответил Дан. — Он никому этого не расскажет. Если он слышит нас, то это лишний довод в пользу того, что ему нельзя уйти отсюда, но ему и раньше нельзя было уйти отсюда, и значит, все сходится к одному. Мы можем спокойно говорить при нем, ибо он уже почти мертв.

Из вздыбленной груди связанного Иосифа, покрытой красноватыми, нежными родинками, вырвалось всхлипыванье. Он плакал.

— Слышите, и вам не жаль его? — спросил Рувим.

— Что это, Рувим, — ответил ему Иуда, — зачем ты заговорил о жалости, даже если иным из нас жаль его так же, как и тебе? Разве из того, что он сейчас плачет, следует, что этот негодяй не вел себя нагло всю свою жизнь и не порочил нас в глазах отца гнуснейшим лукавством? Разве жалость — достаточное основание пренебречь необходимостью и дать ему уйти отсюда и обо всем донести отцу? Так что толку говорить о жалости, даже если иному из нас и жаль его? Разве он не слышал, как мы собираемся лгать Иакову? А слышал это он уже за пределами своей жизни, независимо от того, жаль нам его или не жаль. Дан сказал правду: он уже почти мертв.

— Вы правы, — сказал тогда Рувим. — Мы бросим его в яму.

Иосиф снова горестно всхлипнул.

— Но ведь он еще плачет, — счел нужным напомнить кто-то.

— Что же ему, и плакать нельзя? — воскликнул Рувим. — Позволь ему хоть поплакать, сходя в могилу!

Тут прозвучали слова, которых мы не воспроизводим буквально, потому что они испугали бы чувствительность новейшего времени и как раз в буквальном воспроизведении выставили бы братьев или некоторых из них в преувеличенно дурном свете. Это факт, что Симеон и Левий, а также прямодушный Гад вызвались без проволочки прикончить связанного. Близнецы хотели воспользоваться для этого посохом, размахнувшись им, по доброму Каинову примеру, во всю силу обеих рук. Гад выразил готовность живехонько перерезать Иосифу горло ножом, как это сделал некогда Иаков с козлятами, шкурки которых потребовались ему для обмана Исаака. Такие предложения были высказаны, этого нельзя отрицать; но мы не хотим, чтобы читатель окончательно отшатнулся от сыновей Иакова и навсегда отказал им в прощении, а потому и не воспроизводим

подлинных слов братьев. Это было сказано, потому что не могло не быть сказано, потому что такова, выражаясь нашим языком, была логика вещей. Закономерно было также, что произнесли эти слова и предложили свои услуги те, чьей роли на земле это больше всего отвечало и кто в данном случае повиновался, так сказать, своему мифу, — буйные близнецы и прямой Гад.

Но Рувим не позволил это сделать. Известно, что он оказал им сопротивление и не пожелал, чтобы с Иосифом обошлись, как с Авелем или как с теми козлятами. «Я против этого и воспротивлюсь этому», — сказал он, и сослался на свое первородство по Лиинной линии, которое, несмотря на паденье и проклятье, придавало, как он полагал, слову его особый вес. Ведь они же сами сказали, что мальчик уже почти мертв. Он способен разве что немного поплакать, но ни на что больше, и достаточно бросить его в яму. Пусть они только поглядят на него, ведь это уже не прежний Иосиф-сновидец, он стал совсем неузнаваем после того, что случилось и в чем он, Рувим, участвовал не меньше других, и участвовал бы еще деятельнее, если бы его не толкали со всех сторон. Но то, что случилось, — это именно только случай, а не поступок, поступком случившееся нельзя назвать. Случилось оно, правда, благодаря им, братьям, но они не совершили поступка, все вышло само собой. А теперь они хотят сознательно и обдуманно совершить ужасный поступок и, подняв руку на мальчика, пролить отцовскую кровь, которая до сих пор просто лилась, хотя и благодаря им. Но одно дело литься, другое — проливать. Это в мире такие же разные вещи, как случай и поступок, и если они не видят тут разницы, значит, они обижены разумом. Вправе ли они вершить суд, когда дело касается их самих, и вдобавок собственноручно исполнять приговор? Нет, кровопролиться он не потерпит. Единственное, что им остается после случившегося, — это бросить мальчика в яму и предоставить дальнейшее случаю.

Так говорил большой Рувим, но никто никогда не верил, что он обманывал самого себя, действительно придавал такое огромное значение разнице между поступком и случаем и считал, что оставить мальчика погибать в яме не значит поднять на него руку. Когда Иегуда несколько позднее спросил, что пользы не проливать крови, если брат все равно будет убит, в его вопросе для Рувима не было ничего неожиданного. Человечество давно уже заглянуло в душу Рувима и поняло, что хотел он лишь одного: выиграть время, — он не мог бы сказать зачем, — просто выиграть время как таковое, продлить надежду, что он спасет Иосифа от их рук и так или иначе вернет отцу. Страх перед Иаковом и сурово-застенчивая любовь к ненавистному брату — вот что заставляло его тайно стремиться к этому и помышлять о предательстве — иначе этого не назовешь — в отношении братьев. Но ведь Рувим, бушующая вода, должен был всячески заглаживать свою вину перед Иаковом, а доставь он Иосифа отцу, разве это с избытком не искупило бы истории с Валлой, не сняло бы с него проклятья и не восстановило бы его первородства? Мы не делаем вид, что в точности знаем все помыслы и желанья Рувима, и не хотим умалять мотивы его поведения. Но разве мы умаляем их, допуская возможность, что он втайне надеялся и спасти, и вместе победить сына Рахили?

Надо сказать, что его требование воздержаться от поступков и положиться на случай не вызвало особого сопротивления у братьев. Конечно, они были бы рады, если бы их поступок привел их к цели, оставаясь еще случаем — вслепую, единым махом; но братья на себя всю полноту ответственности за этот поступок, совершив его после отрезвившей их передышки, как обдуманную казнь, не хотелось, в сущности, никому, даже близнецам, при всей их дикости, даже Гаддиилу, при всей его прямоте; они были рады, что им не досталось поручение, касавшееся головы и горла, и что снова восторжествовали авторитет и лозунг Рувима, который прежде призвал их связать Иосифа, а теперь — бросить его в колодезь.

«В яму!» — таково было единодушное решение, и, схватив веревку, которой был связан

Иосиф, вцепившись в свою жертву, они через поле потащили несчастного к тому месту, где в стороне от выгона находилась пустая цистерна. Одни тянули его, впрягшись спереди, другие помогали с обоих боков, третьи рысцою бежали сзади. Ре'увим не бежал, он широко шагал в конце шествия, и когда на пути попадались камень, опасный пенёк или колючий куст, он подхватывал влекомого и приподнимал его, чтобы не причинять ему лишней боли.

Так тащили они Иосифа к яме с громкими прибаутками, ибо братьями овладела тут своеобразная веселость, бесшабашная удалость дружной работы; они смеялись, шутили, кричали друг другу всяческий вздор, вроде того, что они, мол, волокут хорошо увязанный сноп, который сейчас склонится в дыру, в колодезь, в бездну. Весело же им было только от облегчавшего душу сознания, что они не должны действовать по образцу истории с Авелем или с козлятами; дурачились они еще и затем, чтобы не слышать воплей и стонов Иосифа, который не переставал взывать к ним рассеченными своими губами:

— Братья! Смилуйтесь! Что вы делаете! Остановитесь! Ах, ах, горе мне!

Это ему не помогало, они волокли его все дальше и дальше по траве и через кусты, пока не достигли поросшего мохом склона; здесь они спустились в прохладную, облицованную камнем лощинку с чахлыми побегами дубов и смоковниц в просветах ветхой кладки и потрескавшихся плитах настила, протащив туда по крутым, основательно выщербленным ступеням связанного Иосифа, который отчаянно забился у них в руках, ибо его ужаснули устроенный там колодезь, дыра колодца, и особенно замшелый, в выбоинах, камень, лежавший рядом на плитах и служивший крышкой. Но как Иосиф ни сопротивлялся и как ни плакал, с ужасом глядя неотекшим глазом в черноту круглой дыры, они с прибаутками подняли его на край и с силой толкнули, и он полетел в неведомую глубину.

Глубина оказалась достаточно большой, хотя и не пучинной, это не был бездонный провал. Такие колодцы часто уходят в землю на тридцать метров и глубже, но этим никто не пользовался, и он давно уже был сильно засыпан землей и щебнем — возможно, из-за былой борьбы за это место. Иосиф пролетел пять-шесть саженой, не больше, хотя и больше, чем нужно, чтобы выбраться наверх, будучи связанным. Да и падал он с большой осторожностью и сосредоточенностью: цепляясь ногами и локтями за неровности круглой стенки, он старался не рухнуть, а сползти и без особых увечий свалился в мусор к испугу всяких жучков, сверчков и червей, которые никак не ждали подобного гостя. Покуда он, кое-как улегшись, приходил в себя, братья мужскими своими руками делали остальное — заваливали его обитель камнем, помогая работе понукающими возгласами. Ибо камень был тяжел и один человек не смог бы закрыть им яму, и трудились поэтому все, разделив между собой работу, тем более что выполнить ее в один прием все равно нельзя было: старая, зеленоватая от моха крышка, величиной около пяти футов в поперечнике, раскололась на две части, и когда братья водрузили их, каждую в отдельности, на круглый провал, половинки эти не сомкнулись вплотную, и через образовавшуюся щель, местами узкую, а местами широкую, в колодезь проникало немного света. На этот свет глядел Иосиф видящим своим глазом, кое-как лежа в круглой глубине, нагой и беспомощный.

Иосиф кричит из ямы

Покончив с работой, братья сели отдохнуть на ступени спуска, и некоторые, собираясь позавтракать, достали из сумок, висевших у них на поясе, хлеб и сыр. Левий, человек хоть и грубый, но набожный, заметил, правда, что нельзя есть рядом с кровью; но ему

возразили, что никакой крови нет, что в том-то и штука, что кровь не лилась и не была пролита, и Левий стал есть вместе со всеми.

Они задумчиво жевали, моргая глазами. Задумчивость эта вызывалась покамест одним совершенно второстепенным, но сейчас самым сильным их впечатленьем. Их только что погребавшие руки хранили воспоминанье о прикосновении к обнаженному телу Иосифа, и воспоминанье это было необычайно нежным, хотя прикосновение таковым отнюдь не было, и вносило в их сердца мягкость, которую они, моргая, чувствовали, но объяснить себе не могли. Да и не заводили они об этом речи, а говорили только о том, что Иосиф наконец устранен и вместе со своими снами надежно упрятан, и говорили они это для взаимного успокоения.

— Ну, вот, его уже и нет на свете, — говорили они. — Теперь дело сделано, и можно спокойно спать.

Что теперь можно спокойно спать, они повторяли тем настойчивее, чем сильнее в том сомневались. Да, они могли почивать в полной уверенности, что сновидец, которого теперь не существовало, ничего не расскажет отцу. Но именно в этой успокоительной мысли содержалась мысль об отце, который будет напрасно, и вечно напрасно, ждать возвращения Иосифа, а такая перспектива, хоть она и сулила полную безопасность, совсем не располагала ко сну. Для всех десятерых, без единого исключения — даже для диких близнецов, — это была ужасная перспектива, ибо сыновний страх перед Иаковом, перед нежностью и могуществом его души, был самым большим их страхом, а молчанье Иосифа было куплено ценой такого удара по этой патетической душе, что они без ужаса не могли о нем и подумать. То, что они сделали с братом, они сделали в конечном счете из ревности; но ведь известно, какое чувство искажается ревностью. Правда, в свете великой грубости Симеона и Левия ссылка на это чувство может показаться довольно-таки неуместной, поэтому-то мы и говорим недомолвками. Есть случаи, когда только недомолвка и нужна.

Они размышляли, жуя и моргая, а руки их сохраняли ощущение нежной кожи Иосифа. Они были и вообще тугодумы, а тут им еще мешали плач и мольбы похороненного, глухо доносившиеся до них из ямы. Ибо после падения он уже настолько оправился, что вспомнил о необходимости вопить, и теперь он молил их из-под земли:

— Братья, где вы? Ах, не уходите, не оставляйте меня одного в могиле, здесь так затхло и жутко! Смилуйтесь, братья, спасите меня еще раз от ночи ямы, где я погибну! Я брат ваш Иосиф! Братья, не будьте глухи к моим стонам и крикам, ибо вы поступили со мной неправильно! Рувим, где ты? Рувим, услышь свое имя из ямы! Они неверно меня поняли! Вы неверно меня поняли, милые братья, так помогите же мне и спасите мою жизнь! Я прибыл к вам по наказу отца, я ехал пять дней верхом на Хульде, на белой ослице, и вез вам подарки, жареное зерно и фруктовые пироги, ах, как несладко все вышло! Это вина незнакомца, что все так вышло, незнакомца, который меня вел! Братья во Иакове, выслушайте и поймите меня, я приехал не следить за порядком, для этого вам не нужно дитя! Я приехал учтивейше вам поклониться и спросить вас, как вы живете-можете, я приехал, чтобы вывернулись домой, к отцу! А сны, братья... Неужели у меня хватило наглости рассказывать вам свои сны? Поверьте, я рассказывал вам еще сравнительно скромные сны, я мог бы... Ах, не это хотел я сказать! Ах, ах, мои кости и жилы, и слева, и справа, и все мое тело! Я хочу пить! Братья, дитя хочет пить, ибо оно потеряло много крови, и все по недоразумению! Вы еще здесь? Или я уже совсем покинут? Рувим, дай мне услышать твой голос! Скажи им, что я ничего не расскажу отцу, если они меня спасут! Братья, я знаю, вы думаете, что меня нужно оставить в яме, потому что иначе я все расскажу отцу. Клянусь богом Авраама, Ицхака и Иакова, клянусь головами ваших матерей и головой Рахили, моей матушки, что я никогда ничего не расскажу, если вы

меня спасете еще раз, еще один только раз!

— Конечно, он все расскажет, если не сегодня, то завтра, — пробормотал сквозь зубы Иуда, и не нашлось никого, кто не разделил бы его убежденности в этом; разделил ее и Рувим, как ни противоречила она его неопределенным надеждам и замыслам. Но тем упорнее должен был он скрывать их и отрекаться от них; поэтому он трубою сложил руки у рта и крикнул:

— Если ты не замолчишь, мы забросаем тебя камнями, и ты совсем погибнешь. Мы не хотим ничего больше знать о тебе, ибо тебя больше не существует!

Услыхав это и узнав голос Рувима, Иосиф ужаснулся и умолк, так что они снова могли без помех моргать глазами и бояться отца. Если бы они намеревались продлить свое добровольное изгнание и жить в постоянном разрыве с отцовским домом, им не было бы дела до ожидания и постепенно растущего отчаянья Иакова, до всего прочувствованного горя, которое назревало в Хевроне. Но намерения у них были как раз противоположные. Погребенье Иосифа могло служить только одной цели: устранить преграду между ними и отцовским сердцем, о завоевании которого все они пеклись самым ребяческим образом; беда была в том, что они оказались вынуждены причинить этому нежному и могущественному сердцу величайшую боль, чтобы им завладеть. С этой точки зрения все они и смотрели сейчас на вещи. Им важно было — это они единодушно чувствовали — не наказать наглеца, не отомстить ему и даже не главным образом покончить со снами, а открыть себе путь к сердцу отца. Он был теперь открыт, и они могли вернуться — вернуться без Иосифа, как и ушли без него. Где же он? Его послали за ними. Если за тобой посылают того, против чьей жизни ты высказался своим уходом, а ты возвращаешься без него, это подозрительно. По какому-то страшному праву тебе задают тогда вопрос, где же тот, посланный за тобой. Разумеется, в ответ на этот вопрос они могли пожалть плечами. Разве они пастухи своего брата? Нет, конечно, но вопрос остался бы без ответа и по-прежнему направлял бы на них свой тяжелый, настойчиво-недоверчивый взгляд, и под этим взглядом, перед глазами вопроса, они стали бы свидетелями мучительного ожидания, тщетность которого была бы им известна, и постепенно растущего отчаяния, в которое, по самой природе вещей, это ожидание только и могло вылиться. Перед таким искупленьем они содрогались. Так что же, не возвращаться, куда надежда не истлеет, а ожидание не превратится в сознание, что Иосиф никогда не вернется? Это длилось бы долго, ибо ожидание упрямо, а тем временем ответ на вопрос вполне мог прийти сам собой и стать проклятьем для них для всех. Надежду на возвращение мальчика нужно было сразу же и недвусмысленно отнять у отца таким способом, который заключал бы в себе доказательство, что их не в чем подозревать. Об этом они все размышляли, и у Дана, прозванного змеем и аспидом, родилось предложение. Связав прежнюю свою мысль о том, чтобы сказать старику, будто Иосифа загрыз хищный зверь, с некоторыми поползновениями Гаддиила и его упоминанием о козлятах, которых некогда, для обмана Ицхака, заколол Иаков, Дан сказал:

— Послушайте меня, братья, я гожусь в судьи и знаю, как нам поступить! Мы возьмем животное стада и перережем ему горло, чтобы выпустить кровь. А кровью мы вымараем это злосчастное разноцветное платье, брачный наряд Рахили, от которого остались уже одни клочья. Одежду эту мы принесем Иакову и скажем ему: «Это мы нашли в поле, разодранным и в крови. Не платье ли это твоего сына?» И пусть он судит о том, что случилось, по виду этого платья, а мы уподобимся пастуху, который считается оправданным и не должен даже клясться в своей невинности, если предъявит хозяину остатки овцы, зарезанной львом.

— Тише! — пробормотал Иуда, которому вдруг стало неловко. — Ведь он же слышит тебя

под камнем и узнает, как мы собираемся поступить!

— Что из того? — возразил Дан. — Неужели я должен говорить шепотом из-за него? Это все уже за пределами его жизни, это уже наше дело, а не его. Ты забываешь, что он уже почти мертв, что с ним покончено. Если даже он слышал, что я сказал, если даже услышит, что говорю сейчас, и говорю, не меня голоса, то услышанное в нем и останется. Прежде, когда он был среди нас, мы не могли говорить свободно и непринужденно, ибо должны были опасаться, что он донесет отцу и мы будем обращены в пепел. В том-то и дело, что теперь, наконец, у нас появился брат, которому можно доверить все, что угодно, и мне даже хочется послать ему в его яму воздушный поцелуй. Итак, что вы скажете о моем предложении?

Они хотели его обсудить, но Иосиф снова стал плакать, умоляя и заклиная их не следовать совету Дана.

— Братья, — кричал он, — не делайте этого с животным и платьем, не наносите Отцу такого удара, ведь он же его не выдержит! Ах, я пекусь не о себе, тело и душа у меня измучены, и я лежу в могиле. Пощадите отца, не показывайте ему окровавленного платья, он умрет! Ах, если бы вы знали, как боязливо предостерегал он меня от нападения льва, когда ночью застал меня одного у колодца, а теперь ему скажут, что меня загрыз дикий зверь! Если бы вы видели, с каким страхом и как заботливо провожал он меня в дорогу, а я-то еще пропускал его речи мимо ушей! Горе мне, неумно, наверно, говорить вам, как он любит дитя, но что мне делать, милые братья, и как мне вести себя, чтобы не раздражать вас? Почему моя жизнь так сплетена с его жизнью, что, умоляя вас пощадить его жизнь, я поневоле прошу оставить в живых меня? Ах, милые братья, услышьте мои рыдания и не пугайте его боязливости окровавленным платьем, ибо его мягкая душа не вынесет этого и он упадет замертво!

— Нет, — сказал Рувим, — довольно, это невыносимо. — И он поднялся. — Если вы согласны, пойдете куда-нибудь подальше. Из-за его плача невозможно говорить, невозможно собраться с мыслями, слыша его вопли из глубины. Пойдете к хижинам!

Он сказал это злобно, чтобы выдать бледность мускулистого своего лица за бледность злости. Но бледен он был оттого, что понимал, как прав мальчик в своем страхе за отца. Ибо он, Рувим, тоже предвидел, что, взглянув на платье, тот упадет замертво, упадет в прямом смысле слова. Но помимо этого на Рувима произвело особое впечатление то, что Иосиф, будучи сам в беде, помнил об отце и со страхом просил пощадить мягкую его душу — прежде всего ее, и только ради нее себя самого. Может быть, он просто ссылался на отца, чтобы сохранить собственную жизнь, и прятался за него по старой привычке? Нет, нет, на этот раз дело обстояло иначе. Сейчас из-под Камня кричал другой Иосиф, не тот, которого он когда-то тряс за плечи, чтобы пробудить его от тщеславной глупости. Чего некогда Рувиму не удалось добиться, тряся брата за плечи, то было несомненно достигнуто благодаря падению в яму: Иосиф проснулся, он просил пощадить сердце отца, он уже не глумился над этим сердцем, а думал о нем с раскаянием и тревогой; и это открытие окончательно утвердило большого Рувима в его смутных намереньях, одновременно вдвое усилив чувство их беспомощной и безвыходной неопределенности.

Вот почему он был бледен, когда поднялся и предложил всем покинуть то место, где был упрятан Иосиф. Они так и сделали. Они все ушли оттуда, чтобы, подобрав клочки покрывала на месте расправы, отнести их к шатрам и там уже обсудить замысел Дана. Так Иосиф остался один.

В пещере

В душе ему было страшно оставаться одному в своей дыре, и он долго еще взывал к уходившим братьям и умолял их не покидать его. Он, однако, и сам не знал, что именно кричал им вслед, плача, — не знал потому, что подлинными мыслями его были не с этими машинально-поверхностными мольбами и жалобами, а под ними; а под подлинными их глубинными тенями и басами текли, в свою очередь, еще более подлинными, так что все в целом походило на бурную, вертикально-сложную музыку, которая занимала его ум одновременно своим верхним, средним и нижним потоком. Этим-то и объяснялась ошибка, которую он допустил, взывая к братьям, когда у него вырвалось, что рассказывал он им только очень скромные сны, если сравнить их с другими, тоже ему сновившимися. Счесть это хоть на миг смягчающим обстоятельством мог лишь человек, чьи мысли не были целиком заняты тем, что он говорил, и так именно обстояло дело с Иосифом.

Многое уже совершилось в нем с того неожиданного и ужасного мгновенья, когда братья набросились на него, как волки, и он заглянул в их искаженные злобой и тоской лица тем своим глазом, которого они сразу же не закрыли ему ударами кулаков. Лица эти были почти у самого его лица, покуда братья остервенело, ногтями и зубами, срывали с его тела узорчатое покрывало, — они были страшно близко, и мука ненависти, написанная на них, ужаснула его больше, чем все побои. Конечно, страх его не знал границ, и он плакал от боли под их ударами; но и страх, и боль его прониклись сочувствием к той муке ненависти, которую он видел на этих сверхблизких, попеременно возникавших пред ним потных личинах, а сочувствие к страданью, причиной которого мы вынуждены признать себя, равнозначно раскаянию. Рувим оказался совершенно прав: на этот раз Иосифа встряхнули настолько грубо, что глаза его наконец раскрылись и он увидел, что натворил, и что натворил это он. В то время как он метался между кулаками разъяренных братьев, теряя одежду; в то время как он, связанный, лежал на земле, и потом, во время плачевного пути к колодцу, мысли его, хоть он и оцепенел от ужаса, не стояли на месте; они отнюдь не были целиком заняты ужасным настоящим, а стремительно упархивали к тому прошлому, где все это, втайне от его доверчивости и все же не без ее дерзкого ведома, подготавливалось.

Боже мой, братья! До чего же он их довел! Да, он понял, что он сам довел их до этого, довел множеством тяжких промахов, совершенных им в убежденности, что все любят его больше, чем самих себя, — убежденности, которой он и доверял и не совсем доверял, но в которой, как бы то ни было, жил и которая теперь — это он четко осознал — привела его в яму. По искаженным и потным личинам братьев он ясно прочел одним своим глазом, что такая убежденность требовала от них непосильного человеку, что он перенапряг их души длительным испытанием и причинил им много страданий, прежде чем дело дошло наконец до этого страшного для него, да и, несомненно, для них, конца.

Бедные братья! Что должны были они вытерпеть, прежде чем в отчаянии подняли руку на агнца отца и действительно бросили его в яму! В какое положение они себя поставили этим, — не говоря уже о его собственном положении, безнадежном, как он, содрогаясь, признался себе. Ведь они ни в коем случае не поверили бы ему, что, если его вернут отцу, он не расскажет ему обо всем, — потому что этому нельзя было поверить, потому что он и сам этому не верил, — а значит, они должны были оставить его погибать в яме, у них просто не было другого выхода. Это он понимал, и тем удивительнее может показаться, что ужас перед собственной участью оставил в его душе место для сочувствия своим убийцам. Однако случилось именно так. Сидя на дне колодца, Иосиф доподлинно знал и честно признался себе, что та бесстыжая «убежденность», с которой он жил, была игрой, в которую он сам по-настоящему не верил и не мог верить, и что он — говоря только об этом — не имел никакого права рассказывать братьям свои сны, — это было совершенно

недопустимо и до неприличья бестактно. В недопустимости этого, как он теперь признался себе, он всегда и даже в тот миг, когда так поступал, отдавал себе втайне ясный отчет, и все же он это делал. Почему? Какой-то неодолимый зуд заставлял его это делать; он должен был это делать; потому что бог специально создал его таким, чтобы он это делал, потому что у бога были насчет него и в связи с ним именно такие замыслы, одним словом, потому, что Иосиф должен был попасть в яму — и, выражаясь еще проще, хотел попасть в нее. Зачем? Этого он не знал. Судя по всему, затем, чтобы погибнуть. Но, по существу, Иосиф в это не верил. В глубине души он был убежден, что у бога прицел более далекий, чем яма, что замыслы Его, как всегда, идут далеко и преследуют отдаленную будущим цель, ради которой он, Иосиф, и должен был довести братьев до крайности. Они были жертвами будущего, и ему было жаль их, как ни скверно приходилось ему самому. Несчастные, они пошлют отцу его, Иосифа, одежду, вываляв ее в крови козленка, словно в его крови, и тогда Иаков упадет замертво. При мысли об этом Иосиф рванулся вверх, чтобы защитить отца от такого зрелища, — но, пронзенный болью, словно от клыков зверя, он в своих путах, конечно, только рухнул к стенке колодца и снова стал плакать.

Увы, у него было время плакать, испытывать страх, раскаянье и сочувствие и, прощаясь с жизнью, втайне все-таки верить в спасительно-мудрые цели бога в далеком будущем. Ибо, страшно сказать, ему суждено было оставаться в этой темнице три дня, три дня и три ночи, нагим и связанным, среди плесени и пыли, в обществе копошившихся на дне колодца сверчков и червей, без воды и пищи, без всякого утешения, без мало-мальски разумной надежды когда-либо выйти на свет. Тому, кто об этом повествует, важно, чтобы его слушатели все это ясно вообразили и с ужасом представили себе, что это означало, особенно для папенькина сына, которому подобные испытания никогда и не снились: как томительно тянулись для него часы, пока не погас его скудный свет в трещине камня и какая-то жалостливая звезда не послала взамен к нему в могилу алмазный свой луч; как дважды занимался, мерк и опять угасал свет нового дня; как упорно оглядывал он в полумраке круглую стену строенья, надеясь как-то выкарабкаться с помощью выбоин в кладке и гнездившихся в ее швах кустов, хотя каменная крышка и веревка, даже каждая в отдельности, а вместе и подавно, убивали всякую надежду в самом зародыше; как извивался он в своих узах в поисках менее неудобной позы, каковая, однако, если ее и удавалось найти, оказывалась вскоре еще нестерпимее прежней; как мучили его жажда и голод, а пустота в желудке отзывалась у него жжением и болью в спине; как он, подобно овце, замарывался собственными испражнениями, а потом чихал и дрожал от холода, так что у него стучали зубы. Нам крайне важно добиться того, чтобы каждый живо и в полном соответствии с действительностью представил себе все эти многочисленные неприятности. Но мы обязаны также соблюсти известную меру и как раз ради жизненности и соответствия действительности позаботиться о том, чтобы воображение слушателя не слишком разыгрывалось и не вырождалось в пустую чувствительность. Действительность трезва — именно потому, что она действительность. Воплощенная бесспорность и очевидность, с которой мы вынуждены считаться и соглашаться, она требует приспособления к себе и быстро принаравливает нас к своим потребностям. Сгоряча мы готовы назвать какое-то положение невыносимым: это протест возмущившейся человечности, доброжелательный к страждущему, да и отрадный для него. И все же подобный протест немного смешон тому, для кого это «невыносимое» и есть действительность. Отношение сострадающего и возмущенного к этой действительности, которая не является ведь его действительностью, эмоционально-непрактично; он ставит себя в положение другого таким, каков есть, а это ошибка, ибо тот уже не подобен ему как раз из-за своего положенья. Да и что значит «невыносимо», если приходится выносить, и ничего другого не остается, как выносить, куда ты в ясном уме?

В совсем ясном уме юный Иосиф, однако, давно уже не был, не был с того мгновенья, как

братья у него на глазах превратились в волков. То, что на него обрушилось, ошеломило его и принизило настолько, насколько это необходимо, чтобы «невыносимое» вынести. Побои оглушили его, невероятное путешествие на дно колодца тоже. Состоянье, всем этим вызванное, было мучительным и отчаянным, но на том ужасы, по крайней мере, прекратились, произошла известная стабилизация, и его положение, при всех своих дурных сторонах, получило хоть одно преимущество — безопасность. Укрытый в лоне земли, он мог не бояться новых насилий и получил досуг для той работы ума, которая порой заставляла его совсем забывать о невзгодах своего тела. Кроме того, безопасность (если это слово уместно, когда речь идет о вероятной и даже почти верной смерти; но ведь смерть в определенное время — это всегда дело верное, и все-таки мы чувствуем себя в безопасности) — итак, чувство безопасности благоприятствовало сну. Усталость Иосифа была так велика, что преодолевала крайнее неудобство всех условий и погружала его в сон, так что он надолго впадал в полное или не совсем полное забытье. Просыпаясь, он удивлялся, что сон сам по себе, без помощи еды и питья, способен так восстанавливать силы (ибо некоторое время пища и сон заменяют друг друга), и ужасался, что все еще длится его злополучье, о котором он и во сне не совсем забывал, но которое, надо сказать, становилось все-таки менее суровым, чем было вначале. Любая суровость и напряженность со временем нет-нет да ослабевает и делает маленькие уступки свободе движений. Мы думаем о веревке, о том, что на второй и на третий день ее узлы и петли не были уже такими тугими, как в первый час, что они немного ослабли, приспособляясь к потребностям несчастных конечностей. Это тоже говорится для того, чтобы низвести состраданье на почву трезвой действительности. Даже прибавляя, что Иосиф, конечно, все больше и больше слабел, мы только отчасти стремимся не расхолаживать слушателей, сохранить сострадательную их озабоченность; ведь, с другой стороны, эта возраставшая слабость, этот упадок сил практически облегчали его страданья, так что ему, с его точки зрения, становилось, так сказать, тем лучше, чем дольше длилось это положение, бедственность которого он постепенно переставал ощущать.

При почти замершей жизни тела мысли его, однако, не прекращали деятельного своего хода, причем в музыкальном их строе, благодаря мечтательной слабости Иосифа, все сильней выделялись глубинные прежде «тени и басы», почти совсем в конце концов заглушившие верхние голоса. Вверху главенствовал страх смерти, выливавшийся, покамест братья были поблизости, в жалобные вопли и стоны. Почему, когда они, десятеро, удалились, этот страх внешне совсем умолк и почему Иосиф уже не молил наудачу о помощи из своей глубины? Потому что он совершенно об этом забыл, захваченный ходом тех мыслей, на которые мы уже намекнули и которые, объясняя внезапное его паденье, касались прошлого и угодных, быть может, богу, но от этого не менее грубых и тяжких ошибок прошлого.

Платье, сорванное с него братьями, и сорванное, о ужас, отчасти зубами, играло тут самую заметную роль. Что ему не следовало красоваться в нем перед ними, мозолить им глаза этим своим достоянием, а самое главное, показываться им в покрывале теперь и здесь, стало ему настолько очевидно, что он ударил бы себя по лбу, если бы не был связан. Но, мысленно делая этот жест, он одновременно признавал его бессмысленность и странное лицемерие; ведь было же ясно, что это он знал всегда и все-таки так поступил. Изумленно вдумывался он в загадку самогубительного зазнайства, заданную ему его собственной непоследовательностью. Разрешить ее было выше его разуменья, но это выше всякого разуменья, ибо слишком тут много не поддающегося учету, противоразумного и, быть может, священного. Как он дрожал от страха, что Иаков заметит спрятанный в столешнице-кошеле кетонет, — от страха перед своим спасением! Ведь не потому же он обманул отца, воспользовался его плохой памятью и украдкой взял с собой свою наследственную одежду, что не разделял его мнения о том, какое действие окажет на братьев ее вид. Нет, он был того же мнения и все-таки взял ее. Разве можно

было разгадать это? Но коль скоро он не забыл позаботиться о своей гибели — почему Иаков забыл ее предотвратить? Снова загадка. Любви и страху отца было так же важно оставить разноцветный наряд дома, как его, Иосифа, вождельню было важно украдкой его увезти. Почему же любовь и страх упустили из виду такую важность и не расстроили замысла вождельни? Если Иосифу удалось тогда в шатре выманить у старика эту ослепительную одежду, то только потому, что они вели одну игру, и потому, что Иаков не меньше хотел подарить сыну это покрывало, чем тот — его получить. Практические последствия не заставили себя ждать. Они вместе довели агнца до ямы, и теперь Иаков упадет замертво.

Да, наверно упадет, а затем станет размышлять о грубых, совершенных вместе сшибках прошлого, как это делал сейчас Иосиф здесь, внизу. Он снова признался себе, что его клятвенные обещания ничего не рассказывать отцу, если он будет ему возвращен, были вызваны лишь поверхностным страхом за них обоих и что, восстановись прежнее, домогильное положение, чего Иосиф одной частью своего естества, конечно, очень желал, — он непременно и неизбежно обо всем бы донес, и тогда братья были бы обращены в пепел. Поэтому другой частью своего естества он не желал возврата к прошлому, возврата, впрочем, исключавшегося — в этом он был согласен с братьями, настолько согласен, что готов был даже ответить на воздушный поцелуй, который хотел послать ему в яму Дан за то, что теперь наконец у них появился брат, при котором можно было говорить о чем угодно, даже о крови козленка, которую они выдадут за его кровь, ибо это выходило за пределы его жизни и оставалось в нем, как в могиле.

Мнение Дана, что при Иосифе можно высказываться совершенно свободно, поскольку каждое услышанное им слово — лишний довод против его возвращения, и что поэтому даже желательно говорить при нем о вещах, выходящих за пределы его жизни и тем самым накрепко привязать его к преисподней, как наводящий ужас дух мертвеца, — мнение Дана произвело сильное впечатление на Иосифа и играло в его мыслях роль равноценного противовеса той убежденности, в которой он жил до сих пор, убежденности, что он может ни с кем не считаться, потому что-де все любят его больше, чем самих себя. Но вот оказалось, что можно не считаться с ним самим, и это открытие определило ход тех теней и басов его мыслей, которые скрывались под верхним и средним слоями и, по мере того как Иосиф слабел, все полновочнее заглушали верхние голоса.

Но начали свой ход они уже раньше, вместе с другими: уже тогда, когда спровоцированно-непредвиденное стало действительностью, когда он, осыпaeмый пинками и тумакami, метался между братьями, а те срывали с него ногтями и зубами узорчатый наряд, — с самого, стало быть, начала глубинные эти мысли уже звучали наряду с прочими, и среди грохота ужаса слух его в значительной мере принадлежал им. Ошибкой было бы предположить, что при таких смертельно грозных обстоятельствах Иосиф перестал играть и мечтать — если только играть и мечтать при таких обстоятельствах значит еще играть и мечтать. Он был истинным сыном Иакова, человека высоких помыслов и знатока мифов, который всегда знал, что с ним происходит, который среди всех земных дел взирал на звезды и всегда соотносил свою жизнь с делами божественными. Хотя Иосиф проверял и реализовал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, менее прочувствованно и более расчетливо, более остроумна, чем Иаков, он тоже был глубоко убежден, что; жизнь и событие, не заверенные высшей реальностью, не основанные на священно-знакомом прообразе я не опирающиеся на него, не отражающиеся ни в каких небесных делах и не узнающие себя в них, вообще не жизнь и вообще не событие; глубоко убежден, следовательно, что внизу ничего не могло бы случиться и додуматься до себя без своего звездного образца и подобья, и единство двойственного, сиюминутность вращения, взаимозаменяемость верха и низа, благодаря которой верх превращается в низ, а низ в верх и боги становятся людьми, а люди —

богами, все это было главным воззрением и его жизни. Недаром он был учеником Елиезера, употреблявшего слово «я» с такой свободой и смелостью, что направленный на этого старика взгляд задумчиво преломлялся. Прозрачность бытия как повторенья и возвращенья прообразов — эта вера вошла в его плоть и кровь, и всякая духовная значимость и значительность была для него неотъемлема от такого самосознания. Тут все было по правилу. Если что несколько нарушало правило, игриво отступая от значительно-значимого, так это склонность Иосифа извлекать пользу из общераспространенного умоустройства и ослеплять людей сознательным самовнушеньем.

Он был начеку с самого начала. Верьте или не верьте, но в головокружительном переполохе внезапного нападения, под отчаянным натиском страха и перед опасностью смерти, он духовно открыл глаза, чтобы поглядеть, что «собственно» происходит. Ни страх, ни опасность от этого вовсе не уменьшались; но к ним прибавилось теперь что-то от радости, даже от смеха, и веселость разума озарила ужас его души.

«Мое платье! — вскричал он и в великом страхе взмолился: — Не рвите его!» Да, они порвали и сорвали его, материнское платье, которое принадлежало и сыну, так что оба носили его попеременно и были благодаря покрывалу едины, бог и богиня. Эти бесноватые безжалостно оголили его, как оголяет любовь невесту в спальне, — такова была их ярость, — и познали его нагим, и его охватил смертельный стыд. В его уме понятия «оголенье» и «смерть» находились в близком соседстве — как же было ему не цепляться в испуге за клочья платья и не просить: «Не рвите его!» — и как было его разуму не проникнуться одновременно радостью, если это соседство понятий подтверждалось происходившим и в нем воплощалось? Никакие невзгоды тела и души не могли лишить его ум чуткости но все новым и новым намекам, которые свидетельствовали о высшей реальности, о прозрачности, о соответствии прообразам, о связанности со вселенским вращеньем, одним словом, о звездной значительности происходившего. И чуткость эта была очень естественна, ибо намеки такого рода касались подлинной сути вещей, разгадки его «я», которую он недавно Рувиму, к величайшему его смущенью, несколько приоткрыл и которая в ходе событий прояснялась все больше и больше. Он горько заплакал, когда большой Рувим согласился с решением братьев бросить его в яму; но в тот же миг разум его засмеялся, словно над шуткой, ибо слово, ими употребленное, было полно намеков: сказав на своем языке «бор», братья выразились односложно-многозначительно; слог этот нес в себе и понятие колодца, и понятие темницы, а последнее, в свою очередь, было настолько тесно связано с понятием низа, царства мертвых, что слова «темница» и «преисподняя» значили одно и то же и употреблялись одно вместо другого, тем более что и колодец в собственном смысле слова был уже подобен входу в преисподнюю и намекал на смерть даже своей круглой каменной крышкой; ибо камень закрывал его жерло, как тень — темную луну. Чуткий ум Иосифа распознал прообраз происходившего — смерть светила: мертвую луну, которой не видно в течение трех дней перед нежным ее воскресением, и особенно умирание богов света, которые на время удаляются в преисподнюю; и когда этот ужас стал реальностью, когда братья приволокли его к кругу колодца, к краю ямы и он, напрягши всю свою ловкость, свалился во мрак, бдительное его остроумие ясно увидело тут намек на звезду, которая вечером — женщина, а утром — мужчина и которая уходит в колодец бездны вечерней звездой.

То была бездна, куда спускается истинный сын, составляющий одно целое со своей матерью и носящий с ней платье попеременно. То была подземная овчарня, Этура, царство мертвых, где владыкой становится сын, пастух, страдалец, жертва, растерзанный бог. Растерзанный? Они порвали ему только губу и лишь кое-где кожу, но зато они сорвали с него одежду и разорвали ее ногтями и зубами, красные убийцы и заговорщики, его братья, а теперь они окунут ее в кровь козла, которую выдадут за его кровь, и покажут

отцу. Бог потребовал от отца, чтобы тот принес в жертву сына, — от кроткого отца, с ужасом признавшегося, что «он не нашел бы в себе силы для этого». Бедный, придется ему, видно, собраться с силами, это было так похоже на бога — не очень-то считаться с тем, как судит о себе человек.

Тут Иосиф заплакал в прозрачном своем злополучье, так и не выходявшем из-под надзора разума. Он плакал о бедном Иакове, которому придется собраться с силами, и о смертельном доверии братьев к нему, Иосифу. Он плакал от слабости и из-за спертого воздуха колодца, но чем плачевнее делалось его состояние в течение тех трех суток, что он провел здесь внизу, тем сильнее звучали самые нижние голоса его мыслей и тем обманчивее отражалась его действительность в сфере образцово-небесного, так что в конце концов он вообще перестал различать верх и низ и в мечтательной надменности смерти видел только единство двоякого. Это по праву можно понять как стремление природы помочь ему перешагнуть через невыносимое. Ведь естественная надежда, за которую до конца цепляется жизнь, требует разумного оправданья, и она находила его в таком смешении сфер. Правда, она выходила за пределы его жизни, надежда на то, что он не совсем погибнет, а будет как-то спасен из ямы, ибо практически он считал себя мертвецом. Что он им был, тому порукой служило доверие братьев, платье в крови, которое получит Иаков. Яма была глубока, и о том, чтобы вернуться из нее назад в жизнь, предшествовавшую падению в эти глубины, нечего было и думать; столь же нелепо было бы думать, что вечерняя звезда может вернуться из бездны, куда она закатилась, или что тень может сойти с черной луны, отчего та снова станет вдруг полной. Но представление о смерти звезды, о затемнении и о закате сына, чьим жилищем становится преисподняя, включало в себя представление о восходе, о новом сиянии и воскресении; и поэтому, естественно, надежда Иосифа на жизнь получала оправданье и перерастала в веру. Эта надежда не предполагала возврата из ямы к прошлому, и все-таки в ней была победа над ямой. Да и питал ее Иосиф не только сам по себе, но и за бедного старика, вместе с которым завел себя в яму и который дома упадет запертво. Конечно, он был за пределами жизни сына, миг, когда Иаков получит окровавленную его одежду. Но если вера отца выйдет, по древнему требованию, за пределы смерти, тогда, думал Иосиф в могиле, кровь животного будет все же, как некогда, принята вместо крови сына.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

«КАМЕНЬ ПЕРЕД ПЕЩЕРОЙ»

Измаильтяне

Мерно покачиваясь в седлах, со стороны Гилеада ехали всадники, ехали с востока, с другого берега реки — четверо или пятеро, с несколькими еще верблюдами, нагруженными только товаром, а также с погонщиками и носильщиками, которые удваивали собой число путников; то были странствующие купцы, родом не отсюда и не из тех мест, откуда они ехали, чужеземцы с очень смуглыми лицами и руками, в схваченных войлочными кольцами наголовниках, закутанные в полосатые, удобные в пустыне плащи, с белыми, неторопливо-внимательными глазами. Один из них был почтенных лет, у него была седая борода, и ехал он первым; толстогубый мальчишка в белой, измятой бумажной одежде с закутанной в башлык головой, вел его верблюда за длинный повод, а сам он, сложив руки, закутавшись и чинно склонив голову, сидел в высоком седле. Сразу было видно, что он здесь главный. Остальные были его племянник, его зять и его сыновья.

Что же представляли собой эти люди? На это можно дать и более точный, и более общий ответ. Они были родом с юга страны Едом-Сеир, что находилась на краю Аравийской пустыни, перед Египтом, и «Мицраим», как называют Египет, называлась уже и их область, которая вела и переходила в Страну Ила. Но кроме того и по-настоящему она называлась «Муцри», а на другом наречии «Мозар», или еще «Мидиан» по имени сына Аврама и Хеттуры, и была поселением выходцев из страны Ма'ин, что находилась еще южнее, неподалеку от Страны Ладана, людей, которые вели меновую торговлю между Аравией и Царством Животных и Мертвых, а также между западными землями ханаанеев и Междуречьем и, имея в Муцри торговые склады, посредничали на правах жителей Мидиана между народами и нанимались в проводники царских и государственных караванов, следовавших из страны в страну.

Итак, наши путники были ма'ониты из Ма'ина, или, иначе, минейцы, мидианиты. Но так как Медан и Мидиан, дети пустыни, младшие Авраамовы сыновья от Хеттуры, почти ничем не отличались один от другого, то вместо «мидианиты» можно было сказать «меданим», — они на это не обижались. И даже если бы их назвали просто измаильтянами, воспользовавшись самым общим обозначением всех живущих в степях и пустынях и приняв, стало быть, за их прародительницу не Хеттуру, а другую дочь пустыни, египтянку Агарь, то они помирились бы и на этом: им было не так уж важно, как их называют и кто они такие; главным для них было то, что они существовали на свете и могли торговать, разъезжая по разным странам. Были даже основания назвать старика и его спутников измаильтянами; ведь как жители Муцри они были наполовину египтянами, а полуегиптянином был также Исмаил, красавец огненный, и поэтому с известным правом можно было сказать, что происходят они от него.

Сейчас они ехали с востока не царским и не государственным караваном, отнюдь нет. Они совершали поездку как частные лица, на собственные средства и весьма скромным образом. По случаю праздничных жертвоприношений, к которым обычно приурочивалась торговля на рынке, они доставили жителям заиорданских равнин в большом выборе египетское полотно и украшения из финифти и не без выгоды для себя выменяли эти товары на всякие бальзамические смолы — трагант, ладан, гумми и ладанную камедь. Они были бы вполне довольны поездкой, если бы по эту сторону реки им удалось по сходной цене приобрести еще кое-какого здешнего товару: меду, горчицы, вьюк-другой фисташек и миндаля. Что касалось направления их пути, то они его еще не выбрали. Они еще не решили, поехать ли по дороге, которая шла по гребням гор с севера на юг и вывела бы их через Урусалим и Хеврон к морю у Газы, или же лучше сначала держаться северо-восточной дороги и, быстро выйдя на побережье через равнину Мегиддо, последовать берегом на свою проходную родину.

Пока что, — дело было за полдень, — они гуськом, старик впереди, остальные за ним, въехали в эту долину, чтобы поглядеть, не рыночный ли сегодня день у жителей Дофана и нельзя ли здесь что-либо продать и купить; слева от дороги, по которой шагали их верблюды, был поросший мохом откос, и, обладая неторопливо-внимательными глазами, путники заметили внизу ветхие ступеньки и каменную кладку в кустах; первым увидел это старик со скошенной головой, он сделал знак остальным, велел им остановиться и послал мальчишку в башлыке обследовать это место; ибо все путешественники — исследователи и по природе своей любопытны. Все они должны разузнать.

Мальчишка не замешкался, он только прыгнул вниз и сразу же поднялся, чтобы толстыми своими губами заявить, что в кустах закрытый колодец.

— Если он закрыт и укрыт, — мудро рассудил старик, — значит, стоит его открыть. Кажется, местные жители страдают ревнивой скарედностью, и вполне возможно, что в

этом колодце окажется вода необыкновенной свежести и превосходного вкуса, которой мы могли бы воспользоваться и наполнить свою посуду; я не вижу никого, кто бы помешал нам в этом, и какие же мы измаильтяне, если упустим случай поживиться чужим добром и не натянем нос скупердяям? Возьмите мех и несколько баклажек, и давайте спустимся туда!

Так они и поступили, ибо воля старика всегда все решала. Они велели верблюдам лечь, отвязали сосуды и спустились к колодцу, дядя, племянник, зять и сыновья с несколькими рабами. Здесь они обнаружили, что на месте нет ни ведра, ни шеста, чтобы зачерпнуть воды; это, однако, их не смутило, они решили опустить в колодец кожаный мех и набрать прямо в него драгоценной, ревниво укрытой воды. Старик сел на обломок камня у стенки, оправил платье и движением смуглой руки дал знак отвалить крышку, разделенную трещиной на две части.

— Хотя этот колодец, — сказал старик, — укрыт и закрыт, он находится в довольно запущенном состоянии. По-видимому, здешние жители, с одной стороны, ревнивы, а с другой — нерадивы. Покамест, однако, я еще не склонен сомневаться в доброкачественности его воды; это было бы преждевременно. Ну, вот, половина камня отвалена. Отвалите же и вторую молодыми своими руками и положите ее на плиты рядом с ее зеленоватой сестрой! Ну, как? Светла ли улыбка водяного круга и чисто ли его зеркало?

Они стояли вокруг колодца на обегавшей его низкой ступени, наклонившись над глубоким жерлом.

— Колодец пересох, — сказал зять, не поворачивая головы к старику и продолжая глядеть вниз. Едва он это сказал, все наострили уши. Из глубины донеслись стоны.

— Не может быть, — сказал старик, — чтобы стоны шли из этого колодца. Я не верю своим ушам. Давайте замрем, чтобы ничем не нарушать тишину, и прислушаемся, не подтвердится ли этот звук повтореньем.

Стоны повторились.

— Теперь я вынужден поверить своим ушам, — решил старик. Он встал и, поднявшись на ступеньку, оттеснил локтями мешавших ему, чтобы самому заглянуть в яму.

Остальные из вежливости ждали, что он скажет, но он был уже слаб глазами и ничего не увидел.

— Видишь ли ты что-нибудь, Мибсам, мой зять? — спросил он.

— Я вижу на дне, — осмелился теперь заявить тот, — что-то беловатое, оно шевелится и похоже на членосоставное существо.

Кедар и Кедма, сыновья, подтвердили это наблюдение.

— Поразительно! — сказал старик. — Полагаясь на вашу зоркость, я окликну это существо — вдруг оно отзовется? Эй! — крикнул он в колодец во весь свой стариковский голос. — Кто там или что там стонет в колодце? Естественно ли для тебя твое место или ты предпочел бы покинуть его?

Они обратились в слух. Прошло мгновенье, другое. Затем они услышали слабый, далекий голос:

— Мать! Спаси сына!

Тут все пришли в величайшее волнение.

— Поднять. И немедленно! — воскликнул старик. — Скорее веревку, мы бросим ее и вытащим на свет это существо, ибо его местопребывание явно не отвечает его природе. Здесь нет твоей матери, — крикнул он снова вниз, — но над тобой добродетельные люди, которые готовы спасти тебя, если ты этого хочешь! Вот видите, — обратился он для разнообразия к своим спутникам, — чего только не случится и с чем только не столкнешься в дороге. Это одно из самых удивительных приключений, какие бывали у меня между потоками. Признайте, что мы правильно поступили, осмотрев этот укрытый и закрытый колодец. Кто, как не я, подал такую мысль? Люди робкого десятка, наверно, сейчас помедлили бы или пустились в бегство, и по вашим более чем смущенным лицам я прекрасно вижу, что и вам не чужды подобные побуждения. Не стану отрицать, что это жутко — услышать голос из бездны, и очень уж напрашивается мысль, что с нами говорила душа этого заброшенного колодца или какой-нибудь другой дух бездны. Однако нужно взглянуть на дело с практической стороны и сделать все, что от нас требуется, ибо в столах мне слышалась крайняя нужда в помощи. Где же веревка? Способно ли ты, существо, — крикнул он в яму, — схватить веревку и обвязаться ею, чтобы мы вытащили тебя?

Снова прошло несколько мгновений, прежде чем последовал ответ. Затем донеслось еле слышно:

— Я связан.

Старик разобрал эти слова только после того, как они были повторены, хотя он и приставил ладони к ушам.

— Вы слышите! — сказал он затем. — Связан! Это в равной мере затрудняет наше вмешательство и увеличивает необходимость его. Нам придется кого-нибудь из вас спустить туда, чтобы он навел там порядок и спас это существо. Где же веревка? Вот и она. Мибсам, зять мой, тебе я назначаю спуститься туда. Я тщательно прослежу за тем, как тебя обвяжут, чтобы тебя, как руку, опустить в глубину и поднять с добычей. Надежно овладев этой добычей, ты крикнешь: «Тяните!» — и общими силами мы вытащим тебя, руку, вместе с добычей.

Мибсаму волей-неволей пришлось согласиться. Это был молодой человек с коротким лицом, довольно длинным, но приплюснутым носом и глазами навыкате, белки которых резко выделялись на его смуглом лице. Он снял со своих курчавых волос покрывало, скинул плащ и поднял руки, давая обвязать себя веревкой, отличавшейся, как он знал, надежной прочностью: это была не пеньковая бечева, а тесьма из египетского папируса, прекрасно отмятого, трепленного и разглаженного, товар не рвущийся; они везли несколько мотков ее и торговали ею.

Вскоре, обвязанный и привязанный, зять был готов к спуску. Обвязывали его все, и Эфер, племянник старика, и сыновья и рабы. Затем Мибсам сел на край колодца, оттолкнулся и нырнул в сухую глубину, а остальные, выставив для упора одну ногу вперед, понемногу отпускали веревку. Прошло всего несколько мгновений, и она перестала натягиваться, ибо Мибсам достиг дна. Они могли теперь не упираться одной ногой и подойти к самой яме, чтобы в нее заглянуть. До них доносились глухие звуки: Мибсам что-то говорил этому существу и, пыхтя, возился с ним. Затем, как ему было наказано, он крикнул: «Тяните!» Они сделали свое дело и под однозвучные возгласы вытащили двойной груз, и

старик направлял их работу заботливыми руками. Зять перевалился через стенку с жителем колодца в руках.

Как удивились купцы, увидав связанного мальчика! Они возвели глаза и воздели руки к небу, закачали головами и защелкали языком. Затем они уперлись ладонями в колени, чтобы рассмотреть свою добычу, ибо мальчика опустили на круглую ступеньку и прислонили к стенке колодца. Связанный, с повисшей головой, он сидел, распространяя запах гнили. На нем не было ничего, кроме бронзовой цепочки с амулетом на шее и перстня с приворотным камнем на пальце. Его раны покрылись струпьями и кое-как зажили там внизу, а отек на глазу настолько уменьшился, что он мог уже открыть этот глаз. Время от времени он это и делал. Преимущественно глаза его были закрыты, но иногда он вяло поднимал ресницы и горестно, хотя и с любопытством, косился исподлобья на своих освободителей. Он даже улыбнулся, видя их изумление.

— Милосердная мать богов! — воскликнул старик. — Что же это мы выудили из глубины! Не дух ли это заброшенного колодца, несчастный и полуживой оттого, что вода ушла от него и он оказался на суше? Взглянем, однако, на дело с практической стороны и сделаем все необходимое для этого существа. Ибо с земной точки зрения он представляется мне мальчиком благородной, если не благороднейшей крови, неведомо как угодившим в беду. Поглядите на эти ресницы и на эти ладные члены, хотя они замарались и дурно пахнут от пребывания в глубинах! Кедар и Кедма, вы поступаете невежливо, закрывая ноздри, ибо время от времени он поднимает веки и видит это. Прежде всего освободите его от пут, перережьте их, вот так, и принесите молоко, чтобы его напоить! Повинуется ли тебе язык, сын мой, настолько, чтобы объяснить нам, кто ты таков?

Как ни был слаб Иосиф, он мог говорить. Но у него не было ни малейшего желания посвящать этих измаильтян в семейную распрю, которая совершенно их не касалась. Поэтому он только молча взглянул на старика и беспомощно улыбнулся, показав движеньем освобожденной руки перед губами, что говорить не в силах. Ему принесли молока, и он пил его из глиняного горшка, который держал раб, ибо руки Иосифа онемели от пут. Он пил так жадно, что, едва он оторвался от горшка, как добрая часть выпитого легко изверглась наружу, как у грудного младенца. Когда, вслед за этим, старик спросил его, сколько же времени он пробыл в колодце, Иосиф показал ему три пальца в знак того, что провел там три дня, и этот ответ, соотнесенный минейцами с тремя днями пребывания в преисподней новой луны, показался им весьма знаменательным и замысловатым. Когда они пожелали узнать, как он попал туда, другими словами, кто его туда бросил, он в ответ опять ограничился знаком, указав лбом вверх, так что осталось неясно, сделали ли это люди или же тут были замешаны небесные силы. Когда же они снова спросили его, кто он такой, он прошептал: «Ваш раб», — и тотчас упал без сил, и они так ничего и не узнали.

— Наш раб, — повторил старик. — Да, конечно, поскольку нашли его мы и без нас он вообще перестал бы дышать; Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, насколько я понимаю, здесь налицо одна из тех тайн, которых так много в мире и на след которых иной раз случается напасть путешественнику, к его удивлению. Нам не остается ничего другого, как взять это существо с собой, ибо мы не можем ни оставить его здесь, ни построить здесь хижину, чтобы дать ему собраться с силами. Я замечаю, — прибавил он, — что этот колодезный мальчик каким-то образом трогает мое сердце и окунает его во что-то приятное, сам не знаю во что. Дело тут не только в состраданье, не только в тайне, которую он носит с собой. Нет, каждого человека окружает нечто такое — темное или светлое, — что не является его плотью, но все-таки от нее исходит. Старые, опытные глаза различают это лучше, чем глупые молодые, которые хоть и видят, а не смотрят. И так как я пристально гляжу на этого найденыша, то, что его окружает, кажется мне на

редкость светлым, и я совершенно уверен, что это находка из тех, которыми не бросаются.

— Я умею читать камни и писать клиньями, — сказал Иосиф, чуть приподнявшись. Затем он снова упал на бок.

— Вы слышите? — спросил старик после того, как ему повторили эти слова. — Он умеет писать и хорошо воспитан. Это ценная находка, я же вам говорил, и пренебрегать ею нельзя. Мы возьмем его с собой, ибо благодаря тому, что меня осенило обследовать этот колодец, нашли мальчика именно мы. Хотел бы я видеть, кто посмеет назвать нас разбойниками за то, что мы пользуемся правом нашедшего, и нам дела нет до людей, которые бросили или по небрежности потеряли найденное нами. А если таковые объявятся, мы имеем право потребовать вознаграждения и хорошего выкупа, так что в любом случае дело обещает быть прибыльным. Очнитесь, наденьте на него этот плащ, ибо он вышел из глубины, как из утробы матери, голым и грязным, словно бы заново родившись на свет.

Старик указал на сброшенный плащ зятя Мибсама, и владелец этой одежды ворчливо выразил свое недовольство тем, что ее наденет и совсем замарает колодезный мальчик. Однако зятю это не помогло, воля старика всегда все решала, и рабы отнесли одетое дитя туда, где ждали верблюды. Здесь его усадили: по указанию старика, Кедма, один из его сыновей, юноша с черным кольцом на белом покрывале, отличавшийся спокойно-правильными чертами лица и полной достоинства посадкой головы, так что глядел он на всех и вся сверху вниз из-под полуопущенных век, — помог ему устроиться впереди себя на своем верблюде, и купцы двинулись дальше, по направлению к Дофану, где был, возможно, рыночный день.

О замысле Рувима

В эти дни у сыновей Иакова было тяжело на душе, даже очень тяжело, во всяком случае несколько не легче, чем прежде, когда у них в теле сидела заноза и они тоскливо бродили среди кустов дрока, снедаемые жгучим стыдом. Теперь занозы уже не было, но рана, ею оставленная, не заживала: она продолжала болеть, словно вытащенный из нее шип был отравлен, и ложью было бы с их стороны утверждать, что теперь, когда они отвели душу, им спалось слаще; впрочем, об этом они молчали.

Они вообще стали с недавних пор молчаливы, и если обменивались самыми необходимыми словами, то делали это с усилием и сквозь зубы. Они старались не встречаться глазами, и если один бывал вынужден обратиться к другому, то оба глядели куда угодно, только не в лицо друг другу и после не знали, придавать ли этому разговору какое-либо значение, так как вопрос, который обсуждают одними губами, без участия глаз, вряд ли можно считать действительно выясненным. Но им казалось не столь уж и важным, выяснен он или нет; ибо часто у них вырывались такие слова, как: «Все хорошо», «Все идет правильно», или «Это пустяки!» — хмурые намеки на то существенное, что таилось под спудом всех разговоров и, все еще не разрешившись, отвратительно их обесценивало.

Разрешиться же оно должно было само собой, а это означало опять-таки отвратительный, тягучий и плачевно долгий процесс, медленное умирание где-то там в глубине, о котором нельзя было точно сказать, когда оно кончится, которое, с одной стороны, хотелось ускорить, а с другой — замедлить, чтобы хоть ненадолго сохранить возможность менее безобразного разрешения, как ни трудно было представить себе его.

Тут мы снова просим не считать сыновей Иакова какими-то особенно жестокими парнями и не отказывать им в каком бы то ни было участии: даже самая пристрастная слабость к Иосифу (слабость тысячелетий, от которой это правдивое повествование пытается отрешиться), даже она должна остерегаться такого одностороннего взгляда на вещи, ибо он был иного мненья. Право же, они невольно оказались в таких обстоятельствах и предпочли бы, чтобы все сложилось иначе. Не раз в эти мучительные дни, спору нет, они предпочитали, чтобы дело кончилось сразу и решилось полностью, и злились на Рувима за то, что он все расстроил. Но мрачная эта досада вызывалась только затруднительным положением, в котором они оказались, одной из тех безвыходных ловушек, какие создает жизнь, поистине копирующая порой игру в шашки.

Большой Рувим был отнюдь не одинок в своем желании спасти из ямы дитя Рахили; напротив, среди братьев не было ни одного, кем это желание время от времени не овладевало бы настолько, что ему прямо-таки не сиделось на месте. Но было ли это возможно? Увы, нет, — и торопливая решимость умолкала перед неумолимыми доводами рассудка. Что делать со сновидцем, если вытащить его из колодца перед самой его смертью? Это была стена, и выхода не было; он должен был там остаться. Они не только бросили его в могилу, но всячески привязали его к ней и решительно отрезали ему путь к воскресению. Логически он был мертв, и оставалось лишь празднично дожидаться, чтобы он стал мертвецом и воистину, — задача изнурительная и вдобавок без четких границ. Ведь для этих достойных сожаления людей речь вовсе не шла и «трех днях». Они ничего не знали о трех днях. Зато они знали случаи, когда заблудившиеся в пустыне путники томились неделю и даже две недели без воды и без пищи, прежде чем их находили. Знать это было отрадно, ибо это оставляло место надежде. Знать это было отвратительно, ибо надежда была нелепа и опровергала сама себя. Редко бывает такое затруднительное положение, и тот, кого занимают тут только страдания Иосифа, лицепрятствует.

В этот день, во второй его половине, измученные братья сидели на месте расправы, под красными деревьями, там, где они недавно толковали о допотопном богатыре Ламехе и стыдили себя его примером, чего им делать не следовало бы. Сидели они восьмером, ибо двое отсутствовали: быстроногий Неффалим, который куда-то отлучился, чтобы, может быть, узнать какую-нибудь новость и затем широко распространить свое знание, и Рувим, который удалился еще с утра. По делу, как он заявил им сквозь зубы, отправился он в Дофан — обменять, по его словам, их товар на хлеб и на некоторое количество винного сусла; и в расчете в особенности на последнее братья деловой поход Рувима одобрили. В эти дни, вопреки своему обыкновению, все они налегали на мирное вино, которое производилось в Дофане и своей оглушающей крепостью избавляло от мыслей.

Говоря между нами, Рувим отделился от них совсем для другой цели и упомянул о вине только для того, чтобы сделать приемлемым для них свой уход. В эту ночь, когда большой Рувим бессонно ворочался, окончательно созрело его решение обмануть братьев и спасти Иосифа. Три дня сносил он то, что шагавший по таким светлым стопам, что агнец Иакова погибает в колодце, — теперь довольно, дай бог, чтобы он не опоздал! Он украдкой проберется к нему и на свой страх освободит утопленного; он возьмет его, отведет к отцу и скажет Иакову: «Да, я бушую, как вода, и грех мне не чужд. Но погляди, я добушеввался до доброго дела и возвращаю тебе твоего агнца, которого они хотели растерзать. Искуплен ли грех мой, и стал ли я снова твоим первородным?»

Тут Рувим перестал ворочаться и недвижно, с открытыми глазами, пролежал остаток ночи, обдумывая каждую подробность спасенья и бегства. Дело было не простое: мальчик был связан и ослабел, он не мог схватить брошенную ему Рувимом веревку; веревки было мало, требовался еще крепкий крюк: зацепившись им за путы Иосифа, можно было бы выудить эту добычу; а еще лучше бы, наверно, иметь целое сплетенье

веревки, сеть, которой можно было бы ее выловить; или доску на веревках, чтобы беспомощный Иосиф сел на нее, а он, Рувим, его вытащил. Вот как подробно обдумал Рувим все приспособленья и меры предосторожности; подумал он и об одежде, которую приготовит нагому из собственного запаса, и мысленно выбрал сильного осла, которого для отвода глаз погонит в сторону Дофана с сырами и шерстью, чтобы посадить на него впереди себя мальчика и под покровом темноты беглецами пуститься в пятидневный путь в Хеврон, к отцу. Это решение наполнило сердце большого Рувима горячей радостью, умерявшейся лишь страхом, что Иосиф не доживет до наступленья темноты, и, прощаясь сегодня утром с братьями, он с трудом сохранял в своих речах ту угрюмо-раздраженную односложность, которая вошла у них теперь в привычку.

Продажа

Итак, в восьмером сидели они под развесистыми соснами и, мрачно моргая, глядели в ту даль, где некогда засверкали пляшущие блики, так их смутившие и заманившие их в этот проклятый тупик. И вот они увидели, что справа, через кусты, широко шагая на своих жилистых, подпрыгивающих ногах, к ним приближается их брат Неффалим, сын Валлы, и уже издали увидели, что он несет им какое-то знанье. Но оно не вызывало у них жадного любопытства.

— Эй, братья, ребята, друзья, — выпалил он, — послушайте, что я вам скажу: со стороны Гилеада, сюда носами, движется караван измаильтян, они скоро будут здесь и проедут на расстоянии трех бросков камня от того места, где вы сидите! Кажется, это мирные идолопоклонники, они едут с товаром, и, наверно, с ними можно поторговать, если их окликнуть!

Услыхав это, они устало отвернули головы.

— Ладно, — сказал один из них. — Спасибо тебе за новость, Неффалим.

— Это пустяки, — со вздохом прибавил другой.

И они замолчали в мучительной тоске, не испытывая никакого желания совершать торговые сделки.

Через несколько мгновений, однако, они забеспокоились, зашевелились, и глаза у них забегали. И когда Иегуда — ибо это был он — нарушил молчание и обратился к ним, они вздрогнули и все, как один, повернулись к нему:

— Говори, Иуда, мы слушаем.

И Иуда сказал:

— Сыновья Иакова, я хочу задать вам один вопрос, а именно: какая нам польза убить нашего брата и скрыть его кровь? Я отвечаю за всех вас: никакой пользы. И это отвратительно и нелепо — бросив его в яму, убеждать себя, что тем самым мы пощадили его кровь и можем спокойно есть у колодца, ведь мы же были просто слишком робки, чтобы ее пролить. Осуждаю ли я, однако, нашу робость? Нет, я осуждаю то, что мы обманываем самих себя, устанавливая в мире различие между «поступком» и «случаем», чтобы спрятаться за этим различием, и все-таки спрятаться за ним не можем, ибо оно сомнительно. Мы хотели поступить по примеру Ламеха из песни и убить юнца за нашу рану. Но вот что получается, когда хочешь поступить, как в песне первобытных времен,

по образцу героя. Мы должны были сделать некоторую поправку на современность и вместо того, чтобы убить юнца, мы только обрекаем его на смерть. Позор нам, ибо помесь песни с современностью — это ни то ни се и мерзость! И потому я говорю вам: раз уж мы не смогли поступить по примеру Ламеха и сделали некоторую уступку современности, будем честны до конца и в ладу с современностью и продадим Иосифа!

Тут у всех у них камень свалился с сердца, ибо Иуда сказал то, о чем они все думали, и окончательно открыл им глаза, которые уже шурились от света при молчаливом размышлении об известье Неффалима. Вот где был, наконец, выход из этого тупика, — простой и ясный. Измаильтяне Неффалима указали его: выходом был их путь, путь бог весть откуда в неведомые, чужие, безмерно далекие края, вернуться из которых так же невозможно, как из могилы! До сих пор они не могли вытащить мальчика из колодца, как им этого ни хотелось, — а теперь они вдруг могли это сделать: его нужно было всучить приближавшимся путникам, чтобы он исчез с ними из поля зрения, как исчезает в пустоте падающая звезда вместе со своим следом! Даже Симеон и Левий нашли, что этот выход сравнительно неплох, раз уж героизм старинного образца не удался.

Поэтому все глухо, наперебой, загомонили, спеша выразить свое одобрение: «Да, да, да, да, ты это сказал, Иуда, ты прекрасно это сказал! Измаильтянам — продать, продать, это практично, это выход, это избавит нас от него! Сюда Иосифа, тащите его на свет божий, они уже близко, и в нем еще может быть жизнь, иные выдерживают и по две недели, это известно из опыта. Одни скорее к колодцу, а другие тем временем...»

Но измаильтяне были уже здесь. Сначала, в трех бросках камня отсюда, показался передний, старик, руки под плащом, на высоком верблюде, которого вел мальчик, а за ним, гуськом, остальные: всадники, верблюды с вьюками и погонщики, — не особенно представительная процессия; очень богатыми эти купцы, по-видимому, не были, на одном из верблюдов сидели даже два человека; так, в непоколебимом спокойствии, следовали они своей дорогой, устремив глаза на холм Дофана.

Слишком поздно было бежать за Иосифом, слишком поздно сейчас. Но Иегуда, а с ним и остальные, решили во что бы то ни стало воспользоваться случаем и навязать этим израильтянам мальчика, чтобы те увели его из поля зрения и освободили братьев, ибо они, братья, просто уже не выдержали бы, если бы все осталось по-прежнему. Родоначальник этих путников — разве он не был послан Авраамом в пустыню с Агарью за свои преисподние шутки с Исааком, сыном праведной? Иосифа хотели сплавить в пустыню с сынами Измаила — ситуация не была лишена корней, она существовала однажды и возвращалась опять. Самобытным нововведением, если угодно, была идея продажи. Однако тысячелетия поставили эту идею в вину братьям по слишком строгому счету. Продать человека! Продать брата! Лучше, однако, обуздать свои оскорбленные чувства, отдавая должное жизни и тому явному оттенку трезвой обыденности, который почти начисто лишал эту идею скверной оригинальности. В крайности человек продавал своих сыновей, — а уж то затруднительное положение, в котором оказались братья, разумеется, можно назвать крайностью. Отец продавал своих дочерей замуж — и этих восьмерых вообще не было бы на свете и они сейчас не сидели бы здесь, если бы Иаков, ценой четырнадцатилетней службы, не купил у Лавана их матерей.

Получалась некоторая нескладность, оттого что предмета продажи не было на месте, что он, так сказать, хранился в некоей полевой яме. Но в надлежащий момент его можно было доставить, а сейчас прежде всего следовало познакомиться с чужеземцами и определить спрос на товар.

Поэтому, приставив раструбом руки к губам, братья огласили простор криками:

— Эй, путники! Откуда? Куда? Погодите немного! Здесь тень от деревьев и люди, с которыми можно поговорить!

Голоса братьев, перелетев через поле, достигли слуха путников. Ибо те отвели глаза от холма Дофана и повернулись к кричавшим; вожак кивнул головой и сделал знак остальным завернуть к местным жителям, которые поднялись и приветствовали путешественников: они приложили пальцы к глазам в знак того, что рады видеть гостей, и коснулись руками лба и груди, показывая, что и тут, и там все как нельзя лучше готово к встрече. Рабы, жестикулируя, бегали между верблюдами и издавали гортанные звуки, заставлявшие животных припадать на колени и ложиться. Путники спешили, стороны обменялись обычными любезностями и сели друг против друга: братья на прежнее свое место, а чужеземцы — перед ними, старик — посредине, а справа и слева члены его семьи — зять, племянник и сыновья. Слуги держались поодаль. А в промежутке между ними и господами, позади чужеземцев, сразу за спинами старика и одного из его сыновей, сидел еще некто в плаще; плащ плотно окутывал голову его и лицо, и только у лба складка этого одеянья немного оттопыривалась.

Почему во время предварительной беседы с гостями братья нет-нет да посматривали на эту закутанную фигуру во втором ряду? Такой вопрос, пожалуй, излишен. Безмолвная ее обособленность невольно привлекала к себе внимание; всякий другой на месте братьев вел бы себя в точности так же, да и в самом деле, зачем среди ясного дня закутывать голову, словно приближается пыльная буря абубу? Братья были беспокойны, в известной мере рассеянны во время беседы. Но не из-за этой странной фигуры, — мало ли какие были у нее причины бояться света. Нет, нужно было доставить предмет продажи, и двоим или троим из них следовало бы сейчас удалиться, чтобы достать его из хранилища и где-нибудь в сторонке несколько освежить перед торгом, как о том и было тихо и быстро договорено, когда измаильтяне свернули с дороги. Почему же никто никуда не шел? Вероятно потому, что не было определено, кто пойдет. Но ведь желающие могли и сами вызваться. Быть может, из боязни показаться невежливыми. Но ведь можно было придумать какое-нибудь оправдание. Дан, Завулон и Иссахар, например, — почему они медлили, почему оставались на месте и рассеянно поглядывали на странную фигуру в промежутке за спинами купца и его сына?

В презрительно-гордых оборотах речи, где самоуничижение и хвастовство взаимно уравновешивались, стороны поведали друг другу о своем житье-бытье. Они самые простые пастухи, заявили Иегуда и его братья, жалкий сброд по сравнению с сидящими перед ними владыками, сыновья одного очень богатого мужа, живущего на юге, истинного царя стад и князя божьего, малую, но тоже едва обозримую толику неисчислимых богатств которого они пасут в этой долине, потому что там, на юге, земля, конечно, непоместительна, чтобы жить вместе. Кого же эти ничтожные люди имеют незаслуженную честь видеть перед собой?

Если, сказал старик, отвернувшись от такого великолепия, обратить взор на него и на его спутников, то нельзя вообще ничего увидеть, ибо, во-первых, ослеплены глаза, а во-вторых, смотреть почти не на что. Они сыновья могучего царства Ма'он, что в стране Аравайя, и живут в стране Мозар или Мидиан, — то есть они мидианиты, которых, однако, вполне допустимо именовать также «меданим» или даже просто «измаильтяне» — не все ли равно, как назвать ничто! Они снаряжают караваны, которые не раз достигали конца мира, и торгуют, путешествуя из страны в страну, сокровищами, на которые зарился уже не один царь, золотом Офира, бальзамами Пунта. С царей они спрашивают царскую цену, но с друзей они дорого не берут. Сейчас их верблюды везут молочно-белый слоистый трагант, такой прекрасной ломкости, какой эта долина, наверно, еще не видела, и ладан, непреодолимо привлекающий к себе носы богов, такой душистый, что, понюхав его, не захочешь никаких других благовоний. Вот каково ничтожество этих иноземцев.

Братья поцеловали кончики пальцев и намекнули на соприкосновение земли с их лбами.

Страна Мозар, любопытствовал затем Иегуда, или, скажем, страна Ма'ин находится, наверно, где-то очень далеко в мире, это поистине неведомые края?

— Да, очень далеко отсюда в пространстве, а потому и во времени, — подтвердил старик.

— В семнадцать дней пути? — спросил Иуда.

— В семижды семнадцать, — отвечал старик и добавил, что и это число дней лишь приблизительно соответствует расстоянию, о котором идет речь. И в пути, и на отдыхе — ибо отдых входит в путешествие — нужно без малейшего нетерпения отдаваться на волю времени, предоставляя ему преодолевать пространство. Когда-нибудь, и в конце концов раньше, чем ждешь, оно с ним справится.

Стало быть, заключил Иуда, можно сказать, что эти места находятся вне поля зрения, бог знает где, безмерно далеко?

Так можно выразиться, согласился старик, если ты еще не измерил этого расстояния и не привык объединяться со временем против пространства и пользоваться первым для покорения второго. Если же эта даль тебе знакома, ты думаешь о ней более трезво.

Он и его родные, сказал Иегуда, пастухи, а не странствующие купцы, но не только странствующие купцы, он позволит себе это заметить, знают цену терпеливому союзу со временем против пространства. Как часто приходится пастуху менять пастбище и колодец и, пускаясь в путь, уподобляться владыке дороги — в отличие от землепашцев, оседлых сынов баала! Их отец, царь стад, как уже было сказано, живет в пяти днях пути отсюда на полдень, и это пространство, хотя оно, конечно, не идет ни в какое сравнение с расстоянием семижды семнадцать дней пути, они не раз и в обоих направлениях измеряли, благодаря чему отлично знают здесь каждый межевой камень, каждый колодец и каждое дерево, и ничто на этой дороге не может их удивить. Преодоление пространства, путешествия? Они не собираются тягаться в этих делах с купцами из неведомых краев, но еще мальчиками они переселились в эту страну с востока, из далекой страны рек, где их отец положил некогда начало своему богатству, и жили в долине Шекема, где их отец построил колодец в четырнадцать локтей глубиной и очень широкий, потому что сыны этого города ревниво закрывали доступ к имевшимся водоемам.

— Хула их роду вплоть до четвертого колена, — сказал старик. — Счастье еще, — добавил он, — что сыны долины не покусились на отцовский колодец и не засыпали его в своей ревности, так что он, по крайней мере, не пересох.

Ну, они, братья, сумели им насолить, отвечали девять сыновей Иакова. Хо-хо, они им сильно насолили впоследствии!

— Значит, они жестокие герои, — спросил старик, — твердые и неумолимые в своих решениях?

Они пастухи, гласил ответ, а стало быть, люди боевые, привыкшие защищаться от львов и разбойников и умеющие постоять за себя в споре о выгоне или о колодце. Что же касается пространства, продолжал Иуда, после того как старик отдал должное их мужеству, и что касается подвижности, то еще их предок был странником от природы: он бежал из Ура, что в Халдейской земле, и прибыл в эти долины, которые исходил, не

будучи склонен к оседлой жизни, вдоль и поперек, так что если сложить все его странствия, то получилось бы, пожалуй, семижды семьдесят дней. А чтобы сосватать невесту на диво позднему сыну, он послал в Нахараим, то бишь в Синеар, старшего своего раба с десятью верблюдами; раб этот оказался настолько прытким путешественником, что земля, без очень уж большого преувеличения, скакала ему навстречу. И, найдя невесту у полевого колодца, он опознал ее по тому, что она опустила кувшин свой на руку и напоила его и десятерых его верблюдов. Вот как путешествовали и покоряли пространство в их роду — не говоря уж об их отце и господине, который еще юношей решительно ушел из дому, тоже в Халдейскую землю, до которой было семнадцать и более дней пути. И когда он подошел к колодцу...

— Простите! — сказал старик, вынув руку из складки платья и знаком прервав говорившего. — Прости, дорогой друг пастух, старому твоему рабу одно маленькое замечанье по поводу сказанного тобой. Когда я слушаю тебя и слышу твои речи о вашем племени и его историях, мне кажется, что колодцы занимают в них такое же важное и приметное место, как путешествия и странствия.

— Это как понимать? — спросил Иуда и выпрямил спину.

Одновременно это же сделали все его братья.

— А вот как, — сказал старик. — Когда ты говоришь, я только и слышу «колодец» да «колодец». Вы меняете пастбища и колодцы. Вы наперечет знаете все колодцы страны. Ваш отец построил очень глубокий и широкий колодец. Старший раб вашего праотца сватал невесту у колодца. Кажется, и отец ваш тоже. У меня просто гудит в ушах от колодцев, тобой упомянутых.

— Господин мой, купец, — отвечал Иуда, спина которого так и застыла, — хочет, стало быть, сказать, что я рассказывал тягуче и однозвучно, и я сожалею об этом. Мы, братья-пастухи, не краснобаи, что сидят у коло... Мы не рыночные пустобрехи, которые учились этому ремеслу и складно врут за плату. Мы говорим без всяких выкрутас, как бог на душу положит. Да и хотел бы я знать, как можно говорить о жизни людей, а тем более о пастушеской жизни, и особенно о путешествиях, не вспоминая о колодцах, без которых и шагу сделать нельзя...

— Совершенно справедливо, — согласился старик. — Мой, друг, сын царя стад, отвечает мне в высшей степени убедительно. В самом деле, какое приметное место в жизни людей занимают колодцы и сколько забавных и достопамятных случаев связано с ними и у меня, старого вашего слуги, будь то с хранилищами живой или стоячей воды или даже с колодцами засыпанными и высохшими. Поверьте мне, слух мой, немного уже ослабленный и утомленный годами, вовсе не был бы так чувствителен к слову «колодец» и к упоминаниям колодцев в ваших речах, не случись со мной совсем недавно, в этой уже поездке, именно у колодца одно странное происшествие, которое я отношу к самым удивительным на моей памяти и объяснение которого, уповая на вашу доброту, надеюсь у вас получить.

Братья опять встрепенулись. Спины их были теперь вогнуты от напряжения, а глаза перестали мигать.

— Не было ли, — спросил старик, — в этой местности, где вы пасете скот, случая, чтобы тот или иной человек вдруг пропал и его родные решили, что он либо кем-то похищен, либо съеден львом или другим кровожадным зверем, ибо вот уже три дня его нет как нет?

— Нет, — отвечали братья. Ничего такого они не слышали.

— А это кто? — сказал старик и, отведя руку назад, снял плащ с головы Иосифа...

Он сидел между стариком и его сыном, позади них, прикрытый складками упавшей одежды, скромно опустив глаза. Выражение его лица немного напоминало тот час, когда он под защитой отца рассказал им в поле бесстыдный свой сон о звездах. Братьям, во всяком случае, оно об этом напомнило.

Многие из них, узнав Иосифа, вскочили на ноги; но они тотчас же снова сели, пожимая плечами.

— Вы этого имели в виду, — спросил Дан, поняв, что настал час показать себя змеем и аспидом, — когда говорили о колодце и о пропавших без вести? Больше никого? Ну, что ж, тогда вас действительно можно поздравить. Это — раб-безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на посылках, которого мы наказали за повторное воровство, ложь, богохульство, драчливость, упрямство, распутство и всяческие бесчинства. Ибо хотя он еще так юн, его уже можно назвать скопищем пороков. Вы, значит, нашли и вытащили этого прохвоста из ямы, куда мы упрятали его в исправительных целях? Выходит, что вы нас опередили, ибо только что истек срок назначенного ему наказания и мы хотели даровать ему жизнь, чтобы поглядеть, пошла ли ему впрок эта остратка.

Таково было хитроумие сына Валлы. То, что он говорил, было отчаянно смело, ибо сидевший рядом Иосиф мог подать голос в любую минуту. Казалось, однако, что доверие, которым прониклись к нему братья благодаря яме, все еще оставалось в силе; и оно не было посрамлено, ибо Иосиф и в самом деле ничего не сказал: он по-прежнему сидел, кротко потупив взор, и вел себя в общем как ягненок, который умолкает, когда его стригут.

— Ох, ох! Ай-ай! — сказал мидианит и закачал головой, глядя то на преступника, то на его суровых карателей: постепенно, однако, это качанье перешло в вопросительное покачиванье, ибо что-то тут было не так, и старику хотелось спросить своего найденыша, правда ли все это, но вежливость не позволяла задать подобный вопрос. Поэтому он сказал:

— Что я слышу, что я слышу. Вот он, оказывается, какой негодяй, а мы-то над ним ждали и вытащили его из ямы в последний миг. Ибо должен вам сказать, что, наказывая его, вы немного переусердствовали и зашли весьма далеко. Когда мы его нашли, он был уже так слаб, что вырыгнул молоко, которым мы его напоили, и мне кажется, вам никак не следовало откладывать его освобождение, если он представляет для вас какую-то ценность, хоть она, разумеется, и ничтожна ввиду его пороков, в которых никак не приходится сомневаться, ибо суровость наказания доказываете-что это редкостный негодяй.

Тут Дан прикусил язык, поняв, что он сболтнул лишнего и, несмотря на надежность Иосифа, говорил крайне неосторожно, отчего Иуда и ткнул его сейчас с досадой кулаком в бок. Дан заботился только о том, чтобы объяснить измаильтянам такое жестокое обращение с мальчиком; Иуда же помышлял о продаже, и согласовать обе точки зрения было трудно. Вопреки торговым соображениям, предмет продажи был разруган перед теми, кому намеревались его навязать! Такого с сыновьями Иакова еще не случалось, и они стыдились своей глупости. Но, имея дело с Иосифом, невозможно было, казалось, и выйти из затруднительных положений. Едва выбравшись из одного, ты сразу попадал в Другое.

Иуда взялся спасти купеческую их честь от ловушки. Он сказал:

— Да, признаем, что правда, то правда, наказание было немного суровей, чем следовало, и может, пожалуй, ввести в заблуждение относительно ценности этого раба. Мы, сыновья царя стад, хозяева немного крутые и вспыльчивые, мы строги, а подчас, может быть, слишком строги к виновным в оскорблении нравственности, мы, как это уже было нами признано, довольно тверды и неумолимы в своих решениях. Проступки этого мерзавца были, если взять каждый из них в отдельности, не так уж страшны; только скопление их и подсчет заставили нас призадуматься и определили столь суровую меру наказания, по которой вы можете судить о том, как нас заботит стоимость этого раба, а по тому, как она нас заботит, о самой стоимости. Да, обладая недюжинным умом и способностями и будучи теперь, благодаря нашей строгости, очищен от скверны безнравственности, он представляет собой, несомненно, ценный товар, что я, отдавая дань правде, и отмечаю, — закончил Иегуда; и, стыдясь незадачливого своего хитроумия, Дан порадовался, что сын Лии сумел так мудро выбраться из ловушки.

Старик, не переставая качать головой, сказал: «Гм, гм», — и глаза его снова забегали между Иосифом и братьями.

— Способный, значит, прохвост. Гм, гм, скажите на милость! Как же зовут этого негодяя?

— Никак его не зовут, — отвечал Дан. — Да и как его звать? У него покамест вообще нет имени, ведь мы же сказали, что это безотцовщина, пащенок без роду, без племени, и вырос он, как растет на болоте дикий камыш. Мы зовем его «Эй, ты!» или «Поди сюда!», а бывает, и просто свистнем. Вот какие у него имена.

— Гм, гм, значит, этот преступник — исчадьё болота, сорняк, — сказал старик. — Странное дело, странное дело! Как нас порой удивляет правда! Это и неразумно, и невежливо, но мы все-таки удивляемся. Когда мы вытащили его из колодца, этот сын камыша заявил, что он умеет читать по писаному и сам умеет писать. Это было ложью с его стороны?

— Не слишком наглой, — ответил Иуда. — Мы же подтвердили, что он обладает изрядным умом и недюжинными способностями. Пожалуй, он смог бы составлять списки и вести счет кувшинам масла и моткам шерсти. Если он не посулил большего, он избежал лжи.

— Пусть все ее всегда избегают, — отвечал старик, — ибо правда есть бог и царь, и имя ей Неб-ма-ра. Нужно склоняться перед ней, даже если она диковинна. А мои господа и господа этого сына камыша — умеют ли они читать и писать? — спросил он, сощурился глазами.

— Мы считаем, что это — дело рабов, — коротко ответил Иуда.

— Да, иногда этим занимаются рабы, — согласился старик. — Но и боги пишут имена царей на деревьях, и Тот велик. Может быть, он сам очинил тростинки этому сыну болота и наставил его — да простит мне ибисоголовый такую шутку! Но нельзя не признать, что людьми всех сословий кто-то правит и только писец из книгохранилища правит сам и может не надрываться. Есть страны, где этот сорняк человечества поставили бы выше вас и вашего пота. Если хотите знать, то без особого насилия над своим воображением я могу представить себе и в шутку предположить, что он ваш господин, а вы, поверьте мне, рабы его. Я, видите ли, купец, — продолжал он, — и купец, поверьте мне, опытный; ведь я стар, а я всю жизнь оценивал вещи, их добротность или убожество, и когда дело касается товара, меня нелегко одурачить: чего он стоит, говорят мне мой большой и указательный пальцы, и мне достаточно пощупать ткань, чтобы сказать, толста ли она, тонка или среднего качества, от старой привычки проверять товар у меня уже и голова покосилась,

и никто не выдаст мне завали за ценную вещь. Так вот, этот мальчик — штука тонкая, хотя и одичал после сурового наказания — косоголово и безошибочно я определяю это на ощупь. Я говорю не о способностях, не об уме и не об уменье писать, а только о матерьяле, о ткани — тут я знаток. Поэтому я и позволил себе смелую шутку, сказав, что не удивился бы, если бы услышал, что этот «Поди сюда!» ваш господин, а вы его слуги. Но все, конечно, наоборот?

— Разумеется! — ответили братья, выпрямляя спины.

Старик помолчал.

— Ну, что ж, — сказал он затем и снова сощурил глаза, — коль скоро он ваш раб, то продайте мне этого мальчика!

Сейчас он их проверял. Что-то тут было ему неясно, и предложение это он сделал совершенно внезапно, с неясной хитростью, чтобы посмотреть, какое действие оно окажет.

— Возьми его в подарок, — машинально пробормотал Иуда. И когда мидианит показал, что его ум и сердце оценили эту ужимку, Иуда продолжил: — Правда, это несправедливо, что мы мучились с этим мальчишкой, а теперь, когда он очищен нами от скверны безнравственности, вы пожинаете плоды нашего воспитания. Но уж раз вам он понадобился, назначьте ему цену.

— Нет, назовите вашу цену! — сказал старик. — Такой уж у меня порядок.

Тут начался торг из-за Иосифа, продолжавшийся ввиду упорства сторон пять часов, до вечера и до захода солнца. Иуда от имени братьев потребовал тридцать сребреников; но минеец ответил, что это, конечно, шутка, над которой можно посмеяться, и только. Слыханное ли дело, чтобы за какого-то «Поди сюда!», за какого-то болоторожденного мальчишку, который, как то выяснено и признано, страдает тяжелыми нравственными пороками, платили лунным металлом? Тут отомстило за себя чрезмерное усердие Дана, который, объясняя, почему было выбрано наказание колодцем, сильно снизил ценность продаваемого товара. Старик прекрасно использовал эту ошибку, чтобы сбить цену. Но и сам он сделал промах, поспешив похвастаться своим чувством качества и сослаться на свое умение оценивать товар на ощупь, и это пришлось на руку продавцам. Иегуда поймал его на слове и, играя на его самолюбии знатока, напирал на тонкость мальчика с такой настойчивостью, словно ни он, ни его братья никогда не завидовали этой тонкости и не из-за нее бросили Иосифа в яму; в пылу торга они совсем потеряли стыд, Иуда не постеснялся воскликнуть, что такого тонкого мальчика, которому пристало быть не их рабом, а их господином, никак нельзя уступить меньше чем за тридцать шекелей. Он прикинулся совершенно влюбленным в свой товар и, уже согласившись на двадцать пять сребреников, пустился на крайность — подошел и поцеловал в щеку безмолвно моргавшего глазами Иосифа, крича, что даже за пятьдесят шекелей не согласится расстаться с подобным чудом ума и очарования!

Но старик не отступил и перед этим поцелуем и остался сильнее, понимая, что братья хотят во что бы то ни стало и, по существу, на любых условиях избавиться от мальчишки, что легко удалось выяснить путем мнимого прекращения торга. Он предложил пятнадцать шекелей серебра, по более легкому вавилонскому весу; когда же братья, благодаря его промаху, заставили его надбавить до двадцати шекелей, и притом финикийских, он остановился и перестал рядиться. Он заявил, что нашел мальчика, когда тот был на волоске от голодной смерти, и мог бы просто сослаться на право нашедшего и потребовать выкупа, так что если он не ставит им в счет этой суммы и не вычитет ее из

цены, а готов заплатить им двадцать полновесных финикийских шекелей, то это чистая любезность с его стороны. Если ее не оценят, он отказывается от сделки и вообще не хочет больше слышать об этом жуликоватом болотном мальчишке.

Так сошлись они на двадцати сребрениках общепринятым весом, и в честь гостей братья закололи под деревьями ягненка из стада, выпустили кровь и, разведя огонь, зажарили мясо, чтобы торжественно скрепить сделку, протянув к нему руки и вместе поев, причем Иосиф тоже получил от старика-минейца, своего господина, небольшую толику. Но что он увидел? Он увидел, как братья украдкой и между делом, так что измаильтяне ничего не заметили, окунули в кровь лохмотья узорного покрывала и основательно вымарали их в ней. Они сделали это у него на глазах, без смущения, полагаясь, как на смерть, на его немоту; и он ел мясо ягненка, чья кровь должна была заменить его собственную.

Угощение и подкрепление были очень кстати, ибо торг далеко еще не закончился. Когда главная цена была установлена, сделка совершилась лишь по большому счету; а теперь предстоял мелкий торг по поводу товаров, которые покрыли бы установленную цену. Тут нужно опровергнуть одно представление, распространившееся и утвердившееся благодаря всяким благочестивым описаниям, — представление, будто братья, продавая Иосифа, получили свою выручку в звонкой монете, отсчитанной измаильтянами прямо из кошелька. Старик и не думал платить серебром, не говоря уж, по определенным причинам, о «монете» вообще. Да и кто таскает с собой столько металла, и какой купец не предпочтет расплатиться натурой, ведь каждая покрываемая товаром часть платы — это для него новая возможность извлечь прибыль и, продавая, сделать свою покупку более выгодной? Полтора шекеля серебра минеец отвесил пастухам чистоганом на висевших у его пояса изящных весах; остальное оплачивалось товарами, которые тащили его верблюды. Развьючив животных, на траве разложили благовонья и заречные, прекрасной ломкости смолы, а также веяние другие веселые и полезные вещи — медные и кремневые бритвы и ножи, светильники, лопаточки для мазей, инкрустированные трости, голубой бисер, касторовое масло, сандалины. Целый базар, настоящую мелочную лавку раскинули торговцы перед загоревшимися глазами покупателей, которые могли набрать товару на восемнадцать с половиной сребреников, и за каждый предмет шел такой торг, словно из-за него-то и загорелся сыр-бор, так что наступил настоящий вечер, прежде чем дело кончилось и Иосиф был продан за малое количество серебра и множество ножей, кусков душистой смолы, светильников и тростей.

Затем измаильтяне убрали разложенный товар и стали прощаться. Они не спешили, пока шел торг, и не щадили часов; но теперь снова нужно было сделать время пространственно плодотворным, и они собирались проехать вечером еще некоторое расстояние, прежде чем расположиться на ночлег. Братья их не задерживали. Они только дали им кое-какие советы касательно дальнейшего пути и дорог, на которые следует свернуть.

— Не двигайтесь в глубь страны, — говорили они, — по гребню, что разделяет воды, на Хеврон и дальше — мы этого не советуем и предостерегаем от этого наших друзей. Дороги там скверные, верблюды то и дело спотыкаются, и кругом полно всякого сброда. Поезжайте лучше дальше по этой равнине и сверните на дорогу, что ведет через холмы у подножья Плодового Сада, к краю земли. Так вы укроетесь от опасности и сможете двигаться все время по приятному песку моря, и семижды семнадцать дней, и сколько хотите. Это сущее удовольствие ехать вдоль моря, так бы, кажется, все ехал и ехал, и к тому же это самое разумное!

Прощаясь, купцы обещали, что так и сделают. Затем верблюды встали на ноги с всадниками на спинах. Иосиф, проданный, сидел с сыном старика Кедмой. Он не поднимал век, как не поднимал их все время, даже когда ел мясо ягненка. И братья тоже

стояли понурив головы, покуда путники не исчезли в стремительно сгущавшихся сумерках. Затем они жадно глотнули воздух и выдохнули его со словами:

— Ну, вот, его уже и нет на свете!

Рувим приходит к пещере

А в сумерках, что сгущались, и под большими звездами шелестящего вечера Рувим, сын Лии, окольными дорогами гнал из Дофана к могиле Иосифа своего нагруженного всем необходимым осла, чтобы сделать то, что решил в порыве любви и страха прошедшей ночью.

В груди его, как ни была она широка и могуча, отчаянно билось сердце; ибо Рувим был силен, но мягок и чувствителен, и боялся, что братья настигнут его и помешают спасенью Иосифа, которое должно было очистить и вновь возвысить его, Рувима. Поэтому его мускулистое лицо было в темноте бледным, а его обтянутые ремнями столпоподобные ноги ступали по земле крадучись. Крепко сжав губы, он не понукал осла возгласами и только время от времени, скорости ради, яростно колол равнодушное это животное острием своего посоха в мякоть бедра. Ибо одного боялся Рувим больше всего — что в колодце будет мертвая тишина, когда он придет и тихо произнесет имя, что Иосиф не протянет так долго, что он уже испустил дух и все его, Рувима, приготовления потому бесполезны, особенно веревочная лестница, которую дофанский канатчик связал у него на глазах.

Да, именно на ней как на орудии спасения остановил в конце концов свой выбор Рувим. Она годилась на разные случаи: по ней можно было вскарабкаться, если хватит сил, а если не хватит, то, по крайней мере, сесть между поперечинами, чтобы тебя вытащили на свет мощные руки Рувима, которые некогда обнимали Валлу и, уж наверно, сумеют вытащить из бездны агнца для Иакова. Захватил Рувим и кафтан, чтобы одеть голого Иосифа, и висели на боках осла вьюки с запасом еды на пять дней — пять дней бегства от братьев, которых Рувим решил предать и скопом обратить в пепел: с опущенной головой признался он себе в этом, пробираясь под покровом ночи к могиле. Так дурно, стало быть, поступал большой Рувим, творя доброе дело? Ибо в том, что спасти Иосифа необходимо и что это доброе дело — Рувим был убежден всей душой, а если к добру примешалось зло и своекорыстие, то с этим приходилось мириться; так уж подтасовала жизнь. К тому же и зло Рувим хотел обернуть добром, он верил, что ему и это удастся. Стоит лишь ему обелить себя перед отцом и вернуть себе первородство, и он уж постарается спасти братьев, вырвать их из беды. Его слово будет тогда много значить, и он воспользуется им, чтобы снять вину с братьев и разделить ее между всеми, не исключая даже отца, и все друг друга поймут и простят, и всегда будет царить справедливость.

Так пытался Рувим успокоить свое колотившееся сердце и утешить себя насчет подтасованной жизнью двойственности своих побуждений; и, дойдя до откоса и каменной кладки, он огляделся, не подсматривает ли за ним кто-нибудь, взял лестницу и кафтан и боком спустился к ветхим, поросшим смоковыми побегами ступеням, сбегавшим к колодцу.

На изломанные плиты выема падал свет звезд, но не луны, и Рувим глядел себе под ноги, чтобы не оступиться, он уже набрал воздуха в усталую свою грудь, чтобы торопливо, украдкой, в страстно-радостном ожиданье ответа, в тревоге и страхе, что ответа не будет, крикнуть: «Иосиф! Ты жив?» — и вдруг содрогнулся, и задушевный оклик превратился в

хриплый возглас испуга. Он был не один здесь внизу. Кто-то сидел рядом, маяча при свете звезд белым пятном.

Что стряслось? Кто-то сидел возле колодца, а колодец был открыт: обе половины крышки лежали на плитах, одна на другой, а на верхней сидел кто-то, одетый в короткий плащ, и, опираясь на посох, молча глядел на Рувима сонными глазами.

Застыв в той неестественной позе, какую он принял, споткнувшись, Рувим пристально глядел на незнакомца. Он так растерялся, что у него мелькнула была мысль, будто он видит перед собой Иосифа, который умер и, став духом, сидит у своей могилы. Однако неприятный этот сосед нисколько не был похож на сына Рахили: даже став духом, тот, конечно, не был бы так непривычно долговяз, и у него, по человеческому разумению, не могло быть такой раздутой шеи с маленькой головой. Но почему же тогда был отвален с колодца камень? Рувим вообще перестал что-либо понимать. Он пробормотал:

— Кто ты такой?

— Один из многих, — холодно отвечал сидевший, и под изящным его ртом поднялся подбородок, вылепленный необычайно четко. — Во мне нет ничего особенного, и ты можешь меня не бояться. Кого ты ищешь?

— Кого я ищу? — повторил Рувим, возмущенный этой неожиданностью. — Прежде всего я хочу узнать, чего ищешь здесь ты?

— Ах, вот оно что? Не мне воображать, что здесь можно что-то разыскивать. Меня посадили сторожем этого колодца, и поэтому я сижу здесь и сторожу. Если ты думаешь, что это доставляет мне особое удовольствие и что я сижу в пыли забавы ради, ты ошибаешься. Надо делать, что тебе положено и приказано, не касаясь некоторых горьких вопросов.

Как ни странно, эти слова несколько умилили злость Рувима на присутствие незнакомца. То, что здесь кто-то сидел, вызвало у него большое недовольство и досаду, и Рувиму было приятно услышать, что тому не хочется здесь сидеть. Это их в известной мере объединяло.

— Но кто же посадил тебя? — спросил он с меньшим раздражением. — Ты из местных?

— Из местных, да. Не допытывайся, откуда исходят подобные поручения. Они обычно проходят через множество уст, и мало проку доискиваться до первоисточника, — так или иначе, ты обязан занять свое место.

— Место у пустого колодца! — воскликнул Рувим сдавленным голосом.

— Да, он пуст, — ответил сторож.

— И открыт! — прибавил Рувим и взволнованно, дрожащим пальцем, указал на дыру колодца. — Кто отвалил камень? Уж не ты ли?

Незнакомец, усмехнувшись, скользнул глазами по своей округлой, но слабой руке, которой не скрывало его полотняное платье без рукавов. Нет, в самом деле, не мужские это были руки, чтобы отваливать или наваливать такие камни.

— Я его не наваливал, — сказал незнакомец, с усмешкой качая головой, — и не отваливал. Одно ты знаешь, другое видишь. Здесь потрудились другие, и мне вовсе не пришлось бы

исполнять обязанности сторожа, если бы камень, на котором я сижу, оставался на своем месте. Но кто тебе скажет, где настоящее место такого камня? Иногда оно на жерле; но разве крышку не отваливают, когда хотят подкрепиться содержимым колодца?

— Что ты мелешь? — вскричал Рувим, снедаемый нетерпением. — По-моему, ты заговариваешь мне зубы и, болтая, крадешь у меня драгоценное время! Как можно подкрепиться содержимым высохшего колодца, где нет ничего, кроме пыли и плесени!

— Все зависит от того, — отвечал сидевший, невозмутимо выпятив губы и склонив набок маленькую голову, — что было прежде помещено в эту пыль и погружено в ее лоно. Если это была жизнь, то снова, и притом сторицей, из лона ее живительно воспрянет жизнь. Пшеничное зерно, например...

— Послушай, — дрожащим голосом прервал его Рувим и потряс зажатой у него в кулаках веревочной лестницей, в то время как на руке у него висел кафтан, припасенный для Иосифа, — это невыносимо, что ты сидишь здесь и поминаешь азы, которым впору учить младенца и которые знает наизусть каждый. Прошу тебя...

— Ты довольно нетерпелив, — сказал незнакомец, — и похож, если ты разрешишь мне такое сравнение, на воду, когда она бушует. А тебе следовало бы научиться терпению и ожиданию, основанным на азах и для всех обязательным, ибо тому, кто, бушуя, отказывается от ожидания, нечего искать ни здесь, ни еще где-либо. Осуществление — дело долгое, требующее все новых и новых попыток, оно начерно уже вершится на небе и на земле, но еще не по-настоящему, а лишь как обетованье и попытка. Осуществление подвигается еле-еле, как подвигается, когда его отваливают от колодца, тяжелый камень. Похоже, что здесь были люди, которые потрудились, чтобы отвалить камень. Но им придется еще долго трудиться, прежде чем они по-настоящему отвалят его, да и я тоже сижу здесь, так сказать, попытки ради и начерно.

— Нечего тебе здесь вообще больше сидеть! — воскликнул Рувим. — Поймешь ли ты это наконец? Прочь отсюда, ступай своей дорогой, я хочу остаться один у этого колодца, до которого мне больше дела, чем тебе, и если ты сейчас же не встанешь, я сумею тебя поднять! Разве ты не видишь, мозгляк слаборукий, предоставляющий другим отваливать камни и способный только сидеть, разинувши рот, что бог дал мне медвежьей силу и что, кроме того, в руках у меня веревка, которая годится на многое? Вставай и проваливай, а то за горло схвачу!

— Не трогай меня! — сказал незнакомец, вытянув навстречу разъяренному Рувиму свою длинную, округлую руку. — Помни, что я из местных и что тебе придется иметь дело со всем этим местом, если ты поднимешь на меня руку! Разве я не сказал тебе, что нахожусь на службе? Исчезнуть я бы, конечно, мог, и притом с легкостью, но только не по твоему приказу и не ценой измены своему долгу, который велит мне сидеть здесь для упражненья и сторожить. Ты носишься со своим кафтаном и своими веревками и не замечаешь, в какое смешное положение ставишь себя, придя с этими вещами к пустому колодцу — пустому, по собственному твоему определению.

— Он пуст как колодец! — горячась, пояснил Рувим. — Пуст в том смысле, что в нем нет воды!

— Он пуст вообще, — отвечал сторож. — Когда вы приходите, яма пуста.

Тут Рувим не выдержал, бросился к колодцу, нагнул над ним и, поспешно понизив голос, крикнул в глубину:

— Эй, мальчик! Тсс! Ты жив и есть ли у тебя еще силы?

Сидевший на камне с улыбкой покачал головой и сочувственно щелкнул языком. Он даже передразнил Рувима, сказав: «Эй, мальчик, тсс!» — и щелкнул языком снова.

— Приходят всякие и говорят с пустой ямой! — сказал он затем. — Что за неразумие! Послушай, здесь нет никакого мальчика, нигде его нет. Если кто здесь и был, то его не удержало его место. Не выставляй же себя на смех своими причиндалами и своими разговорами с пустотой!

Рувим все еще стоял, склонившись над жерлом, из которого не доносилось ни звука в ответ.

— Ужасна — простонал он. — Он умер или ушел. Что мне делать? Рувим, что тебе теперь делать?

И его боль, его разочарование, его страх вырвались наружу.

— Иосиф, — закричал он в отчаянье, — я хотел спасти тебя, своими руками помочь тебе выбраться из ямы! Вот лестница, вот кафтан для твоего тела! Где ты? Дверь твоя открыта! Ты пропал! Я пропал! Куда я денусь, если тебя нет, если ты украден и мертв?.. Эй, юноша из этого места! — воскликнул он в необузданной тоске. — Не сиди как чурбан на этом по-воровски отваленном камне, дай мне совет, помоги! Здесь был мальчик, Иосиф, мой брат, дитя Рахили. Его братья и я, мы бросили его сюда три дня назад в наказание за его высокомерие. Но отец ждет его, — нельзя передать, как он его ждет, и если они скажут ему, что агнца растерзал лев, он упадет замертво. Поэтому я пришел с веревкой и платьем, чтобы вытащить мальчика из колодца и вернуть его отцу, ибо тот должен снова быть с ним! Я старший. Как взгляну я в лицо отцу, если мальчик не возвратится, и куда я денусь? Помоги мне, скажи мне, кто отвалил камень и что случилось с Иосифом?

— Вот видишь? — сказал незнакомец. — Придя к колодцу, ты был недоволен моим присутствием и злился, что я сижу здесь на камне; а теперь ты просишь у меня совета и утешения. Теперь ты поступаешь правильно, и, быть может, ради тебя я и посажен у ямы — чтобы бросить в твой разум семя, которое бы тихо в нем проросло. Мальчика здесь уже нет, ты это видишь. Его дом открыт, он не удержал своего жилища, жилища вы уже не увидите. Но кто-то один должен хранить росток ожидания, и поскольку спасти брата пришел ты, ты и будешь этим единственным.

— Чего мне ждать, если Иосифа нет, если он украден и мертв!

— Не знаю, что ты называешь «мертвым» и что «живым». Хоть ты и слышать не хочешь об известных всем детям азах, позволь все же напомнить тебе о пшеничном зерне, лежащем в лоне земли, и спросить тебя, считаешь ли ты его «мертвым» или «живым». В конце концов это все слова. Ведь только в том случае, если зерно упадет в землю и умрет, оно принесет много плодов.

— Все слова, все слова, — ломая руки, воскликнул Рувим. — Ты потчешь меня только словами! Скажи, Иосиф мертв или жив. Вот что мне нужно знать!

— Ясное дело, мертв, — ответил сторож. — Вы же его, как ты сам сказал, погребли, а потом его, наверно, еще кто-нибудь украл или же растерзали дикие звери, и вам вообще ничего другого не остается, как сообщить и вразумительно объяснить это отцу, чтобы он привыкал к этому. Но и это все равно остается двусмысленностью, к которой нельзя

привыкнуть, она все равно таит в себе росток ожидания. Чего только не делают люди, чтобы приблизиться к этой тайне, каких только торжественных обрядов не правят. Я видел, как один юноша сошел в могилу в венке и праздничном платье, а над ним закололи овцу из стада и окропили его кровью, совсем залив его, и он принял эту кровь всеми своими порами. Затем он восстал божеством и обрел жизнь, — во всяком случае, на некоторое время, а потом ему пришлось снова уйти в могилу, ибо жизнь человека проходит много кругов, вновь и вновь возвращаясь к могиле и к рождению: он должен много раз возникать, покуда возникнет.

— Ах, венок и праздничное платье, — простонал Рувим и спрятал лицо в ладонях, — их растерзали и бросили мальчика в яму голым!

— Потому-то ты и явился с этим кафтаном, — отвечал сторож. — Ты хочешь заново его одеть. Но это может сделать и бог. Он тоже может заново облачить раздетого, и еще лучше, чем ты. Поэтому вот тебе мой совет: ступай домой и возьми с собой свой кафтан! Бог может даже дополнительно облечь нераздетого, и в конце концов, раздевание вашего мальчика не так уж много стоило. Я хотел бы, с твоего позволения, бросить в лоно твоего ума семя мысли, что эта история — всего лишь игра и праздник, так же как и история окропленного юноши, что это только набросок, только попытка осуществления, преходящая, которой не следует придавать особого веса, что это только шутка, только намек, по поводу которых можно весело толкнуть друг друга в бок, подмигивая и смеясь. Вполне возможно, что эта яма — могила в пределах лишь малого круга и ваш брат только-только возникает и далеко еще не возник, как возникает и еще не возникла вся эта история. Унеси, пожалуйста, эту мысль в лоне своего ума и дай ей спокойно там умереть и пустить росток. А если она принесет плоды, удели от них и отцу, чтобы подкрепить его силы.

— Отец, отец! — вскричал Рувим. — Не напоминай мне о нем! Как покажусь я отцу, если не верну ему дитя?

— Погляди вверх! — сказал сторож. Ибо в выемке вокруг колодца стало светлее, и ладья месяца, темная половина которого, скрытая и все-таки явственная, незримо-зримо вырисовываясь в глубине неба, проплывала сейчас прямо над ним. — Погляди, как он, сияя, уходит вдаль и прокладывает путь своим братьям! Намеки делаются на небе и на земле непрестанно. Кто не туп умом и способен понять их, тот пребывает в ожидании. Однако и ночь идет вперед, и тому, кто не должен сидеть и изображать сторожа, лучше всего лечь на ухо, закутаться в кафтан и поудобнее подтянуть к подбородку колени, чтобы ему утром подняться снова. Ступай, друг мой! Здесь тебе совершенно нечего искать, и по твоему приказу я не исчезну.

Качая головой, Рувим повернулся и в тяжелой нерешительности поднялся по ступеням и по откосу к своему ослу. Почти всю дорогу оттуда до хижин братьев он качал отяжелевшей головой — и в отчаянье, и в смущенной задумчивости, но он не отличал одного от другого, а только качал головой.

Клятва

Так прибыл он к хижинам, поднял девятерых, которые видели уже первый сон, на ноги и дрожащими губами сказал им:

— Мальчика нет. Куда я денусь?

— Ты? — спросили они. — Ты говоришь так, словно он был братом только тебе, а ведь он был им всем нам. Куда деться нам всем? Вот в чем вопрос. Впрочем, что значит «нет»?

— «Нет» — это значит, что его украли, что он исчез, что он растерзан, мертв! — вскричал Рувим. — Он потерян для отца, вот что это значит. Яма пуста.

— Ты побывал у ямы? — спросили они. — Для чего же?

— Для разведки, — отвечал Рувим в ярости. — Надеюсь, первородному это еще не запрещено! Можно ли после того, что мы сделали, спокойно сидеть на месте? Конечно же, я хотел посмотреть на мальчика и могу вам сообщить, что его нет и что перед нами теперь стоит вопрос, куда нам деться.

— Называть тебя первородным, — отвечали они, — несколько смело, и достаточно назвать имя Валлы, чтобы вернуть тебя к действительности. Прежде мы опасались, что первородство достанется сновидцу; а теперь очередь близнецов, да и Дан мог бы притязать на него, ибо он появился на свет в том же году, что и Левий.

Они уже увидели осла с кафтаном и веревочной лестницей, которого Рувим даже не стал прятать, и без труда все сообразили. Так, так, значит, большой Рувим собирался обмануть их и украсть Иосифа — он хотел вознести себе главу, а их обратить в пепел. Очень мило, нечего сказать. Они договаривались без слов, одними взглядами. Но если так, — и об этом они тоже безмолвно договорились, — то они не обязаны были отчитываться перед Рувимом в том, что они сделали в его отсутствие. Измена за измену: теперь Рувиму не следовало знать об измаильтянах и о том, что те должны были удалить Иосифа из поля зренья. Этот человек был способен пуститься за ними в погоню. Поэтому братья молчали, пожимали плечами по поводу его известия и показывали свое равнодушие.

— Нет так нет, — сказали они, — и совершенно безразлично, что кроется за этим «нет» — украден ли он, исчез ли, растерзан ли, предан ли или продан, — это не важно, и нам на это плевать. Разве мы не мечтали, разве это не было нашим справедливым желанием, чтобы его не стало на свете? Ну, вот, все вышло по-нашему, яма пуста.

Он удивился, однако, что они так хладнокровно приняли эту чудовищную новость, испытующе поглядел им в глаза и покачал головой.

— А отец? — взревел он и воздел руки...

— Этот вопрос решен и улажен, — сказали они, — по умному совету Дана. Отцу не придется ждать и сомневаться, он сразу узнает и осязаемо убедится, что Думузи нет больше на свете, что любимчик погиб. А нас этот знак сплотит перед ним. Погляди, что мы приготовили, покуда ты ходил своими дорогами!

И они принесли лоскутья покрывала, затвердевшие от полувывсохшей крови.

— Это его кровь? — высоким голосом могучего своего тела вскричал Рувим, содрогаясь... Ибо у него мелькнула мысль, что они побывали у колодца раньше, чем он, и убили Иосифа.

Они, улыбаясь, переглянулись.

— Что за вздор ты мелешь! — сказали они. — Все сделано, как договорились, и животное стада отдало свою кровь в знак того, что Иосиф погиб. Это мы принесем отцу и предоставим ему самому толковать это, и отцу ничего не останется, как заключить, что

Иосифа растерзал в поле напавший на него лев.

Рувим сидел, подняв огромные свои колени, и тер кулаками глаза.

— Горе! — стонал он. — Горе нам! Вы бездумно болтаете о будущем, а сами не видите его и не знаете. Ибо дальше для вас неясно и бледно, и у вас не хватает воображения, чтобы приблизить его и хоть на миг перенестись в тот час, когда оно прояснится. Иначе вы ужаснулись бы и предпочли бы, чтобы вас раньше сразила молния или чтобы вас с жерновом на шее бросили в омут, чем расплачиваться за содеянное и расхлебывать кашу, которую вы заварили. Но я-то лежал перед ним, когда он проклинал меня за мою провинность, я-то знаю, как пылает его душа в гневе, и я вижу, и вижу, словно воочию, как страшно поведет она себя в горе. «Это мы принесем отцу, и пусть он толкует». Эх вы, пустомели! Да, он истолкует! Но каково будет глядеть на него во время этого толкованья и кто выдержит, когда заговорит его душа! Ведь бог создал ее мягкой и большой, он научил ее потрясать сердца, изливаясь. Ничего-то вы не видите, ничего-то не представляете себе ясно; поэтому вы и разглагольствуете о будущем без робости. А я боюсь! — воскликнул он, этот человек медвежьей силы, и, встав перед ними во весь свой башенный рост, развел руками. — Куда я денусь во время этого толкованья?!

Остальные девятеро сидели в смущенье, и глаза у всех были испуганно опущены.

— Ну, что ж, — тихо сказал Иегуда. — Здесь нет никого, кто презирал бы тебя за твой страх, брат Ре'увим, сын моей матери, ибо признаться в своем страхе — это мужество, и если ты думаешь, что у нас легко и беспечно на сердце и что нам незнаком страх перед Иаковом, ты ошибаешься. Но зачем проклинать то, что уже случилось, зачем увиливать от необходимого? Иосифа нет на свете, и эта окровавленная одежда тому доказательство. Знак мягче, чем слово. Поэтому мы передадим Иакову этот знак и избавим себя от слова.

— Разве нужно, если уж речь зашла о передаче, — спросил тогда сын Зелфы Асир и по привычке облизнул губы, — разве нужно нам всем вместе подавать этот знак Иакову и присутствовать при толкованье? Пусть кто-нибудь пойдет вперед с платьем и передаст его отцу; а мы, все остальные, прибудем следом и явимся уже после истолкованья. Так, по-моему, будет легче. Я предлагаю, чтобы нашим носильщиком и гонцом был быстроногий Неффалим. Или пусть определит жеребьевка, кто это понесет.

— Жеребьевка! — поспешил крикнуть Неффалим. — Я за жеребьевку, ибо я не болтаю о будущем, если не способен представить себе его, и мужественно признаюсь, что мне страшно!

— Послушайте меня! — сказал Дан. — Теперь все рассужу и всех вас освобожу я! Ведь это же был мой замысел, и в моих руках он податлив и мягок, как мокрая горшечная глина; ну, так я же и улучшу его. Мы не понесем Иакову одежду Иосифа, ни все вместе, ни кто-то один. Мы отдадим ее каким-нибудь чужим людям, которых найдем, жителям этого места и этой округи, прельстив их добрыми словами и некоторым количеством шерсти и простокваши. Мы им втолкуем, что сказать Иакову: «Так, мол, и так, мы случайно нашли это неподалеку от Дофана, в поле, в пустыне. Приглядишься получше, господин мой, не платье ли это твоего сына?» Или что-нибудь подобное. Как только они отбубнят это, пусть убираются. А мы помешкаем еще несколько дней, чтобы он окончательно истолковал этот знак и понял, что потерял одного, а приобрел десятерых. Вы довольны?

— Это хорошо, — сказали они, — и, во всяком случае, приемлемо. Поэтому давайте так и поступим, ибо в данном случае мало-мальски приемлемое приходится считать уже вполне хорошим.

Все с этим согласились, Рувим тоже, хотя он горько усмехнулся, когда Дан упомянул о десятиерых, которых Иаков приобретет взамен одного. Но и потом они все сидели перед хижинами под звездами и продолжали совещаться; ибо они не были уверены в своем единстве и не доверяли друг другу. Десятеро глядели на Рувима, который явно хотел украсть похороненного и предать их, и боялись его. А он глядел на девятерых, которые, услышав, что яма пуста, остались на диво спокойны, и недоумевал.

— Мы должны дать страшную клятву, — сказал Левий, отличавшийся, несмотря на свою грубость, набожностью и с великой охотой и знанием дела соблюдавший священные формальности, — ужасную клятву, что ни один из нас не только не скажет Иакову и вообще никому ни слова о том, что здесь произошло и как мы поступили со сновидцем, но и до конца дней своих ни намеком, ни ненароком не выдаст этой истории, нехстати моргнув, кивнув или подмигнув.

— Он это сказал, и он прав, — подтвердил Асир. — И пусть эта клятва сплотит нас десятиерых и свяжет, чтобы мы были как одно тело и как одно молчанье, словно нас не много, а один человек, который, сжав губы, не разожмет их и перед смертью и умрет, прикусив язык, но не выдаст тайны. События можно удавить, и уничтожить молчаньем, навалив его на них каменной глыбой: от недостатка воздуха и света события задыхаются, так что они как бы и не состоялись. Поверьте мне, так гибнет многое, было бы только молчание достаточно нерушимо, ибо без дыхания слова не сохраняется ничего на свете. Мы должны молчать, словно мы один человек, и тогда с этой историей будет покончено, а молчать пусть поможет нам страшная клятва Левин — пусть она свяжет нас!

Они были согласны с этим, ибо никому не хотелось молчать в одиночку и каждый предпочитал участвовать в некоей общей, могучей нерушимости и спрятаться за нею от собственной слабости. Поэтому Левий, сын Лии, придумал отвратительную формулу клятвы, и, сгрудившись так, что носы их коснулись друг друга, а дыханье слилось, они сложили в одну кучу руки, и в один голос воззвали к всевышнему, Эль-эльону, богу Авраама, Ицхака и Иакова, но, кроме того, призвали на помощь клятве и многих известных им местных баалов, а также Ану Урукского, Эллина Ниппурского и Бел-Харрана, Сина, Луну; в однозвучном речитативе, почти касаясь губами губ соседа, они поклялись, что, кто «об этом» обмолвится или выдаст «это» хотя бы лишь намеком и ненароком, нехстати моргнув, кивнув или подмигнув, тот незамедлительно станет блудницей; дочь Сина, владычица женщин, отнимет у него лук, то есть мужественность, чтобы уподобить его лошаку, вернее, блуднице, которая добывает свой хлеб в переулке; его будут гнать из одной земли в другую, так что ему негде будет приклонить блудливую свою голову, и он не сможет ни жить, ни умереть, ибо и жизнь и смерть будут с отвращеньем отвергать его во веки веков.

Вот какова была эта клятва. Когда они дали ее, на душе у них стало спокойней и легче, ибо они чудовищно застраховали себя. Стоило, однако, им расступиться и разойтись, чтобы каждому уснуть своим собственным сном, как один из них сказал другому (сказал это Иссахар Завулону):

— Если я кому и завидую, так это Туртурре, малышу Вениамину, нашему младшему, который сейчас дома: он ничего не знает и остался вне этих историй и этого союза. Ему, по-моему, хорошо, и я ему завидую. А ты?

— Я тоже, конечно, — отвечал Завулон.

Что же касается Рувима, то он пытался вспомнить слова того назойливого юнца из местных, что сидел на крышке колодца. Вспомнить их было нелегко, ибо очень уж были

они расплывчаты и двусмысленны: эта не столько речь, сколько болтовня никак не поддавалась восстановлению. Но в самой глубине сознания Рувима от нее все-таки остался росток, который ничего не знал о себе, как ничего не знает о себе росток жизни во чреве матери, а мать знает о нем. То был росток ожидания, и Рувим тайно питал его своей жизнью во сне и бденье, питал до седых волос, столько лет, сколько прослужил Иаков у беса Ланана.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

«РАСТЕРЗАННЫЙ»

Иаков скорбит об Иосифе

Мягче ли знак, чем слово? Это очень спорный вопрос. Иуда судил с точки зрения приносящего страшную весть, который, пожалуй, предпочтет знак, потому что знак избавит его от слов. Ну, а тот, кому эту весть приносят? Слово он может отместить от себя в полную силу своего неведения, он может надругаться над ним, как над ложью, как над гнуснейшим вздором и низвергнуть в преисподнюю невообразимой нелепости, где всякой чуши и место, как преспокойно полагает этот несчастный, покуда не заподозрит, что у отвергнутого им слова есть право на дневной свет. Слово доходит до сознания медленно; поначалу оно непонятно, смысл его не сразу улавливается, не сразу становится реальностью, ты волен несколько продлить свое неведение, свою жизнь, свалив ответственность за ту смуту, которую оно хочет учинить в твоём уме и в твоём сердце, на вестника и выставив его обезумевшим. «Что ты говоришь? — можешь спросить ты. — Ты болен? Сейчас я дам тебе воды, и тебе станет лучше. Тогда и расскажешь все толком!» Это обидно слышать, но ради твоего положенья, хозяином которого он является, он прощает тебя, и постепенно его полный разума и жалости взгляд приводит тебя в смятение. Ты не выдержишь этого взгляда, ты понимаешь, что обмен ролями, которого ты, самосохранения ради, добивался, никак невозможен и что скорей уж тебе впору попросить у него воды...

Вот как позволяет слово бороться против правды, оттягивая ее торжество. Немой знак подобных возможностей не дает. Сосредоточенная его жестокость не допускает никаких отсрочек и никакого самообольщения. Он недвусмыслен, и ему не нужно становиться реальностью, потому что он сам — реальность. Он осязаем и пренебрегает щадящей непонятностью. Он не оставляет вообще никаких временных лазеек для ухода от действительности. Он заставляет тебя самого подумать именно то, от чего ты отмахнулся бы, как от безумия, если бы тебя уведомили о том же словами, а значит, либо счесть безумцем себя самого, либо смириться с правдой. Косвенное и непосредственное сочетаются в слове и знаке по-разному, и трудно решить, где непосредственность более жестока — в знаке или в слове. Знак нем, но лишь по той суровой причине, что он является самой сутью дела и не должен говорить, чтобы быть «понятым». Он молча валит тебя за мертво.

Что Иаков при виде платья, как того и ждали, упал без чувств, факт подлинный. Никто, однако, не видел, как это произошло; ибо, отбубнив свою небылицу, дофанские жители, два бедняка, которые за небольшую толику шерсти и простокваши тупо согласились изображать нашедших остатки одежды Иосифа, не стали дожидаться, какое действие окажет их ложь, и тотчас же дали тягу. Иакова, божьего человека, с затвердевшими от крови лоскутьями в руках, они оставили на том месте, где застали его перед волосатым

его домом, и удалились — сначала нарочито медленными шагами, а затем бегом, во весь опор. Никто не знает, как долго он там стоял и глядел на то небольшое, что, как ему пришлось постепенно понять, осталось в этом мире от Иосифа. Но затем он, во всяком случае, упал без чувств, ибо проходившие мимо женщины, жены сыновей, сихемитка Буна, супруга Симеона, и жена Левия, так называемая внучка Евера, увидели его лежащим замертво. Они в испуге подняли его и отнесли в шатер. То, что было у него в руках, сразу открыло им причину случившегося.

Это был, однако, не обычный обморок, а какое-то оцепенение всех мышц и тканей: ни одного сустава нельзя было согнуть, не сломав, и все тело Иакова совершенно окаменело. Явление это редкое, но как реакция на чрезвычайные удары судьбы оно иногда встречается. Это какая-то судорожная защита, какая-то отчаянно упрямая оборона от неприемлемого, которая прекращается лишь исподволь, не позднее, впрочем, чем через несколько часов — как бы капитулируя перед неумолимой и горестной правдой, как бы открывая ей в конце концов доступ.

Сбежавшиеся и созванные отовсюду домочадцы, мужчины и женщины, со страхом наблюдали, как оттаивает обращенный в соляной столп, превращаясь в открытого горю страдальца. У него еще не было голоса, когда он, словно в чем-то признаваясь, ответил давно ушедшим подателям знака: «Да, это платье моего сына!» Затем он закричал страшным, пронзительным от отчаянья голосом: «Его сожрал дикий зверь, хищный зверь растерзал Иосифа!» И как если бы это слово «растерзал» надоумило его, что теперь делать, он стал раздирать свои одежды.

Так как лето было в разгаре и одежда на нем была легкая, справиться с ней не представляло большого труда. Но хотя он вложил в это занятие всю силу своего горя, из-за жутковато-безмолвной обстоятельности его действий длились они довольно долго. В ужасе, тщетно пытаясь жестами унять это исступленье, глядели окружающие, как он, не ограничившись, по скромному их ожиданию, верхней одеждой, явно во исполнение дикого умысла раздирал поистине все, что на нем было, и, срывая с себя лоскут за лоскутом, полностью обнажился. Для человека стыдливого, чье отвращение ко всякой оголенности плоти все всегда уважали, такой образ действий был настолько неестествен и унизителен, что глядеть на это было невмоготу, и домочадцы с протестующими стонами отворачивались и, закутав голову, отступали подальше.

То, что гнало их прочь, правомерно назвать словом «стыд» лишь при одном условии, а именно — если понимать это слово в его конечном, изрядно забытом смысле, как односложное обозначение ужаса, рождающегося тогда, когда первобытная древность вдруг прорывается через пласты цивилизации, на поверхности которой она напоминает о себе только глухими намеками и аллегориями. Таким цивилизованным намеком является раздирание верхней одежды в тяжелой скорби. Это мещанское смягченье первоначального или даже первобытного обычая целиком снимать с себя платье, пренебрегая всяким облаченьем и украшеньем как знаком человеческого достоинства, которое уничтожено и как бы поругано величайшей бедой, и низводя себя до животного. Именно это и сделал Иаков. Одержимый глубочайшей болью, он вернулся к существу обычая, вернулся от символа к грубой сути в ужасной ее неприкрытости; он сделал то, чего «уже не делают», а это, если вдуматься, и есть источник всякого ужаса: на поверхность выходит то, что скрыто внизу; и вздумай он, чтобы выразить глубину своего горя, заблеять бараном, домочадцам от этого тошнее не стало бы.

Итак, они стыдливо бежали; они покинули его — и мы не уверены, что этого так уж хотел достойный сожаленья старик, что в глубине души он не желал внушать ужас и был вполне доволен, когда его оставили одного во время неистовой демонстрации. Однако он был не один, и его демонстрация не нуждалась в присутствии людей, чтобы остаться

верной своей цели и сущности, то есть вызывать ужас. К кому или, вернее, против кого была она обращена, у кого, собственно, должна была она вызывать ужас и кому, будучи выразительным возвратом к первобытному состоянию природы, должна была она показать, сколько атавистически-дикого было в его собственном поведении — это отчаявшийся отец знал доподлинно, и постепенно узнали это и окружающие, в первую очередь заботившийся о нем Елиезер, «Старший Раб Авраама», — тот традиционный старик, который умел так особенно говорить «я» и которому земля скакала навстречу.

Его тоже в самое сердце поразило страшное, вещественно подкрепленное известие, что его красивый и смысленый ученик Иосиф, сын праведной, погиб в дороге, пав жертвой дикого зверя; но, благодаря своей необыкновенной безликости и необычайно широкому чувству собственного достоинства, он сумел принять этот удар довольно невозмутимо, а кроме того, столь необходимые сейчас заботы о горемыке Иакове заставляли его забывать о собственном горе. Это Елиезер приносил своему господину еду, хотя тот целыми днями ничего в рот не брал, это он чуть ли не силой заставлял Иакова прилечь хотя бы ночью в шатре, где тоже не отходил от него. А днем Иаков сидел на куче черепков и пепла в дальнем, совершенно лишенном тени углу поселка, голый, с лоскутьями покрывала в руках, с посыпанными пеплом волосами, бородой и плечами, и время от времени, подобрав черепок, скоблил им свое тело, словно оно было поражено нарывами или проказой, — действия эти носили чисто символический характер, ибо нарывов не было и в помине и скобление тела тоже входило в демонстрацию, на кого-то рассчитанную.

Впрочем, вид этого бедного, изнуренного тела был и без фигурально выраженной оскверненности достаточно плачевен и жалок, и все, кроме старшего раба, с благоговением и страхом избегали места этого самопоругания. Ведь тело Иакова не было уже телом того нежно-крепкого молодого человека, который непобедимо боролся с волоком незнакомцем у Иавока и провел с несправедливой полнотой ветра ночь; не было оно и телом того, кто поздно родил с праведной Иосифа. Около семидесяти, пусть не подсчитываемых, но на поверку сказывающихся лет коснулось уже этого тела, обезобразив его теми трогательно-отталкивающими приметам старости, из-за которых и было так больно видеть его нагим. Молодость любит выставлять наготу напоказ; она сильна сознанием своей красоты. Старость степенно-стыдливо закутывается в одежды, и у нее есть на то основания. Если кому и следовало видеть нагими эту красную от жары, поросшую седым волосом и, как то получается с годами, уже почти женскую по очертаниям грудь, эти бессильные руки и бедра, эти складки дряблого живота, то только старику Елиезеру, который принимал все спокойно, без возражений, не желал мешать своему господину в его демонстрации.

Тем более не мешал он Иакову исполнять прочие, не выходившие за пределы обычного при тяжком горе обряды, особенно сидеть у кучи сора и непрестанно мараить себя пеплом, который смешивался со слезами и потом. Такие действия заслуживали одобренья, и Елиезер позаботился лишь о сооружении на этом месте скорби мало-мальски отвечающего своему назначению навеса, чтобы в самые жаркие часы дня их не так донимало солнце Таммуза. Тем не менее горестное лицо Иакова с отверстым ртом, отвисшей под бородой нижней челюстью и то и дело закатывавшимися, устремлявшимися кверху из непостижимых глубин страданья глазами, побагровело и распухло от жары и от муки, и он сам это отметил, ибо такова уж особенность натур мягких, что они внимательны к своему состоянию и считают своим правом и долгом выразить его словами.

— Побагровело и распухло, — говорил он дрожащим голосом, — лицо мое от плача. Согбенный, сажусь я, и по щекам моим текут слезы.

То не были собственные его слова, это чувствовалось сразу. Так или в этом роде, согласно старинным песням, говорил уже Ной при виде потопа, и слова Ноя Иаков присвоил себе. Ведь это же хорошо и утешительно-удобно, что есть готовые, сохранившиеся от первобытных времен многострадального человечества словосочетания скорби, которые, как по заказу, подходя и к делам позднейшим, дают выход горестям жизни, насколько слова вообще способны дать выход, так что, пользуясь этими формулами, можно соединять собственное горе со старинным, которое всегда налицо. Иаков и в самом деле не мог оказать своему горю большей чести, чем приравняв его к великому потопу и применив к нему слова потопной чеканки.

Вообще в его словах и плачах было, при всем его отчаянии, много чеканного и получеканного. Особенно отдавала чеканностью непрестанно вырывавшаяся у него жалоба: «Хищный зверь сожрал Иосифа! Растерзан, растерзан Иосиф!» — хотя не следует думать, будто это сколько-нибудь лишало ее непосредственности. Ах, в непосредственности не было недостатка, несмотря на чеканность.

— Агнец заколот, заколота овца, родившая агнца; — голосил Иаков, раскачиваясь и рыдая. — Сначала овца, а теперь и агнец! Овца покинула агнца, когда до убежища оставался всего один переход; а теперь заблудился, теперь пропал и покинутый агнец! Нет, нет, нет, нет! Это слишком, это слишком! Горе, горе! О любимом сыне я плачу. О ростке, корни которого вырваны, о надежде своей, вырванной, как саженец, — плачу. Мой Даму, дитя мое! Преисподняя стала его жилищем! Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду, растерзан, растерзан Иосиф...

Елиезер, время от времени вытиравший ему лицо смоченным водой платком, участвовал в его плачах, поскольку они в большей или меньшей мере восходили, как видим, к готовым формулам и шаблонам: во всяком случае, он всегда, то скороговоркой, то нараспев, подхватывал такие застывшие повторы, как возглас «Горе!» или «Растерзан, растерзан!». Впрочем, часами плакал и весь поселок, как плакал бы и в том случае, если бы скорбь о гибели обаятельного хозяйского сына была не столь непритворна. «Хой ахи! Хой адон! — Бедный брат! Бедный господин наш!» — доносились до Иакова и Елиезера дружные крики, и еще они слышали, как домочадцы, хотя и не в таком уж буквальном смысле, отказывались есть и пить, оттого что саженец вырван и зеленый росток засох под ветром пустыни.

Хорошая вещь обычай, благотворно размеряющий предписаниями веселье и горе, чтобы они не буйствовали, не выходили из берегов, а твердо держались четкого русла. Иаков тоже чувствовал полезность и благодатность связывающей традиции; но внук Авраама был слишком самобытной натурой и слишком живо связывалось у него общее чувство с личными мыслями, чтобы он удовлетворялся однообразными формулами. Он говорил и плакал также совершенно свободно, не по чекану, и при этом тоже Елиезер вытирал ему лицо, вставляя иногда слова успокоительного одобрения или предостерегающего несогласия.

— То, чего я боялся, — бормотал Иаков слабым от горя, высоким, захлебывающимся голосом, — меня постигло, и то, о чем я тревожился, произошло! Понимаешь ли ты это, Елиезер? Способен ли это постичь? Нет, нет, нет, нет, это непостижимо уму, чтобы действительно случилось то, чего ты боялся. Если бы это меня не тревожило, если бы это стряслось неожиданно, я бы поверил; я бы сказал своему сердцу: ты было безопасно и не предотвратило зла, потому что ты вовремя не углядело его. Понимаешь, неожиданному можно поверить. Но когда сбывается то, чего ты опасался, когда оно все-таки осмеливается сбыться, это, по-моему ужасно и противно уговору.

— Нет никаких уговоров относительно наказаний, — возразил Елиезер.

— Да, по закону их нет. Но ведь у человеческого чувства тоже есть разум, оно тоже способно негодовать! Зачем же даны человеку страх и забота, если не для того, чтобы предотвращать зло и заблаговременно предвосхищать злые мысли судьбы? Судьбе это, конечно, досадно, но, устыдившись, она говорит про себя: «Разве эти мысли еще мои? Нет, это мысли человека, а я от них отказываюсь». Но что же случится с человеком, если его забота ничего не будет стоить и он будет бояться напрасно, то есть по праву? И как жить человеку, если уже нельзя положиться на то, что его опасения не оправдаются?

— Бог свободен, — сказал Елиезер.

Иаков сомкнул губы. Он поднял брошенный было черепок и опять стал скрести свои символические нарывы. Ничем другим он покамест не отозвался на упоминание о боге. Он продолжал:

— Как я тревожился и боялся, что вдруг на дитя мое нападет дикий зверь чащи и загрызет его, я пропускал мимо ушей насмешки людей над моими страхами и мирился с тем, что они называли меня «старая нянька». Я был смешон, как человек, который твердит: «Я болен, я смертельно болен!» — а на вид совершенно здоров и не умирает, так что словам его никто, и наконец даже он сам, не придает никакого значения. Но вот люди узнают, что он умер, и, рассказываясь в своей насмешливости, говорят: «Оказывается, он был совсем не так глуп». Может ли этот человек хоть теперь порадоваться их посрамлению? Нет, ибо он мертв. И он предпочел бы уж остаться глупцом в их глазах, да и в своих, чем быть оправданным таким безрадостным образом. Вот я сижу среди мусора, лицо мое побагровело и распухло от плача, и по щекам моим, смешиваясь с пеплом, текут слезы. Могу ли я торжествовать над насмешниками, потому что это случилось? Нет, ибо это случилось. Я мертв, ибо мертв Иосиф, он растерзан, растерзан...

— Вот оно, Елиезер, гляди — разноцветное платье, лохмотья покрывала! Я поднял его в спальне с лица любимой и праведной и протянул ей цветок моей души. Но потом оказалось, что это была не она, что Лаван перехитрил меня, и душа моя долго чувствовала себя несказанно поруганной и растерзанной, — куда праведная в жестоких муках не принесла мне моего мальчика, Думузи, мое сокровище. А теперь растерзан и он, и убита отрада очей моих. Можно ли это понять? Приемлемо ли оно, такое испытание? Нет, нет, нет, нет, я отказываюсь жить. Я хочу, чтобы душа моя удавилась и умерли эти кости!

— Не греши, Израиль!

— Ах, Елиезер, не тебе учить меня бояться бога и преклоняться перед его всемогуществом! Он требует платы за имя, за благословение и за горькие слезы Исава, и платы великой! Он назначает цену по своему произволу и взыскивает ее без поблажек. Он не вступал со мной в торг, не давал мне выговорить сходную цену. Он взымает то, что я, по его мнению, могу уплатить, не спрашивая меня, по силам ли это моей душе. Разве я могу спорить с ним, как равный с равным? Я сижу среди пепла и скребу свое тело — чего еще ему нужно? Губы мои говорят: «Что господь ни сделает, все ко благу». Пусть он глядит на мои губы! А что у меня на сердце, это мое дело.

— Но он читает и в сердце.

— Это не моя вина. Это он, а не я, так устроил, что ему видно и сердце. Лучше бы он оставил человеку убежище, чтобы тот, укрывшись от его всемогущества, мог роптать на неприемлемые испытания и иметь свое мнение о справедливости. Его убежищем было это сердце и его вдохновением. Когда он приходил туда в гости, оно бывало украшено и

подметено, и его ждало почетное место. А теперь там нет ничего, кроме пепла, смешанного со слезами, да пакости горя. Пусть он сторонится моего сердца, чтобы не замараться, и глядит на мои губы.

— Не грешил бы ты лучше, Иаков бен Ицхак.

— Перестань толочь воду в ступе, старый слуга! Пекись обо мне, а не о боге, ибо он куда как велик и ему наплевать на твое заступничество, а я — одно сплошное несчастье. Не вразумляй меня извне, а говори со мной от души, никаких других речей я не вынесу. Знаешь ли ты, понял ли ты, что Иосиф погиб и никогда, никогда не вернется ко мне? Только осознав это, ты перестанешь толочь воду в ступе и начнешь говорить со мной от души. Собственными устами я послал его в эту дорогу, сказав: «Поезжай в Шекем и поклонись своим братьям, чтобы они возвратились домой и Израиль не был подобен дереву, с которого осыпались листья». Предъявив к нему и к себе это требование, я обошелся с нами сурово и отправил его одного, без слуг; ибо его неразумие я считал своим неразумием и не скрывал от себя того, что знал бог. Но бог скрыл от меня то, что знал он, ибо он внушил мне приказать мальчику «Поезжай!», утаив свое знание и дикий свой умысел. Вот какова верность могучего бога и вот как он платит правдой за правду!

— Последи хотя бы за своими губами, сын праведной!

— На то и даны мне губы, чтобы выплевывать не съедобное. Не говори извне, Елиезер, говори изнутри! Что себе думает бог, взваливая на меня тяжесть, от которой у меня выкатываются глаза и я теряю сознание, потому что она не по мне? Разве я каменный, разве у меня медная плоть? Сотвори он меня в премудрости своей из железа, тогда другое дело, но так это не по мне... Дитя мое, мой Даму! Господь его дал, господь и взял — лучше бы он не дал его и даже не допустил, чтобы я родился на свет, лучше бы вообще ничего не было! О чем помышлять, Елиезер, куда податься в такой беде? Не будь меня, я ничего бы не знал, и ничего бы не было. Поскольку, однако, я есмь, то все-таки лучше, чтобы Иосиф погиб, чем чтобы его никогда не было, ибо так у меня есть то единственное, что мне остается, — моя скорбь о нем. Ах, бог позаботился о том, чтобы мы не могли быть против него и, говоря «нет», говорили «да». Да, он дал его моей старости, и хвала его имени за это! Он не пожалел рук своих и сделал его прекрасным. Он надоил его, как молоко, и ладно воздвиг его кости, он облек его в кожу и плоть и пролил на него сладость, и вот Иосиф взял меня за мочки ушей и со смехом сказал: «Папочка, дай это мне!» И я дал это ему, ибо я не был ни каменным, ни железным. А когда я послал его в эту дорогу и предъявил это требование, он воскликнул: «Вот я», — и ударил пятками оземь, — как подумаю об этом, так вопль вырывается из груди моей, словно поток! Ибо так же я мог бы возложить на него дрова для всеожжения и, взяв его за руку, понести огонь и нож. О Елиезер, я честно и сокрушенно признался богу, что на это у меня не хватило бы силы. Ты думаешь, он милостиво принял мое смирение и сжалился надо мной из-за моего признания? Как бы не так! Он даже глазом не моргнул и сказал: «Да случится то, чего ты не в силах сделать, и если ты не можешь это отдать, я возьму это сам». Вот что такое бог.

— Вот оно, погляди, его платье, твердые от крови лохмотья. Это кровь его жил, которые вместе с его мясом разорвал зверь. О ужас, ужас! О грех бога! О дикое, слепое, бессмысленное преступленье!.. Слишком большое требование предъявил я к нему, Елиезер, ведь он был еще дитя. Он сбился с дороги и заблудился в пустыне, и тогда на него напало это чудовище и подмяло его под себя, чтобы загрызть, не обращая внимания на его страх. Может быть, он звал меня, может быть — мать, которая умерла, когда он был маленький. Никто не услышал его, об этом уж позаботился бог. Как ты думаешь, на него напал лев или это дикий кабан, вздыбив щетину, вонзил в него свои клыки...

Он содрогнулся, умолк и погрузился в раздумье. Слово «кабан» не преминуло вызвать ассоциации, которые перевели тот единственный в своем роде ужас, что терзал его чувство, в высокую сферу образцов, прообразов и вечного коловращения, как бы вознося этот ужас к звездам. Вепрь, свирепый главный кабан — это был Сет, богоубийца, Красный, это был Исав, которого он, Иаков, в виде исключенья, сумел умилоstinить, рыдая у Елифазовых ног, но который, как правило, согласно прообразу, разрывал на части своего брата, а подчас и сам представлял здесь внизу расчлененным на десять частей. В этот миг к сознанию Иакова из бездны, куда он провалился, получив кровавые клочья, чуть было не поднялось некое озаренье, некое легендарное подозренье: он смутно догадывался уже, кто был этот проклятый, растерзавший Иосифа вепрь. Однако, прежде чем эта догадка вышла на поверхность, он позволил ей снова исчезнуть во тьме и даже сам немного помог ей туда уйти. Как это ни странно, он не хотел ничего о ней знать и отказывался узнавать горнее в дольном, потому что подозренье в виновности, дай он ему только волю, обернулось бы против него самого. Его мужества, его правдолюбия хватило на то, чтобы признать, что Иосиф должен отбыть наказание, и поэтому он предъявил к себе требование отправить его в дорогу. Но признать свою совиновность в гибели мальчика, — а совиновность эта была бы совершенно очевидна, если бы его подозренье пало на брата, то есть на братьев, — у него, что вполне простительно, ни мужества, ни правдолюбия уже не хватило. Согласиться, что он-то и был главный кабан, который своей самоупоенной, безумной любовью погубил Иосифа, — такое требование он втайне считал чрезмерным и, казнимый жестокой болью, от этой мысли отмахнулся. А между тем невыносимая жестокость этой боли вызывалась именно этим отвергнутым и загнанным в темноту подозреньем, да и тяга к пышным демонстрациям горя перед богом шла в основном оттуда же.

А бог Иакова занимал, бог стоял за всем, к богу были устремлены его допытывающиеся, плачущие, отчаявшиеся глаза. Лев ли, кабан ли — задумал, разрешил, словом, совершил это страшное дело бог, и он, Иаков, испытывал определенное, по-человечески понятное удовлетворение оттого, что отчаяние позволяло ему спорить с богом, находиться в возвышенном, по существу, состоянии, которому странно противоречило внешнее унижение в пепле и наготе. Впрочем, унижение это было необходимо для спора. Иаков бередило свое горе — для этого он говорил без обиняков и не следя за своими губами.

— Вот что такое бог! — повторял он с подчеркнутым содроганьем. — Господь не спрашивал меня, Елиезер, он не приказывал мне испытания ради: «Принеси мне в жертву сына, которого любишь!» Возможно, что, сверх смиренного моего ожиданья, у меня хватило бы на это сил, и я повел бы дитя свое в землю Мориа, хотя бы оно и спросило меня, где же овца для всесожженья; возможно, что я не лишился бы чувств от этого вопроса и заставил бы себя занести нож над Исааком, уповая на овна, — ведь дело шло не только об испытании! Но нет, Елиезер, все было не так. Он даже не удостоил меня испытания. Нет, поскольку я честно признаю за собой долю вины во вражде между братьями, он выманивает у меня дитя и заставляет его заблудиться, чтобы на него напал лев, чтобы кабан вонзил клыки в его мясо и разворошил рылом его кишки. Должен тебе сказать, что этот зверь жрет решительно все. Он сожрал и его. И кусок Иосифа он отнес в свое логово своим детенышам, кабанятам. Можно ли это понять и принять? Нет, это несъедобно. Я выплевываю это, как выплевывает птица перья и пух. Вот оно лежит. Пусть бог делает с этим все, что ему угодно, ибо это не для меня!

— Образумься, Израиль!

— Нет, не образумлюсь, распорядитель в доме моем. Бог отнял у меня рассудок, пусть же он выслушает теперь мои слова! Он мой создатель, я знаю это. Он надоил меня, как молоко, и дал мне сгуститься, как сыру, я это признаю. Но что случилось бы с ним без нас, без праотцев и без меня? Неужели у него короткая память? Неужели он забыл все муки и

труды, которые претерпел человек ради него, неужели забыл, как Аврам открыл его и удумал и он, бог, поцеловав себе пальцы, воскликнул: «Наконец-то я назван господом и всевышним!» Я спрашиваю: неужели он забыл о завете, если скрежещет на меня зубами и ведет себя так, словно я враг ему? В чем мое преступление, моя вина? Пусть он укажет их мне! Разве я кадил местным баалам и посылал звездам воздушные поцелуи? Нет, я не кощунствовал, и молитва моя была чиста. Почему же я встречаю насилие вместо справедливости? Пусть бы он, упиваясь своим произволом, сразу уничтожил меня и бросил в яму, ведь для него и такое беззаконие сущий пустяк, а я не хочу больше жить, если торжествует насилие. Уж не глумится ли он над человеческим духом, губя без разбора и благочестивых и злых? Но опять-таки, что случилось бы с ним самим, если бы не дух человеческий? Елиезер, завет нарушен! Не спрашивай меня почему, ибо ответ мой был бы печален: бог подвел — понятно ли тебе это? Бог и человек избрали друг друга и заключили союз, чтобы совершенствоваться и освящаться друг в друге. Но если человек и в самом деле стал в боге нежен и благороден, если он и в самом деле смягчил свою душу, а бог навязывает ему ужасную дикость, если человек не принимает ее, а выплевывает, говоря: «Это не для меня», — это значит, Елиезер, что бог подвел, что он еще недостаточно свят, что он отстал и еще остался чудовищем.

Разумеется, эти слова потрясли Елиезера, он вознес к небу молитву о прощенье своего совсем обезумевшего господина и решительно осудил его.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — сказал он, — тебя невозможно слушать, ты просто непристойно терзаешь одежды бога. Это говорю тебе я, который благодаря помощи бога побил с Аврамом царей Востока, я, которому в пути за невестой земля скакала навстречу. Ты называешь бога диким чудовищем и считаешь себя по сравнению с ним благородным и нежным, но каждое твое слово полно вопиющей дикости, и ты убьешь сострадание к великой своей боли, злоупотребляя им и позволяя себе страшные вольности. Ты хочешь сам решать, что законно и что незаконно, ты хочешь судить того, кто создал не только бегемота, чей хвост огромен, как кедр, не только Левиафана, чьи зубы ужасны, а чешуя подобна медным щитам, но и семизвездие Орион, утреннюю зарю, шершней, змей и пыльную бурю абубу? Разве не дал он тебе благословения Ицхака в ущерб Исаву, который немного старше тебя, разве не сподобил тебя в Вефиле чудесного подтвержденья обета, явившись тебе на лестнице во сне? Против этого ты не возражал, в этом ты не находил ничего худого с точки зрения благородного и нежного человеческого духа, ибо это было тебе по душе! Разве он не сделал тебя богатым и тучным в доме Лавана и не отпер тебе покрытых пылью запоров, и ты не ушел с чадами и домочадцами, и Лаван не стоял перед тобой ягненком на горе Гилеад? А теперь, когда у тебя беда, и беда, этого никто не отрицает, тягчайшая, ты встаешь на дыбы, господин мой, ты лягаешься, как упрямый осел, ты опрокидываешь все без разбора и говоришь: «Бог отстал в совершенствовании». Разве свободен ты от греха, если ты плоть, и так ли уж несомненно, что ты был праведен всю свою жизнь? Неужели ты понял то, что выше тебя, и разгадал загадку жизни, если ты поносишь ее своим человеческим словом и говоришь: «Это не для меня, и я более свят, чем бог»? Право, лучше бы мне этого вовсе не слышать, о сын праведной!

— Да, ты, Елиезер, — отвечал Иаков с издевкой, — человек правильный, тебе не о чем беспокоиться! Ты хлебал мудрость ложками и источаешь ее, как пот, всеми своими порами. Это, право, поучительно, как ты бранишь меня и мимоходом упоминаешь, что вместе с Аврамом прогнал восточных царей, чего попросту не могло быть; ведь если рассуждать разумно, то ты мой сводный брат, сын служанки, рожденный в Дамашки, и, так же как я, никогда в жизни не видел Авраама воочию. Вот как обхожусь я с твоими Поученьями в горе своем! Я был чист, но бог вымарал меня в грязи, а такие люди — сторонники разума, им ни к чему благочестивые прикрасы, они предпочитают голую правду. Сомневаюсь и в том, что земля скакала тебе навстречу. Все кончено.

— Иаков, Иаков, что ты делаешь! Ты разрушаешь мир в заносчивости своей скорби, ты разбиваешь его на куски и швыряешь их в лицо увещателю, ибо я не хочу говорить, кому, выражаясь точно, швыряешь ты их в лицо. Разве ты первый, кого постигла беда, разве она не вправе тебя постигнуть? Зачем же ты извергаешь хулу, зачем кобенишься и, взбывшись, нападаешь на бога? Ты думаешь, ради тебя сдвинутся горы и воды потекут вспять? Боюсь, что ты, не сходя с места, лопнешь от злости, если ты называешь бога богопротивным и несправедливым величавого!

— Молчи, Елиезер! Прошу тебя, не говори обо мне так лживо, я легко раним в горе, и я этого не вынесу! Кто отдал родного сына на растерзание кабану и детенышам кабана в его логове — бог или я? Зачем же ты утешаешь его и заступаешься за него, а не за меня? Понимаешь ли ты вообще, что я хочу сказать? Ничего ты не понимаешь, а берешься защищать бога. Эх ты, заступник бога, уж он-то отблагодарит тебя за то, что ты защищаешь его и лукаво превозносишь его деяния, потому что он бог! Я хочу сказать: он даст тебе по зубам. Ты хочешь, несправедливо защищая его, обмануть бога, как обманывают человека, и тайком подольститься к сильному. Эх ты, лицемер, он задаст тебе жару, если ты будешь так добиваться его расположения и услужливо защищать его после того, как он причинил мне вопиющее зло и бросил Иосифа на растерзание кабанам. То, что ты говоришь, я тоже мог бы сказать, я не глупее тебя, подумай об этом, прежде чем молоть языком. Но я говорю иначе — и при этом я ближе к нему, чем ты. Ибо нужно заступаться за бога вопреки его заступникам и защищать его от тех, кто его оправдывает. Ты думаешь, он человек, пусть и сверхмогучий, и к нему можно подладиться, став на его сторону, а не на сторону такого червя, как я? Называя его вечно великим, ты просто болтаешь языком, если ты не знаешь, что бог и над богом, что он еще более вечен, чем он сам, и он покарает тебя оттуда, где он мое благо и мое упование и где тебя нет, когда ты выбираешь между ним и мной!

— Все мы жалкая, открытая греху плоть, — тихо отвечал Елиезер. — Каждый должен следовать за богом в меру своего разумения и своей способности тянуться к нему, ибо дотянуться до него не может никто. Возможно, что мы оба говорили неподобающе. А теперь, господин мой, войди в дом свой, довольно многомогущей скорби. Лицо твое совсем распухло от жары у этой кучи черепков, и слишком ты нежен и хрупок для скорби такой мощи.

— От слез! — сказал Иаков. — От слез побагровело и распухло лицо мое, от слез о любимом.

Но все же он дал отвести себя в шатер. Да и не нужны ему были уже мусор, нагота и черепки, ибо требовались они только для того, чтобы поспорить с богом на славу.

Искушенья Иакова

После первых трех дней он, по крайней мере, надел на себя дерюгу и вообще несколько упорядочил свой быт, так что сыновья, когда они прибыли, застали его уже не в таком отчаянном состоянии. А с прибытием они помешкали, и скорбели и плакали вместе с Иаковом, поддерживали и утешали его их жены, поскольку они находились при доме (ибо жена Иуды, дочь Шуи, жила не здесь), а также Зелфа и Валла и маленький Вениамин, с которым он часто, обвив его руками, рыдал. Младшего своего сына он любил далеко не так, как Иосифа, и при взгляде на него глаза Иакова всегда невольно мрачнели, потому что тот стоил ему Рахили. Но теперь он пылко прижимал его к себе, называл, ради матери его, Бенони и клялся, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не пошлет его в дорогу

— ни одного, ни даже с охраной; он заклинал его, чтобы тот всегда, даже когда вырастет, даже женатым человеком, жил здесь, на глазах у отца, опекаемый и оберегаемый, не уклоняясь ни на шаг от безопаснейшего пути, ибо в мире ни на что и ни на кого нельзя положиться.

Вениамин не противился этим заклинаниям, хотя они его несколько угнетали. Он вспоминал свои прогулки с Иосифом в рощу Адонаи; и мысль, что любимый и прекрасный никогда больше не будет с ним прыгать и помахивать вспотевшей его ручкой, никогда больше не будет ему рассказывать великих небесных снов, заставляя его, малыша, гордиться доверием к его разуму, вызывала у Вениамина горькие слезы. По существу, однако, он был неспособен представить себе то, что ему говорили об Иосифе, — что тот никогда не вернется, что брата уже нет на свете, что брат умер, — и он не верил этому, несмотря на наличие страшного знака, с которым не расставался отец. Естественная неспособность поверить в смерть есть отрицание отрицания и заслуживает положительного знака. Она есть беспомощная вера, ибо всякая вера беспомощна и сильна от беспомощности. Что касается Вениамина, то свою неукротимую веру он облакал в представление о каком-то уходе. «Он вернется, — заверял он старика, глядя его. — Или переселит нас к себе». Иаков, однако, не был ребенком, он был обременен историями жизни и слишком горько изведal безжалостную действительность смерти, чтобы ответить на утешенья Бенони чем-нибудь иным, кроме печальной улыбки. Но, по существу, и он был совершенно не в силах утвердить это отрицание, и попытки Иакова отвергнуть его, уйти от необходимости примириться и с тем и с другим, и с действительностью и с ее невозможностью, — его попытки примириться с этим бесчеловечным противоречием были настолько разнузданны, что в наше время в пору было бы говорить о помешательстве. В его кругу это, несомненно, значило перейти меру; но Елиезеру пришлось помучиться с отчаянными затеями и спекуляциями, которые занимали Иакова.

Известно, что на все уговоры он отвечал только; «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И тогда и позднее это обычно понимали в том смысле, что он не хочет больше жить и предпочитает умереть, чтобы соединиться с сыном в смерти, — так же понимали и горестные слова о том, что тяжело и прискорбно сводить седину в могилу такой печали. Так понять эти слова, конечно, тоже можно было. Но Елиезер слышал их иначе и полнее. Как ни дико это звучит, Иаков помышлял о возможности спуститься в преисподнюю, то есть к мертвым, и вывести оттуда Иосифа.

Мысль эта была тем нелепее, что освобождала истинного сына из подземной темницы и возвращала его опустевшей земле мать-супруга, а никак не отец. Но в бедной голове Иакова совершались самые смелые отождествления, а склонность к некоторой расплывчатости в понимании пола водилась за ним издавна. Для него никогда не существовало четкого различия между глазами Иосифа и глазами Рахили: то были ведь и в самом деле одни и те же глаза, и некогда он поцелуями стирал с них слезы нетерпенья. В смерти они окончательно слились для него в одну пару глаз, да и сами любимые существа слились в один двуполой желанный образ, так что и тоска о нем была, как все высшее, как сам бог, мужеско-женско-сверхполой тоской. Поскольку, однако, тоска эта жила в Иакове, а он жил в ней, то и сам Иаков был той же породы, — итог, с которым его чувства давно уже пришли в согласие. С тех пор как не стало Рахили, он был Иосифу и матерью и отцом; в этом отношении он взял на себя и ее роль, которая, пожалуй, даже главенствовала в его любви, и отождествление Иосифа с Рахилью дополнялось отождествлением с умершей себя самого. Двойственность бывает вполне любима только двойной любовью; как женская статья, она будит мужское начало, как мужская — женское. Отцовское чувство, которое видит в своем объекте и сына, и любимую сразу и к которому, следовательно, примешивается нежность, свойственная, скорее, любви матери к сыну, является, конечно, мужским, поскольку через сына оно направлено на любимую,

однако в нем есть и нечто материнское, поскольку это любовь к сыну. Эта неопределенность благоприятствовала сумасшедшим замыслам Иакова, которыми он прожужжал уши Елиезеру и которые касались возвращения Иосифа к жизни по мифическому образцу.

— Я сойду, — твердил он, — к сыну моему в преисподнюю. Погляди на меня, Елиезер, разве в очертаниях моей груди нет уже чего-то женского? В мои годы природа, видно, уравнивается. У женщин появляются бороды, а у мужчин груди. Я найду дорогу в страну, откуда нет возврата, завтра я и отправлюсь в путь. Почему ты глядишь на меня с таким сомнением? Разве это невозможно? Нужно только идти все время на запад и переправиться через реку Хубур, а там до семи ворот рукой подать. Прошу тебя, не сомневайся! Никто не любил его больше, чем я. Я буду как мать. Я найду его и спущусь с ним в самый низ, где бьет ключом вода жизни. Я окроплю его и отопру покрытые пылью запоры, чтобы он возвратился. Разве я этого уже однажды не сделал? Разве я не перехитрил Лавана и не ушел от него? С владычицей, что живет там внизу, я справлюсь не хуже, чем с Лаваном, и она еще скажет мне доброе слово. Почему ты качаешь головой?

— Ах, дорогой господин мой, я соглашаюсь с твоими намерениями, насколько могу, и допускаю, что сначала все пойдет по-твоему. Но не позже чем у седьмых ворот, при исполнении необходимых обрядов, неизбежно выяснится, что ты не мать...

— Конечно, — ответил Иаков и, несмотря на всю свою печаль, не смог подавить удовлетворенной улыбки. — Это неизбежно. Там увидят, что я не вскормил его, а родил... Елиезер, — сказал он, следуя за новыми своими мыслями, которые, отвлекшись от материнско-женского начала, перешли в сферу фаллическую, — я порожу его заново! Разве это невозможно — родить его еще раз, точно таким же, как прежде, Иосифом, и этим способом вывести его наверх? Ведь я, от которого он родился, еще жив; так почему же он должен погибнуть? Покуда я жив, я не дам ему погибнуть. Я пробужу его заново к жизни и, бросив семя, восстановлю образ его на земле!

— Но ведь уже нет Рахили, которая делила с тобой этот труд, а для того, чтобы появился на свет этот мальчик, оба ваших начала должны были соединиться. Но даже если бы она и была жива и вы родили бы снова, то все равно не повторились бы тот час и то положение звезд, которые пробудили к жизни Иосифа. Вы произвели бы на свет не его и не Вениамина, а нечто третье, никем не виданное. Ибо ничего не случается дважды, и все здесь навеки тождественно только себе.

— Но в таком случае оно не должно умирать и исчезать», Елиезер! Это же невозможно. То, что бывает на свете лишь один раз, не имеет тождественного себе ни рядом с собой, ни после себя, и не восстанавливается ни с какими круговоротами времен, — это не может быть уничтожено, не может пойти на съедение свиньям, я этого не принимаю. Ты прав, чтобы породить Иосифа, нужна была Рахиль и, кроме того, надлежащий час. Я это знал, я умышленно вызвал у тебя такой ответ. Ибо зачинающий есть лишь орудие творения, он слеп и сам не знает, что делает. Когда мы зачинали Иосифа, праведная и я, мы зачинали не его, а вообще что-то, и это «что-то» стало Иосифом благодаря богу. Зачинать не значит творить, зачинать значит погружать жизнь в жизнь в слепом веселье; а творит Он. О, если бы жизнь моя могла погрузиться в смерть и познать ее, чтобы зачать в ней и возродить Иосифа таким, каким он был! Вот о чем я помышляю, вот что имею в виду, когда говорю: сойду в преисподнюю. Если бы я мог, зачиная, перенестись в прошлое, в тот час, который был часом Иосифа! Зачем ты качаешь головой с таким сомнением? Я же и сам знаю, что это невозможно, но если я этого желаю, не качай головой, ибо бог устроил так, что я жив, а Иосифа нет на свете, и вопиющее это противоречие терзает мне сердце. Знаешь ли ты, что значит растерзанное сердце? Нет,

ты этого не знаешь, для тебя это пустые слова, хоть ты и думаешь, что это «весьма прискорбно». А у меня сердце в буквальном смысле слова растерзано, и я вынужден думать наперекор разуму и помышлять о несбыточном.

— Я качаю головой, господин мой, от сострадания, видя, как ты противишься тому, что ты называешь противоречием, — тому, что ты есть, а сына твоего уже нет на свете. Это-то и составляет твою скорбь, которую ты многомощно выразил, предаваясь ей на куче черепков три дня подряд. А теперь тебе следовало бы постепенно покориться воле божьей, собраться с духом и не говорить больше таких нелепостей, как «я хочу зачать Иосифа заново». Возможно ли это? Когда ты его зачинал, ты его не знал. Ибо человек зачинает лишь то, чего он не знает. А если бы он стал зачинать по определенному замыслу, это было бы творенье, и человек возомнил бы себя богом.

— Ну, и что же, Елиезер? А почему бы ему и не возомнить себя богом, и разве он был бы человеком, если бы вечно не жаждал уподобиться богу? Ты забываешь, — сказал Иаков, понижая голос и наклоняясь поближе к уху Елиезера, — что в делах зачатия я втайне смыслю больше, чем многие: я умею стирать, когда нужно, грань между зачатием и творением и вносить в зачатие нечто от творчества, как в том убедился Лаван, когда белый скот зачинал у меня перед прутьями с нарезкой и рождал, к выгоде моей, пестрых ягнят. Найди мне женщину, Елиезер, похожую на Рахиль глазами и станом, такие, наверно, есть. Я зачну с ней сына, намеренно устремив глаза к образу Иосифа, который я знаю. И она родит мне его заново, отняв его у мертвых!

— Твои слова, — так же тихо отвечал Елиезер, — меня ужасают, и считай, что я их не слышал. Ибо мне кажется, что они идут не только из глубин твоего горя, но и из других, еще больших глубин. Кроме того, ты уже в годах и тебе вообще не пристало думать о зачатии, а тем более о зачатии с примесью творчества, это неприлично во всех отношениях.

— Не суди обо мне превратно, Елиезер! Я живой старик и еще отнюдь не похож на ангела, о нет, это уж я знаю. Я, право, хотел бы зачать. Конечно, — прибавил он тихо после короткого молчания, — силы мои подавлены сейчас скорбью об Иосифе, и возможно, что я от скорби не смог бы зачать, хотя я жажду зачать именно из-за скорби. Вот видишь, какими противоречиями терзает меня бог.

— Я вижу, что твоя скорбь — это сторож, призванный убереечь тебя от великого нечестья.

Иаков призадумался.

— В таком случае, — сказал он затем, все еще на ухо своему рабу, — нужно обмануть сторожа и сыграть с ним шутку, что нетрудно, поскольку он одновременно и помеха, и подстрекатель. Ведь можно же, Елиезер, сделать человека, не зачиная его, коль скоро зачать его мешают горе и скорбь. Разве бог зачал человека во чреве женщины? Нет, ибо никаких женщин не было, да об этом и подумать стыдно. Он сделал его таким, как хотел, своими руками, из глины, и вдунул в лицо его дыхание жизни, чтобы он жил на земле. Послушай, Елиезер, согласись! Давай сделаем изваяние из праха земного, из глины, наподобие куклы, длиной в три локтя и со всеми членами, чтобы оно было таким, каким увиделся человек богу, который и создал его по этому образцу. Бог видел человека, Адама, и создал его, ибо он творец. А я вижу одного, Иосифа, таким, каким я его знаю, и пробудить его к жизни мне хочется теперь гораздо сильнее, чем прежде, когда я его зачинал, не зная его. И перед нами, Елиезер, лежала бы кукла длиной с человека, лежала бы на спине, лицом к небу, — а мы бы стояли в ногах у нее и глядели в глиняное ее лицо. Ах, старший мой раб, у меня колотится сердце. Что, если бы мы это совершили?

— Что совершили, господин мой? До каких еще диковин додумалось горе твое?

— Разве я это знаю, старший мой раб, разве я могу это сказать? Только согласишься и подтолкни меня к тому, чего я сам еще толком не знаю! Но если бы мы обошли это изваяние один раз и семь раз, я слева направо, а ты справа налево, и вложили листок в его мертвый рот, листок с именем бога... А я бы упал на колени и, заключив глину в объятия, поцеловал ее крепко-крепко, от всего сердца... Вот! — закричал он. — Гляди, Елиезер! Тело его краснеет, оно красно, как огонь, оно пылает, оно опалает меня, а я не отхожу, я держу его в своих объятиях и целую его опять. Теперь оно гаснет, и в глиняное туловище хлещет вода, оно разбухает, оно истекает водой, и вот уже на голове пробиваются волосы, а на руках и на ногах вырастают ногти. А я целую его в третий раз и вдуваю в него свое дыханье, дыханье бога, и эти три стихии, огонь, вода и воздух, заставляют четвертую, землю, пробудиться к жизни, изумленно взглянуть на меня, который ее оживил, и сказать: «Авва, милый отец мой...»

— Мне очень, очень жутко все это слышать, — сказал Елиезер с легкой дрожью, — ибо можно подумать, будто я действительно согласился участвовать в таких сомнительных и диковинных делах и этот голем ожил у меня на глазах. Ты поистине отравляешь мне жизнь и весьма странно благодаришь меня за терпеливое участие в твоём горе и за то, что я служу тебе верной опорой: ты дошел уже до сотворения кумиров и колдовства и заставляешь меня, хочу я того или нет, участвовать в этом нечестии и видеть все собственными глазами.

И Елиезер был рад, когда прибыли братья; но они не были рады.

Привыкание

Прибыли они на седьмой день после того, как Иаков получил знак, тоже в дерюге на бедрах и с пеплом в волосах. На душе у них было скверно, и никто из них не понимал, как это они когда-то могли подумать и убедить себя, будто им будет легко и они завоюют отцовское сердце, как только не станет на свете этого баловня. Они давно и заранее избавились от этого заблуждения и теперь удивлялись, что могли когда-то тешиться им. Уже в пути, молча и недомолвками, которыми они обменивались, они признались себе, что если иметь в виду любовь к ним Иакова, то устраненье Иосифа было совершенно бесполезно.

Они довольно точно могли представить себе теперешнее отношение Иакова к ним; тягостная сложность дальнейшей их жизни была им ясна. Так или иначе, но в глубине души и, возможно, без полной убежденности, он, конечно, считал их убийцами Иосифа, даже если не думал, что они собственноручно убили брата, а полагал, что это выполнил зверь, который вместо них, но по их желанию, совершил кровавое дело, и значит, в его глазах они были еще и безвинными, неуязвимыми, тем более, следовательно, достойными ненависти убийцами. В действительности же, как они знали, все обстояло как раз наоборот: виновны, конечно, они были, но убийцами не были. Но этого они не могли сказать отцу; ведь для того, чтобы снять с себя смутное подозрение в убийстве, они должны были признаться в своей вине, а этому мешала хотя бы связавшая их клятва, которая, впрочем, временами уже казалась им такой же глупой, как и все остальное.

Словом, впереди у них не было светлых дней, вероятно даже, ни одного светлого дня, — это они видели ясно. Нечистая совесть — уже немалое зло, но обиженная нечистая совесть, пожалуй, еще большее; она родит в душе неразбериху, и нелепую, и в то же время мучительную, и настраивает на мрачный лад. Мрачной и будет вся их жизнь близ Иакова,

и покоя им ждать не приходится. Они были у него на подозрении, а они узнали, что это такое — подозрение и недоверие; человек перестает верить себе в другом человеке, а другому в себе и поэтому, не находя покоя, язвит, говорит колкости, пилит и мучит себя самого, хотя кажется, что он мучит другого, — вот что такое подозрение и неизлечимое недоверие.

Что дело обстоит и впредь будет обстоять именно так, они увидели с первого же взгляда, как только явились к Иакову, — они поняли это по взгляду, который он бросил на них, чуть приподнявшись над заменявшей ему подушку рукой, — по этому воспаленному от слез, одновременно острому и мутному, испуганному и враждебному взгляду, который хотел в них проникнуть, зная, что это ему не удастся, и длился долго-предолго, прежде чем прозвучали соответствующие ему слова, вопрос, на который не могло быть ответа и был уже дан слишком ясный ответ, чисто патетический, горестно-бессмысленный, чреватый лишь бесплодной мукой вопрос:

— Где Иосиф?

Они стояли, опутив головы перед этим невозможным вопросом, обиженные грешники, мрачные заговорщики, Они видели, что отец хочет причинить им как можно большую боль и что никакой пощады он им не даст. Так как ему доложили об их прибытии, он мог бы подготовиться и встретить их стоя; а он еще лежал перед ними, лежал через неделю после получения знака, лежал, уткнувшись лицом в руку, с которой он его далеко не сразу поднял, поднял, чтобы по праву своего горя бросить этот дикий взгляд и этот дикий вопрос. Он воспользовался своим горем, они это видели. Он так лежал перед ними, чтобы иметь право задать этот вопрос, чтобы могло показаться, будто этот вопрос вызван не недоверьем, а горем, — они это отлично поняли, Люди всегда хорошо знали друг друга и видели, страдая, насквозь, в те времена не хуже, чем ныне.

Они отвечали с перекошенным ртом (отвечал за них Иегуда):

— Мы знаем, дорогой господин, какое горе и какая великая скорбь тебя постигли.

— Меня? — Спросил он. — А вас нет?

Откровенный вопрос. Каверзно-ехидный вопрос. Конечно же, и их тоже!

— Конечно, и нас тоже, — отвечали они. — Только о себе мы уже не говорим.

— Почему?

— Из почтительности.

Плачевный разговор. Мысль, что так теперь будет вечно, приводила их в ужас.

— Иосифа больше нет, — сказал он.

— К сожалению, — отвечали они.

— Я велел ему отправиться в путь, — заговорил он снова, — и он возликовал. Я послал его в Шекем, чтобы он вам поклонился и побудил ваши сердца к возвращению. Он сделал это?

— К сожалению и к великой нашей печали, — отвечали они, — он не успел этого сделать. Прежде чем он смог бы это сделать, его загрыз дикий зверь. Мы пасли скот уже не в

долине Шекема, а в долине Дофана. Вот мальчик и заблудился, и на него напал зверь. Мы не видели его глазами с того дня, когда он рассказывал в поле тебе и нам свои сновиденья.

— Сны, — сказал он, — которые ему снились, вас, кажется, раздражали и вы очень сердились на него в душе?

— Немножко, — отвечали они. — Сердились, конечно, но в меру. Мы видели, что его сны раздражают тебя, ибо ты побранил его и даже пригрозил оттащить за волосы. Поэтому мы тоже сердились на него до известной степени. А теперь, увы, дикий зверь оттащил его куда страшнее, чем ты грозился.

— Он растерзал его, — сказал Иаков и заплакал. — Зачем вы говорите «оттащил», если он растерзал его и съел? Когда говорят «оттащить» вместо «растерзать», это насмешка, да и слово это звучит одобрительно.

— Бывает, что и от горького горя, — возразили они, — скажешь «оттащить» вместо «растерзать», как бы смягченья ради.

— Это верно, — сказал он. — Ваше возражение справедливо, и я умолкаю. Но если Иосиф не успел побудить ваши сердца к возвращению, то почему вы пришли?

— Чтобы плакать вместе с тобой.

— Разве мы плачем? — ответил Иаков.

И, сев рядом с ним, они затянули плач «Как долго ты здесь лежишь», а Иуда положил голову отца к себе на колени и стал вытирать ему слезы. Вскоре, однако, Иаков прервал плач и сказал:

— Не хочу, чтобы ты поддерживал мою голову, Иегуда, и вытирал мне слезы. Пусть это делают близнецы.

Иуда обиженно передал голову отца близнецам, и те, продолжая плач, держали ее до тех пор, пока Иаков не сказал:

— Не знаю почему, но мне неприятно, чтобы Симеон и Левий оказывали мне эту услугу. Пусть это делает Ре'увим.

Очень обиженные, близнецы передали голову Рувиму, который и принялся ухаживать за отцом. Через некоторое время Иаков сказал:

— Мне неудобно, когда Рувим поддерживает мою голову и вытирает мне слезы. Пусть это делает Дан.

Но и Дан не оказался удачливей; он должен был передать голову Неффалиму, а тот, к весьма скорой своей обиде. Гаду. Так продолжалось до тех пор, пока после Асира и Иссахара не пришла очередь Завулону, и каждый раз Иаков говорил примерно так:

— Почему-то мне не нравится, когда имярек поддерживает мою голову; пусть это делает кто-нибудь другой.

Когда все наконец были обижены и отвергнуты, он сказал:

— Теперь прекратим плач.

После этого они уже молча сидели вокруг него с отвисшими нижними губами; ибо они понимали, что он отчасти считает их убийцами Иосифа, каковыми они отчасти и были и оказались не в полной мере чисто случайно. Поэтому им было очень обидно, что он отчасти считает их убийцами в полной мере, и они ожесточились донельзя.

Так, думали они, впредь и придется им жить, непризнанными грешниками, находясь под неусыпленным подозрением, которого не усыпить никогда, — вот и все, чего они добились, устранив Иосифа. Глаза Иакова, блестящие, карие, покрасневшие отцовские глаза с нежными припухольями желез под ними, эти натруженные, обычно погруженные в раздумья о боге глаза, теперь — это братья отлично знали — украдкой, но зорко и пристально, следили за ними с неизбывным недоверием и, моргая, отворачивались от встречного взгляда. За едой он начал опять:

— Если кто наймет вола или осла, а с этим животным что-то случится, или же оно будет насмерть поражено каким-нибудь богом, то наниматель должен поклясться в этом, чтобы очиститься от вины и остаться вне подозрений.

У них похолодели руки, ибо они поняли, к чему он клонит.

— Поклясться? — сказали они хмуро и сдавленным голосом. — Клясться нужно тогда, когда не видно, что случилось с животным, когда нет ни крови, ни ран, какие оставляет лев или другой хищник. А если налицо и кровь и следы когтей, — кто обвинит нанимателя? Тогда дело касается только владельца.

— Так ли это?

— Так записано в законе.

— Нет, записано так: если пастух пасет овец хозяина и на загон нападет лев, то пастух должен дать клятву, чтобы снять с себя подозрение, а ущерб несет хозяин. Так как же? Не должен ли наемный пастух клясться и в том случае, когда кажется совершенно ясным, что овцу загрыз лев?

— И да и нет, — отвечали они, и теперь у них похолодели и ноги. — Скорее, нет, чем да, с твоего позволения. Ведь если лев нападает на загон, он уносит оттуда овцу, но этого никто не видит, и потому нужна клятва. Но если пастух может показать зарезанную овцу и предъявить какие-то останки растерзанного животного, тогда ему незачем клясться.

— Право же, вы годитесь в судьи, так хорошо вы знаете уложение. Ну, а если овца принадлежала судье и была ему дорога, а пастуху не была дорога, — не достаточно ли того, что она не принадлежала и не была дорога пастуху, чтобы потребовать клятвы?

— С тех пор как стоит мир, этого никогда не было достаточно для принуждения к клятве.

— Ну, а если пастух ненавидел овцу? — сказал он, взглянув на них бешеными, испуганными глазами...

С бешенством, испуганно и уныло встретили они его взгляд, и единственным облегчением этой пытки было то, что он мог переводить глаза с одного на другого, а они должны были по очереди, и каждый — недолго, выдерживать этот полный подозрения взгляд.

— Можно ли ненавидеть овцу? — спросили они, и лица у них похолодели и вспотели. — Этого не бывает в мире, уложение этого не предусматривает, так что нечего об этом и толковать. К тому же мы не наемные пастухи, а сыновья царя стад, и если у нас пропадет овца, то мы страдаем так же, как и он, и ни о какой принудительной клятве перед каким бы то ни было судьей вообще не может быть речи.

Трусливые, напрасные, плачевные разговоры! Неужели так будет всегда? Тогда братьям следовало бы снова уйти в Шекем, Дофан или еще куда-нибудь, ибо оказалось, что оставаться здесь без Иосифа так же тяжело, как при нем.

Но ушли ли они? О нет, они остались, и если кто-нибудь из них и уходил куда-либо, то вскоре возвращался. Нечистая их совесть нуждалась в его подозренье, и наоборот. Они были связаны друг с другом в боге и в Иосифе, и если поначалу было великой мукой жить вместе, то они приняли эту муку как искупление, Иаков и его сыновья. Ибо сыновья знали, что они сделали, и если за ними была вина, то и отец тоже признавал за собой вину.

Время, однако, шло, заставляя их свыкнуться со своим положением. Оно притупило бурав недоверия во взгляде Иакова и позволило братьям знать не так уж точно, что они сделали; ибо все менее четко отличали они поступок от случая. Случилось так, что Иосиф исчез, а вопрос «как?» медленно отступал для них и для отца на задний план, оставляя на переднем привычный факт. Отсутствие мальчика было данностью, к которой приспособилось и в которой успокоилось их сознание. Братья знали, что он не был убит, как думал Иаков. Но в конце концов эта разница в знании потеряла какое-либо значение, ибо и для них Иосиф был тенью, далеко и безвозвратно ушедшей из поля зрения, — в этом взгляде они были едины, отец и сыновья. Бедный старик, у которого бог отнял его драгоценное чувство, после чего в сердце его уже никогда не бывало весны, а всегда царили летняя сушь и зимняя стужа и он, в сущности, все еще «цепенел», как вначале в обмороке, — бедный старик не переставал оплакивать своего агнца, и когда он плакал, они плакали вместе с ним, ибо у них не было уже их ненависти и лишь смутно удавалось им со временем вспомнить, как злил их этот глупец. Они могли позволить себе и поплакать о нем, твердо зная, что он исчез в мире теней, скрылся вне круга жизни, — Иаков знал это тоже.

Он уже не помышлял о том, чтобы «сойти», как мать, в преисподнюю и вызволить Иосифа; он никого уже не пугал странным намерением зачать Иосифа заново или, строя из себя бога, сделать его из глины. Жизнь и любовь прекрасны, но и смерть имеет свои преимущества, ибо она укрывает и хранит любимое существо в минувшем, в небытии, и на смену тревоге и страху счастья приносит успокоение. Где был Иосиф? В лоне Авраама. У бога, который «взял его к себе». И мало ли какие еще слова найдет человек для определения небытия — все они призваны обозначать величайшую отрешенность надежно и мягко, хотя несколько туманно и беспредметно.

Смерть сохраняет, восстановив. Зачем старался Иаков восстановить Иосифа, если тот был разорван на куски? Смерть сама, и довольно скоро, сделала это, и сделала как нельзя приятнее. Она вновь составила его образ из четырнадцати или более кусков, и образ этот сиял красотой, и таким она сохраняла его, сохраняла великолепно, чем жители скверной земли Египетской сохраняли тело с помощью снадобий и пелен, — она хранила его нерушимым, не подверженным никаким опасностям и неизменным, милого, тщеславного, смышленного, вкрадчивого семнадцатилетнего мальчика, который уехал верхом на белой Хульде.

Не подверженный опасностям и неизменный, не нуждающийся в заботе и всегда семнадцатилетний, как бы ни множились кругообороты после его отъезда и ни росли года оставшихся жить — таким остался Иосиф для Иакова, и кто скажет, что смерть не

имеет своих преимуществ, хотя они и носят несколько туманный и беспредметный характер? С тихим стыдом вспоминал он неистовую свою распрю с богом в первом расцвете скорби, усматривая уже отнюдь не отсталость, а истинное благородство и святость бога в том, что он не уничтожил его, Иакова, сразу же, а молча и терпеливо простил ему эту заносчивость горя.

Ах, благочестивый старик! Знал ли ты, какая поразительная прихоть кроется вновь за молчаньем твоего на диво величавого бога и какое непостижимое блаженство растерзает твою душу по Его воле! Когда ты был молод плотью, одно утро обратило твое глубочайшее счастье в обман и безумье. Тебе суждено стать очень старым, чтобы узнать, что точно так же обманом и безумьем была и твоя тягчайшая скорбь.